БИБЛИОТЕКА ЛАВКРАФТА



Натаниэль Готорн

Дом о Семи Шпилях

ГЛАВНЫЙ ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дом о Семи Шпилях
Натаниель Готорн

Аннотация
Натаниэль Готорн. Дом о Семи Шпилях
Документы для призраков прошлого:. О готическом романе Н. Готорна
Дом о Семи Шпилях
  Часть первая
    Глава I. Старый род Пинчонов
    Глава II. Окно мелочной лавочки
    Глава III. Первый покупатель
    Глава IV. День за конторкой
    Глава V. Май и ноябрь
    Глава VI. Источник Моула
    Глава VII. Гость
    Глава VIII. Современный Пинчон
    Глава IX. Клиффорд и Фиби
  Часть вторая
    Глава X. Пинчоновский сад
    Глава XI. Полуциркульное окно
    Глава XII. Дагеротипист
    Глава XIII. Алиса Пинчон
    Глава XIV. Прощанье Фиби
    Глава XV. Нахмуренные брови и улыбка

Глава XVI. Комната Клиффорда
Глава XVII. Бегство двух сов
Глава XVIII. Возвращение к Пинчону
Глава XIX. Смерть и жизнь
Глава XX. Эдемский цветок
Глава XXI. Отъезд

Аннотация

«Дом о Семи Шпилях» – величайший готический роман американской литературы, о котором Лавкрафт отзывался как о «главном и наиболее целостном произведении Натаниэля Готорна среди других его сочинений о сверхъестественном». В этой книге гениальный автор «Алой буквы» рассказывает о древнем родовом проклятии, которое накладывает тяжкий отпечаток на молодых и жизнерадостных героев. Бессмысленная ненависть между двумя семьями порождает ожесточение и невзгоды. Справятся ли здравомыслие и любовь с многолетней враждой – тем более что давняя история с клеветой грозит повториться вновь?

В настоящем издании представлен блестящий анонимный перевод XIX века. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам, при этом максимально сохранены особенности литературного стиля позапрошлого столетия.

Натаниэль Готорн
Дом о Семи Шпилях

Nathaniel Hawthorne
The House of the Seven
© Марков А. В., вступительная статья, 2022
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022

Документы для призраков прошлого: О готическом романе Н. Готорна

Жизнь Натаниэля Готорна (1804–1864) пришлась сразу на несколько эпох в развитии как американской, так и вообще западной литературы, — правда, не очень продуктивно называть эти эпохи такими привычными словами, как «романтизм» и «реализм». Конечно, когда мы говорим о том, как литература XIX века изменила сознание людей и общественную жизнь, без этих ключевых терминов не обойтись. Но если мы хотим разобраться в причудливо устроенных романах Готорна, лучше говорить о том, как менялись эпохи внутри романной культуры, а не в масштабе общественного звучания художественной словесности. Такие термины, как, например, «сенсационный роман» (так называли в середине XIX века романы, написанные на основе газетных хроник преступлений), гораздо лучше подходят для понимания текстов Готорна, чем просто указание на сочетание романтических мотивов и совсем не романтических героев.

Но, конечно, истоки прозы Готорна — вовсе не в репортажах и документах, а в том большом движении, которое связано с пуританством Новой Англии. Пуритане, начиная с 1620 года колонизировавшие Североамериканский континент, считали, что они приносят на эти земли чистую, не зараженную пороками Церковь, и вместе с тем создают эту Церковь, занимаясь миссионерской работой среди местных племен. Они ставили перед собой двойную задачу: во-первых, доказать, что они — новый избранный народ, нашедший свою обетованную землю, а во-вторых — создать обетованную землю, прочитав все происходящее вокруг них в библейском духе, например, увидев в местных индейцах окружение Израиля, филистимлян или вавилонян, чтобы потом, уже обратив их в истинную веру, дать новое начало мировой истории. В 1628 году пуритане основали город Салем, где — почти двумя веками позже — и родился Готорн.

Понятно, что пуританская идея была противоречива: если современные события измерять библейскими историями, то нужно не только проповедовать, но и вести войны, ссориться, мириться, проходить через небывалые испытания. Получалось, что ты будто живешь в романе, кото-

рый, однако, требует от тебя решений, к которым ты не всегда готов. Чрезмерная суровость жизни не может не привести к нервному срыву, и таким нервным срывом оказалась «охота на ведьм» в Салеме в 1692 году. Подозрение в колдовстве, которого явно не было (скорее всего, галлюцинации и отравления объяснялись действием спорыньи), поддержанное группой детей, охотно доносивших на соседей, привело к массовым казням. Это событие стало тем травматическим эпизодом, к которому постоянно обращалась проза Готорна. Писатель считал, что вина за произошедшее лежит и на его предках, и на нем самом, так что его литературная деятельность — единственный способ искупить эту вину, раз и навсегда объяснив, что хорошо, а что плохо.

В 1825 году Готорн закончил Боудин-колледж, где учился на одном курсе с великим поэтом Генри Лонгфелло. Дружба Готорна и Лонгфелло напоминала многие романтические дружбы, но с одним отличием — Лонгфелло предпочитал открывать новые земли, поэтому, сразу выйдя за ворота колледжа, отправился в Европу, тогда как Готорн, нелюдимый молодой человек, запиравшийся в библиотеке, предпочитал сидеть с бумагами. Он стал образцовым писателем-клер-

ком, который, работая на таможне или в банке, разбирает бумаги и одновременно пишет стихи или рассказы — так и в XIX, и в XX веке жили многие американцы. Замкнутость книжной жизни позволяет не давать отчетов соседям, не объяснять, почему твои романы или поэмы не выражают их идеалы и не отвечают на их политические или религиозные запросы… В общем, можно говорить, что ты работаешь внутри литературы, так что если и обвинять кого-то в неправдоподобности сюжета, то только авторов старинных книг.

Именно так, как якобы архивная работа над подлинными дневниками и документами, построен первый (если не считать неудачного дебюта, исторического романа «Фэншо») роман Готорна, «Алая буква» (1850). Прежде Готорн писал в основном фантастические и детские рассказы, тексты яркие, но получившие лишь небольшой круг любителей — знатоков тайн и загадок человеческой души, а равно и волшебных сюжетов, которые, как ничто другое, позволяют показать противоречивость характера человека. «Алая буква» сделала Готорна своеобразным американским Вальтером Скоттом: историческая основа, гордость и достоинство героини, готовой

противостоять предрассудкам, честь и верность под гнетом — все это черты романов Скотта. Но только если шотландский писатель доказывал, как можно бороться за политическую независимость даже в самых стесненных условиях, как шотландцы могут сказать свободное слово, которого не ждут от них англичане, то Готорн показывал, как возможна в демократической стране независимость от тирании нравов и предрассудков, которая и оказалась настоящим бичом молодой страны.

Пуритане Вальтера Скотта, как все помнят, — бравые ребята, противостоящие развращенной и лукавой монархии, тогда как пуритане Готорна — это люди, злоупотребляющие свободой, люди обиженные и не умеющие правильно отвечать на обиды. Поэтому в романе «Алая буква» фигура мстителя трансформируется: муж главной героини никого не может за собой повести, он растерян и мелочен. В то же время его соперник, преступный священник, не менее растерян, но только потому, что не умеет справиться с имеющимся в его распоряжении набором клише, в согласии с которыми должен вести себя праведник. Он знает, что нужно каяться, и носит алую букву как вериги под одеждой, но все эти

действия выглядят как робкое и нелепое распоряжение чужим достоянием. Столкновение мужа и любовника, которое в Европе было бы либо предметом комедии, либо коллизией в романе характеров, где каждый характер проявился бы вволю, иногда и вполне «сенсационно», здесь оказывается историей уступок и компромиссов, обнажающей оборотную сторону власти общественного мнения.

Но, конечно, не дело бранить общественное мнение — во всяком случае, вышедший через год второй роман Готорна, составивший данное издание, показывает, как можно это мнение не порицать, а менять. В этом смысле роман возвращает демократии ее подлинную суть: именно она может определить, где неправа судебная власть. Над судебной властью в этом романе производится двойной суд: неправедный и корыстный Пинчон погибает, а люди узнают полную хронику дома Пинчонов.

В конце концов оказывается, что только литература, построенная по правилам документального изыскания, и может снять родовое проклятие — ведь она показывает, что род не несет ответственности ни за давние, ни за продолжающиеся преступления — ведь худшим преступлением

является его укрывательство. Родовое проклятие — это просто неудачный синоним невольного укрывательства, когда некоторые скелеты остаются в шкафу, и поэтому кажется, что проклят весь род. Но если каждый скелет будет подробно описан, то проклятие перестанет действовать и будет учрежден новый порядок, где дети (как те злые салемские дети, оговаривавшие «ведунов» и «ведьм») не навязывают родителям грехи, но напротив, знают, что не следует притязать на все наследство рода.

В этом — лучшая сторона американской демократии: люди знают, что они вносят свой вклад в развитие страны, и поэтому не должны брать на себя ответственность за все ошибки страны, но могут исправлять их по мере сил. Проклятье сближает людей, и не случайно в романе больше всего его чувствуют брат и сестра, и чувствуют тем сильнее, чем больше общаются друг с другом. Возможность разорвать привычные родственные узы, влюбиться по своему усмотрению — это не просто личное освобождение, это и освобождение всей общины от некогда допущенных ошибок, не признанных вовремя ошибками.

Рассуждения Готорна о феномене проклятия неотделимы от проблемы человеческой судьбы.

Глядя на тот самый дом с семью островерхими фасадами, автор размышлял, как начальное проклятие не столько преследует отдельного человека, сколько создает инерцию преследования в судьбах многих людей. Дело не в том, виновны или невиновны жители городка, но в том, что инерция содеянного или единожды принятого зла оказывается именно чем-то, что аскеты называют «коснением во зле», и поэтому, только еще раз взбудоражив мир потустороннего ужаса, можно отучить людей быть косными и потому злыми.

Вот почему Лавкрафт считал, что Готорн — не столько мистик, сколько проповедник. Но как мы знаем, и проповедники возносятся до мистической высоты, иногда и быстрее мистика, долг которого — постоянно сдерживать свои порывы. Проповедника несет ввысь не столько какое-то слово, даже самое пламенное, сколько тоска по несбывшемуся, разочарование в людях, которые сделали столько зла, но от которых он не вправе отступить до самой смерти. Поэтому проповеднику и даются моменты истины, моменты прикосновения к настоящему духовному переживанию, тем звенящим таинственным сферам, где зло оказывается нарушителем уже

разоблаченным. Правда, потом надо долго объяснять людям, почему зло не сводится к бытовому недовольству или гневу, каковы адские истоки давних конфликтов — и пока проповедник не справится с этим, он всего лишь рассказчик отдельных басен.

Таким образом, с точки зрения Лавкрафта, Готорн был не столько певцом ужаса, сколько, в отличие от Эдгара По, его внимательным свидетелем. Чувствительность Готорна, писал Лавкрафт, сдерживала его воображение, но требовала очень внимательно присматриваться к обстоятельствам происходящего. Это не бдительность караула, а, скорее, ранимость садовника, которому важно, чтобы не завял и не сломался ни один цветок, даже если этот цветок пугает, напоминая о быстротечности и эфемерности всех наших дел.

* * *

Тот самый Дом о Семи Шпилях, или Дом с Семью Фронтонами, и ныне стоит в Салеме. Здесь Готорн часто беседовал с хозяйкой, своей двоюродной сестрой Сюзанной, об истории места и о городских слухах. Собственно говоря, именно новое осмысление слухов и отличает «Дом…» от

«Алой буквы». Если прежде перед нами была добросовестная хроника, подробно рассказывавшая о поступках так, что мы понимали причины поступков, теперь все оказывалось иначе: мотивы героев понятны нам с самого начала, но до конца неясно — что и как именно происходит. Трудно сказать, читая этот американский готический роман, приложил ли Клиффорд руку к смерти Пинчона. Действительно, в тюрьме по несправедливому обвинению он провел тридцать лет, и потому мы примерно представляем, каким взглядом такой человек будет смотреть на судебные институты и на своих соседей. Но какие-то вещи все же принадлежат неопределенности: что не задокументировано, о том мы не можем говорить уверенно.

В этом смысле Готорн предвосхитил принцип «ненадежного рассказчика» Генри Джеймса, большого поклонника и почитателя Готорна: мы знаем, о чем рассказывается, но до конца не понимаем, что именно произошло. В конце концов, как сказал Витгенштейн, нужно молчать о том, о чем ты не можешь сказать. Но задолго до австрийского философа Готорн показал, что распространять слухи или верить слухам — значит всего лишь болтать, а не говорить, всего лишь

испытывать социальную жизнь на прочность, а не понимать ее закономерности — так, как это может, например, автор хорошего романа.

Что же мы почувствуем сегодня, читая, вероятно, лучший готический роман в истории американской литературы? Прежде всего, конечно же, традицию древнегреческой трагедии, в которой грех предков, кража или убийство, сказывается на нескольких поколениях потомков. Само название романа напоминает о Семерых против Фив, и действительно, тени Эгисфа или Эдипа вполне вырисовываются за основателем рода Пинчонов и Мэтью Моулом. Но там, где в трагедии была кровная месть и беспрекословная воля богов, в романе — распад личности, за которым следует физическая смерть. Распад личности (психолог назвал бы его диссоциацией) — это не просто двоение намерений или разрешение себе чего-то недопустимого, это попытка утвердить себя в вечности незаконными способами: гибель одного из проклятых под собственным портретом — блестящий художественный образ, иллюстрирующий подобную гордыню. Если смотреть на себя как на портрет, можно разучиться отвечать за свои поступки. Возможность исследования механизмов возникновения преступной личности,

и не из-за попустительства или дурного влияния, как в психологическом романе, и не из-за дефицита моделей аристократического поведения, завещанных историей, как в европейском готическом романе, а из-за сатанинской гордыни — вот что составляет непревзойденную особенность готического романа Нового Света.

Но есть и вторая сторона романа «Дом о Семи Шпилях», не менее существенная для нас сегодня. Мы видим невероятное по точности исследование паники, игры на опережение, стремления избежать своей судьбы. В древнегреческой трагедии уйти от судьбы было нельзя. Христианин Готорн, общавшийся с Эмерсоном, Торо и последователями Фурье в Новой Англии, показывает, что в панике некоторые герои от судьбы не уходят, а некоторые — все же уходят. Пуритане сказали бы: это потому, что одни свыше предназначены к гибели, а другие — к спасению. Но Готорн поправляет догмат пуритан: это потому, что некоторые люди верны друг другу не только в радости и печали, но и в панике. В этом роман Готорна предвосхищает прозу XX века, где испытания верности стали просто невероятными, а вместе с тем невероятно изменилась и сама природа романа.

Александр Марков, профессор РГГУ и ВлГУ

Дом о Семи Шпилях

Часть первая

Глава I
Старый род Пинчонов

В одном из городов Новой Англии стоит посреди улицы старый деревянный дом с семью остроконечными шпилями, или, лучше сказать, фронтисписами, расположенными по направлению к разным странам света, вокруг тяжелой трубы. Улица называется Пинчоновой, дом тоже называется Пинчоновым домом, и развесистый вяз, стоящий перед входом, известен каждому мальчишке в городе также под именем Пинчонова вяза. Когда мне случается бывать в этом городе, я почти всякий раз непременно заверну в Пинчонову улицу, чтобы пройти в тени этих двух древностей — раскидистого дерева и избитого бурями дома.

Вид этого почтенного здания производил на меня всегда такое впечатление, как человеческое лицо: мало того что я видел на его стенах следы внешних бурь и солнечного зноя, они говорили мне о долгом кипении человеческой жизни в

их внутреннем пространстве и о превратностях, которым подвергалась их жизнь. Если бы рассказать нам о ней со всеми подробностями, так она бы составила повесть не только интересную и поучительную, но и замечательную сверх того и некоторым единством, которое, пожалуй, могло бы показаться делом художника. Но такая история обняла бы цепь событий, протянутую почти через два столетия, а подробности ее наполнили бы толстый том или такое количество томиков в двенадцатую долю листа, какое едва ли было бы благоразумно посвятить летописям всей Новой Англии в течение подобного периода. Поэтому нам необходимо как можно более сжать предания о старом Пинчоновом доме, иначе называемом Домом о Семи Шпилях. Мы приступим к развитию настоящего действия нашей повести в эпоху не очень отдаленную от нашего времени, а покамест расскажем в кратком очерке обстоятельства, посреди которых положено было основание дому, и бросим беглый взгляд на его странную наружность и на его почерневшие — особенно от восточного ветра — стены, по которым местами проступила уже, так же как и на кровле, мшистая зелень. Однако же повесть наша будет иметь связь с делами давно минувших дней, с людьми,

нравами, чувствами и мнениями, почти совершенно забытыми. Если нам удастся передать все это читателю в достаточной ясности, то он увидит, как много старого материала входит в самые свежие новинки человеческой жизни. Мало того, он выведет важное нравоучение из маловажной истины, что дела прошедшего поколения суть семена, которые могут и должны дать добрый или дурной плод в отдаленном будущем, что вместе с временными посевами, которые обыкновенно называются средствами к жизни, люди неизбежно сеют растения, которым предназначено развиваться и в их потомстве.

Дом о Семи Шпилях, несмотря на свою видимую древность, не был первым обиталищем, какое построил цивилизованный человек на этом самом месте. Пинчонова улица носила прежде более смиренное название переулка Моула, по имени своего первоначального поселенца, мимо хижины которого шла тропинка, проторенная коровами; естественный источник чистой и вкусной воды — редкое сокровище на морском полуострове, где была расположена пуританская колония, — заставил Мэтью Моула построить свою хижину с косматой соломенной кровлей на этом месте, нужды нет, что оно было слишком

удалено от того, что называлось тогда центром деревни. Когда же, лет через тридцать или сорок, деревня разрослась в город, это место, занятое грубо сколоченной лачугой, чрезвычайно как приглянулось одному статному и сильному человеку, который и предъявил благовидные притязания на владение как этим участком, так и обширной полосой окрестных земель, в силу пожалования ему оных от правительства. Этот претендент был полковник Пинчон, известный нам по нескольким чертам характера, которые сохранены преданием, как человек энергичный и непреклонный в своих намерениях. Мэтью Моул, со своей стороны, несмотря на низкое свое звание, тоже отличался особенным упорством в защите того, что он почитал своим правом, и в течение нескольких лет был в состоянии отстаивать один или два акра земли, которые он собственными руками очистил от первоначального леса под усадьбу. Нам неизвестен ни один письменный документ, касающийся этой тяжбы. Сведения наши обо всем событии основаны большею частью на предании. Поэтому было бы слишком смело и, пожалуй, несправедливо делать решительное заключение о законности или незаконности действий обеих сторон, хотя,

впрочем, предание оставило под сомнением, не перешел ли полковник Пинчон за границу своих прав, чтобы присвоить себе небольшое владение Мэтью Моула. Это подозрение подтверждается всего более фактом, что спор между двумя столь неравными противниками — и притом в период, когда личное влияние имело гораздо больше весу, нежели ныне, — оставался несколько лет нерешенным и окончился только смертью владельца оспариваемого участка земли. Род смерти его также поражает ум иначе в наше время, нежели полтора столетия назад. Он придал незнатному имени владельца хижины какое-то ужасное значение, так что после казалось делом весьма отважным вспахать небольшое пространство, занятое его жилищем, и изгладить след этого жилища и память о нем в народе.

Старый Мэтью Моул, одним словом, был казнен за колдовство. Он был одной из жертв этого ужасного суеверия, которое, между прочим, доказывает нам, что в старинной Америке сословия сильные, стоявшие во главе народа, разделяли в такой же степени всякое фанатическое заблуждение своего века, как и самая темная чернь. Духовенство, судьи, государственные сановники — умнейшие, спокойнейшие, непорочнейшие

люди своего времени — громче всех одобряли иногда кровавое дело, и последние сознавали себя жалко обманутыми. Столько же мрачную сторону поведения их составляет странная безразборчивость, с которой они преследовали не только людей бедных и дряхлых — как это было в более отдаленные времена, — но и лиц всех званий, преследовали равных себе, преследовали собственных братьев и жен. Неудивительно, если посреди такой мешанины несчастный человек, столь незначительный, как Моул, очутился на месте казни, почти незамеченный в толпе своих товарищей по участи. Но впоследствии, когда миновал фанатизм этой эпохи, вспомнили, как громко полковник Пинчон вторил общему крику, чтобы участок земли был очищен от колдовства. Говорили втихомолку и о том, что он имел свои причины добиваться с таким ожесточением осуждения Мэтью Моула. Каждому было небезызвестно, что несчастный протестовал против жестокости личной злобы своего преследователя и объявил, что его, Моула, ведут на смерть из-за его имущества. В минуту самой казни — когда ему уже надели петлю на шею, в присутствии полковника Пинчона, который, верхом на коне, смотрел с угрюмым видом на ужасную сцену, —

Моул обратился к нему с эшафота и произнес предсказание, точные слова которого сохранены как историей, так и преданиями у домашнего очага. «Бог, — сказал умирающий, указывая пальцем и вперив зловещий взгляд в бесчувственное лицо своего врага, — Бог напоит его моею кровью!»

По смерти мнимого чародея убогое его хозяйство сделалось легкой добычей полковника Пинчона. Но когда разнесся слух, что полковник намерен построить себе дом — обширный, крепко срубленный из дубовых брусьев дом, рассчитанный на много поколений вперед, — на месте, которое прежде было занято лачугой Мэтью Моула, деревенские кумовья часто покачивали между собой головами. Не выражая положительно сомнения в том, чтобы могущественный пуританин действовал добросовестно и справедливо, во время упомянутого нами процесса они, однако, намекали, что он хочет строить свой дом над могилой, не совсем покойной. Дом его будет заключать в своих стенах бывшее жилище повешенного колдуна, следовательно, даст некоторое право духу Мэтью Моула разгуливать по новым покоям, где будущие молодые четы устроят свои спальни и где будут рождаться на свет потомки Пинчона. Ужас и отвращение, внушаемые пре-

ступлением Моула, и страшное воспоминание о его казни будут омрачать свежую штукатурку стен и заранее сообщат им запах старого, печального дома. Странно, что, имея в своем распоряжении столько земли, усеянной листьями девственных еще лесов, полковник Пинчон выбрал для своей усадьбы именно это место!

Но пуританин-воин и вместе судья был не такой человек, чтобы отказаться от своего обдуманного плана из страха привидений или из пустой чувствительности, каково бы ни было ее основание. Если б ему сказали о вредном воздухе, это, пожалуй, еще сколько-нибудь подействовало бы на него; что же до злого духа, то он готов был сразиться с ним во всякое время. Одаренный массивным и твердым смыслом, как кусок гранита, и укрепленный сверх того, как железными связями, непоколебимой стойкостью в своих намерениях, он, что бы ни задумал, оставался до конца верен своему замыслу, не допуская и мысли, чтобы можно было возражать против него. Что касается до деликатности или какой-нибудь щекотливости, происходящей от утонченного чувства, то полковник был совершенно к ним неспособен. Итак, ничто не мешало ему рыть погреб и закладывать глубоко основания своего дома на том самом

месте, которое несколько десятков лет назад Мэтью Моул очистил впервые от лесных листьев. Замечательно — а по мнению некоторых, даже знаменательно — обстоятельство, что не успели работники приняться за дело, как упомянутый выше источник совершенно потерял прекрасные свойства своей воды. Были ли его водяные жилы нарушены глубиной нового погреба или здесь скрывалась более таинственная причина, только известно, что вода в Моуловом источнике, как продолжали называть его, сделалась жесткой и солоноватой. Она и до сих пор остается такой, и каждая старуха в соседстве будет уверять вас, что от нее зарождаются разные внутренние болезни.

Странно, может быть, покажется читателю, что хозяин плотников, работавших над новым домом, был не кто иной, как сын того самого человека, у которого отнята была его собственность. Вероятно, он был лучший мастер в свое время, а может быть, полковник считал нужным — или подвигнут был каким-нибудь лучшим чувством — отвергнуть при этом случае всю вражду свою против следующего поколения павшего соперника. Впрочем, такова была спекулятивность тогдашнего века, что сын готов был заработать честные деньги — или, лучше сказать, поря-

дочное количество фунтов стерлингов — даже у смертельного врага своего отца. Как бы то ни было, только Томас Моул был архитектором Дома о Семи Шпилях и исполнил свое дело так честно, что дубовая постройка, сооруженная его руками, держится до сих пор.

Итак, огромный дом был выстроен. Сколько я его помню, он всегда был стар, а я помню его с детства: он уже и тогда был предметом моего любопытства, как лучший и прочнейший образец давно прошедшей эпохи и вместе как сцена происшествий, исполненных интереса, может быть, гораздо в большей мере, нежели приключения серых феодальных замков; он всегда был для меня древним домом, и потому мне очень трудно представить блеск новизны, когда впервые его озарило солнце. Впечатление настоящего его положения, до которого дошел он в течение ста шестидесяти лет, неизбежно будет омрачать картину, в какой мы бы желали представить себе наружность дома в то утро, когда пуританский магнат зазвал к себе в гости весь город. В доме должно было совершиться освящение вместе с праздником новоселья. После молитвы и проповеди почтенного мистера Гиггинсона и после пения псалма соединенными голосами собрания

для чувств более грубых готовилось обильное возлияние пива, сидра, вина и водки, и, как известно было кое от кого, надобно было ожидать также зажаренного целиком быка или по крайней мере разрезанных искусно частей говядины в количестве, равном весом и объемом целому быку. Туловище козы, застреленной в двадцати верстах, доставило материал для обширного паштета. Треска в шестьдесят фунтов, пойманная в заливе, разварена была в прекрасную уху. Словом, труба нового дома, выбрасывая на воздух кухонный дым, наполняла всю окрестность ароматом говядины, дичи и рыбы, обильно приправленных душистыми травами и луком, так что один уже запах такого праздника, долетая до каждого носа в городе, был вместе и приглашением, и возбуждением аппетита.

Переулок Моулов, или, как его назвали теперь гораздо великолепнее, Пинчонова улица в назначенный час была наполнена народом; каждый, подойдя к дому, осматривал снизу доверху величавое здание, которое с этого времени должно было занять свое почетное место между жилищами всего рода. Оно несколько удалилось от черты улицы, но скорей из гордости, нежели из скромности. Весь фасад его был украшен

странными фигурами, произведением грубой готической фантазии, вылепленными выпукло или вырезанными на блестящей штукатурке из глины, кремней и битого стекла, которая одевала деревянную работу стен. По всем углам семь остроконечных фронтонов со шпилями возносились к небу и представляли вид целой семьи строений, дышавшей посредством одной огромной трубы. Многочисленные перегородки в окнах, со своими мелкими, вырезанными алмазом стеклами, пропускали солнечный свет в залу и в другие покои, между тем как второй этаж, высовываясь вперед над первым, бросал тень и меланхолическую мрачность в нижние комнаты. Деревянные шары, украшенные резьбой, были прикреплены под выступами верхнего этажа. Небольшие железные спирали украшали каждый из семи шпилей. На треугольнике шпиля, глядевшего на улицу, в то же самое утро укреплены были солнечные часы, на которых солнце показывало все еще первый светлый час истории, которой не суждено было продолжаться так же светло. Вокруг дома земля была еще завалена щепками, обрезками дерева, досками и битым кирпичом; все это, вместе с недавно взрытой почвой, которая не успела еще порасти травой, усиливало впечатление странно-

сти и новизны, какое производит на нас дом, не совсем еще занявший свое место в повседневной человеческой жизни.

Главный вход, почти равнявшийся шириной церковной двери, находился в углу между двумя передними шпилями и был прикрыт открытым портиком, под которым устроены были скамейки. И вот под сводом этого дверного навеса, задевая ногами за необтертый еще порог, прошли церковный причт, старейшины конгрегации, судьи и все, что было аристократического в городе или в околотке. Туда же повалили и плебейские сословия, с такой же свободой, как и их старшины, только в гораздо большем числе. Впрочем, в доме, у самого входа, стояли двое слуг, указывая некоторым гостям дорогу в соседнюю кухню и пропуская других в лучшие комнаты. Гостеприимство здесь оказывалось всем, но со строгим наблюдением высшего или низшего звания каждого. В ту эпоху бархатные одежды — мрачного цвета, но богатые, — густо сложенные брыжи и банты, шитые перчатки, почтенные бороды и выражение повелительности в лице давали возможность легко отличать знатного господина от купца с его хлопотливой наружностью или от ремесленника в его кожаной жакетке, боязливо

пробирающегося в дом, который он, может быть, сам помогал строить.

Одно обстоятельство, не предвещавшее ничего доброго, возбудило в некоторых, более нежели другие щекотливых посетителях с трудом скрываемое неудовольствие. Основатель этого великолепного дома — джентльмен, известный своей строго размеренной и тяжелой учтивостью, — должен был, согласно с обычаем, непременно стоять в своей зале и первый приветствовать каждого из множества важных гостей, почтивших своим присутствием его торжественный праздник. Но он до сих пор не показывался, и самые дорогие из его гостей все еще не видели его. Такая грубость со стороны полковника Пинчона сделалась еще загадочнее, когда второе по значению лицо в провинции, явившись в дом, также не удостоилось более почтительного приема. Лейтенант-губернатор, несмотря на то что его визит был самым желанным украшением праздника, слез со своего коня, помог своей леди спуститься с ее дамского седла, перешагнул через порог полковникова дома и встречен был только главным служителем.

Эта особа — седой человек, спокойной и весьма почтенной наружности, — сочла нужным

объяснить знатному гостю, что господин его еще не выходил из своего кабинета или особенного покоя, куда он с час назад удалился, отдав приказание, чтоб его ни под каким видом не беспокоили.

— Разве ты не видишь, любезный, — сказал главный шериф графства, отведя слугу в сторону, — что это ни больше ни меньше как сам лейтенант-губернатор? Доложи тотчас полковнику Пинчону! Я знаю, что он сегодня получил из Англии письма, и за ними для него, пожалуй, час пролетит незаметно. Но он, я уверен, будет досадовать, если ты допустишь его выказать невежливость перед одним из главных наших начальников, который, за отсутствием губернатора, представляет, можно сказать, особу самого короля Вильгельма. Доложи тотчас твоему господину!

— Не могу, с позволения вашей милости, — отвечал слуга в большом смущении, но с твердостью, которая ясно обнаруживала строгость домашней дисциплины полковника Пинчона. — Полковник отдал самые точные приказания, а вашей милости известно, что он не терпит в своих слугах ни малейшего неповиновения. Пускай кто угодно отворит эту дверь, только это буду не я, хоть бы

мне приказал сам губернатор!

— Полно, полно, господин главный шериф! — вскричал лейтенант-губернатор, который слышал предшествовавший разговор и не боялся уронить свое достоинство. — Я возьму на себя это дело. Пора уже доброму полковнику выйти к друзьям, иначе мы готовы подумать, что он слишком усердно отведал своего канарийского, выбирая, какую бочку лучше начать в честь нынешнего дня! Но так как он уж чересчур запоздал, так я сам ему напомню о гостях!

С этими словами он зашагал по полу с таким шумом, что его можно было слышать в отдаленнейшем из семи шпилей, подошел к двери, на которую указывал слуга, и потряс ее половинки громким, бесцеремонным стуком. Потом, оглянув с улыбкой собрание, он застыл в ожидании ответа. Но так как ответа никакого не было, он постучал снова, только и на этот раз результат был тот же. Тогда лейтенант-губернатор, будучи несколько холерического сложения, взял тяжелую рукоятку своей шпаги и загремел ею так сильно в дверь, что, по словам присутствовавших, которые при этом перешептывались между собою, грохот ее мог бы разбудить и мертвого. Как бы то ни было, но на полковника Пинчона он

не произвел никакого возбудительного действия. Когда умолкнул стук, в доме царило глубокое, страшное, тяготившее душу молчание, несмотря на то что у многих гостей языки поразвязались уже одной или двумя рюмками вина или спиртных напитков, выпитыми не в зачет будущего угощения.

— Странно, право! Очень странно! — вскричал лейтенант-губернатор, переменив свою улыбку на угрюмое выражение лица. — Но так как наш хозяин подает нам пример несоблюдения приличий, я тоже отложу их в сторону и без церемоний войду в его особую комнату!

Он повернул ручку — дверь уступила его руке и вдруг отворилась настежь внезапно ворвавшимся ветром, который, подобно долгому вздоху, прошел от наружной двери чрез все проходы и комнаты нового дома. Он зашелестел шелковыми платьями дам, взвеял на воздух длинные кудри джентльменских париков и заколыхал занавесями у окон и постельными шторами спален, произведя везде странное трепетание, которое было еще поразительнее тишины. Неопределенный ужас от какого-то страшного предчувствия пал на душу каждого из присутствовавших.

Несмотря на это, гости поспешили к отворен-

ной двери, тесня вперед, в нетерпеливом своем любопытстве, самого лейтенанта-губернатора. При первом взгляде они не заметили ничего чрезвычайного. Это была хорошо убранная комната, умеренной величины, немного мрачная от занавесок, на полках стояли книги, на стене висели большая карта и, как можно было догадаться, портрет полковника Пинчона, под которым сидел сам оригинал в дубовых покойных креслах, с пером в руке. Письма, пергамены и чистые листы бумаги лежали перед ним на столе. Он, казалось, смотрел на любопытную толпу, впереди которой стоял лейтенант-губернатор; брови его были нахмурены, и на его смуглом, массивном лице заметно было неудовольствие, как будто он сильно оскорбился вторжением к себе гостей.

Небольшой мальчик, внук полковника, единственное человеческое существо, которое осмеливалось фамильярничать с ним, протеснился в эту минуту сквозь толпу гостей и побежал к сидевшей фигуре; но, остановившись на половине дороги, он поднял крик испуга. Гости, вздрогнув все разом, как листья на дереве, подступили ближе и заметили в пристальном взгляде полковника Пинчона ненатуральное выражение, на его манжетах видны были кровавые пятна,

и серебристая борода его была также обрызгана кровью. Поздно было уже оказывать помощь. Жестокосердый пуританин, неутомимый преследователь, хищный человек с непреклонной волей был мертв — мертв в своем новом доме! Предание, едва ли стоящее упоминания, потому что оно придает оттенок суеверного ужаса сцене, может быть, и без него уже довольно мрачной, — предание утверждает, будто бы из толпы гостей раздался чей-то громкий голос, напомнивший последние звуки голоса старого Мэтью Моула, казненного колдуна: «Бог напоил его моею кровью!»

Так-то рано смерть — этот гость, который непременно явится во всякое жилище человеческое, — перешагнула через порог Дома о Семи Шпилях!

Внезапный и таинственный конец полковника Пинчона наделал в то время много шуму. Довольно было разных толков — некоторые из них, довольно туманные, дошли до наших дней — о том, что по всем признакам он умер насильственной смертью, что на горле у него замечены были следы пальцев, а на измятых манжетах — отпечаток кровавой руки и что его остроконечная борода была всклочена, как будто кто-то, крепко

схватив, теребил ее. Принято было также в соображение, что решетчатое окно подле кресел полковника было на ту пору отворено и что только за пять минут до рокового открытия замечена была человеческая фигура, перелезавшая через садовую ограду позади дома. Но было бы нелепо придавать какую-нибудь важность этого рода историям, которые непременно возникнут вокруг всякого подобного происшествия и которые, как и в настоящем случае, иногда переживают целые столетия, подобно грибам-поганышам, указывающим место, где свалившийся и засохший ствол дерева давно уже превратился в землю. Что касается, собственно, нас, мы придаем им так же мало веры, как и басне о костяной руке, которую будто бы видел лейтенант-губернатор на горле полковника, но которая исчезла, когда он сделал несколько шагов вперед по комнате. Известно только, что несколько докторов медицины проводили долгую консультацию и жарко спорили о мертвом теле. Один, по имени Джон Сниппертон — особа, по-видимому, весьма важная, — объявил, если только мы ясно поняли его медицинские выражения, что полковник умер от апоплексии. Каждый из его товарищей предлагал особенную гипотезу, более или менее правдопо-

добную, но все они облекали свои мысли в такие темные, загадочные фразы, которые должны были свести с ума неученого рассматривателя их мнений. Уголовный суд освидетельствовал тело и, состоя из людей особенно умных, произнес заключение, против которого нечего было сказать: «Умер скоропостижно».

В самом деле, трудно предполагать, чтобы здесь было серьезное подозрение в убийстве или малейшее основание обвинять какое-нибудь постороннее лицо в злодеянии. Сан, богатство и почетное место, какое занимал покойник в обществе, были достаточными побуждениями для производства самого строгого следствия при всяком сомнительном обстоятельстве. Но так как документы не говорят ни о каком следствии, можно основательно думать, что ничего подобного не существовало. Предание, которое часто сохраняет истину, забытую историей, но еще чаще передает нам нелепые современные толки, какие в старину велись у домашнего очага, а теперь наполняют газеты, — предание одно виной всех противоположностей в показаниях. В надгробном — после напечатанном и уцелевшем доныне — слове почтенный мистер Гиггинсон между разными благополучиями земного стран-

ствия сановитого своего прихожанина упомянул о тихой, благовременной кончине. Покойник исполнил все свои обязанности: его юное потомство и грядущий род утверждены им на незыблемом основании и поселены под надежным кровом на целые столетия, — какая же еще оставалась высшая ступень для этого доброго человека, кроме конечного шага с земли в златые небесные врата? Нет сомнения, что благочестивый проповедник не произнес бы таких слов, если б он только подозревал, что полковник переселен в другой мир рукой убийцы.

Семейство полковника Пинчона в эпоху его смерти, по-видимому, было так обеспечено на будущее время, как только это возможно при непостоянстве всех дел человеческих. Весьма естественно было предполагать, что с течением времени благосостояние его скорее увеличится, нежели придет в упадок. Сын и наследник его не только вступил в непосредственное владение богатым имением, но — в силу одного контракта с индейцами, подтвержденного впоследствии общим собранием директоров, — и имел притязание на обширное, еще не исследованное и не приведенное в известность пространство восточных земель. Эти владения — их почти можно

уже было назвать этим именем — заключали в себе большую часть так называемого графства Вальдо в штате Мэн и превосходили объемом многие герцогства в Европе. Когда непроходимые леса уступят место — как это и должно быть неизбежно, хотя, может быть, через многие сотни лет — золотой жатве, тогда они сделаются для потомков полковника Пинчона источником несметного богатства. Если бы только полковник пожил еще неделю, то, весьма вероятно, что он своим политическим значением и сильными связями в Америке и в Англии успел бы подготовить все, что было необходимо для полного успеха в его притязаниях. Но, несмотря на красноречивое слово доброго мистера Гиггинсона по случаю кончины полковника Пинчона, это было единственное дело, которого покойник — при всей своей предусмотрительности и уме — не мог осуществить окончательно. По отношению к будущему этих земель он, бесспорно, умер очень рано. Сыну его не только недоставало высокого места, какое занимал в обществе его отец, но и способностей и силы характера, чтобы достигнуть этого места. Поэтому он не мог ни в чем успеть посредством своего личного влияния на дела, а простая справедливость или

законность была совсем не так очевидна после смерти полковника, как при его жизни. Из цепи доказательств потеряно было одно звено — одно только, но его нигде нельзя было теперь найти.

Пинчоны, однако, не только на первых порах, но и в разные эпохи всего следующего столетия отстаивали свою собственность. Прошло уже много лет, как права полковника были забыты, а Пинчоны все еще продолжали справляться с его старой картой, начерченной еще в то время, когда графство Валь-до было непроходимой пустыней. Где старинный землемер изобразил только леса, озера и реки, там они намечали расчищенные пространства, чертили деревни и города и вычисляли возрастающую прогрессивно ценность территории.

Впрочем, в роду Пинчонов в каждом поколении появлялась какая-нибудь личность, одаренная частью твердого, проницательного ума и практической энергии, которые так отличали старого полковника. Его характер можно было изучать во всей нисходящей линии потомков с такой же точностью, как если бы сам он, несколько только смягченный, по временам снова появлялся на земле. Уже во время упадка рода Пинчонов было две или три эпохи, когда наследственные

свойства их появились во всей яркости, так что городские кумовья шептали между собой: «Опять показался старый Пинчон! Теперь Семь Шпилей засияют снова!» От отца к сыну все Пинчоны привязаны были к родовому дому с замечательным постоянством. Впрочем, разные причины и разные, слишком неясные для изложения на бумаге впечатления заставляют автора думать, что многие — если не большая часть наследственных владельцев этого имения — смущались сомнениями насчет своего владения им. О законности владения тут не могло быть и вопроса, но тень дряхлого Мэтью Моула — от эпохи казни его до нынешнего времени — тяжело налегала на совесть каждого Пинчона.

Мы уже сказали, что не беремся проследить, событие за событием, всю историю Пинчонов в непрерывной ее связи с Домом о Семи Шпилях, не беремся также изображать, как бы в магических красках, старость и дряхлость, нависшие над самим домом. Что касается жизни внутри этого почтенного здания, то в одной из комнат всегда висело большое, мутное зеркало и, по баснословному преданию, удерживало в своей глубине все образы, какие только когда-либо отражались в нем, — образы самого полковника и множества

его потомков. Некоторые из них были в старинной детской одежде, другие — в цвете женской красоты, или в мужественной молодости, или в сединах пасмурной старости. Если бы тайна этого зеркала была в нашем распоряжении, то нам бы только стоило сесть напротив него и переносить его образы на свои страницы. Но предание, которому трудно найти какое-нибудь основание, гласит, что потомство Мэтью Моула имело тоже какую-то связь с таинствами зеркала и могло посредством какой-то месмерической процедуры наполнить всю его внутреннюю область покойными Пинчонами — не в том виде, в каком представлялись они людям, не в лучшие и счастливейшие часы их, но в кризисе жесточайшей житейской горести. Народное воображение долго было занято делом старого пуританина Пинчона и колдуна Моула — долго вспоминали предсказание с эшафота, делая к нему разные прибавления, и если у кого-нибудь из Пинчонов случалось только першение в горле, то уже его сосед готов был шепнуть другому на ухо полушутя-полусерьезно: «Он мучится кровью Моулов!» Внезапная смерть одного из Пинчонов, лет сто назад, с обстоятельствами, напоминавшими конец полковника, принята была за подтверждение

справедливости общепринятого мнения об этом предмете. Сверх того неприятным и зловещим казалось обстоятельство, что изображение полковника Пинчона — в исполнение, как говорили, его духовного завещания — оставалось неприкосновенным на стене той комнаты, в которой он умер. Эти суровые неумолимые черты, казалось, символизировали грустную судьбу дома.

Впрочем, Пинчоны существовали более полутора столетия, подвергаясь, по-видимому, меньшим бедствиям, нежели большая часть других современных им фамилий Новой Англии. Отличаясь свойственными только им особенностями, они, несмотря на это, запечатлены были общим характером небольшого общества, посреди которого жили. Родной их город известен был своими воздержными, скромными, порядочными и приверженными к домашнему очагу обитателями, так же как и ограниченностью их чувств, но зато надо сознаться, что в нем встречались такие странные личности и необыкновенные приключения, какие едва ли случалось вам видеть и слышать где-нибудь. В войну с Англией Пинчоны той эпохи, поддерживая сторону короля, должны были бежать с родины; но потом явились опять в отечество, чтобы спасти от конфискации Дом о

Семи Шпилях. В течение последних семидесяти лет самое замечательное событие в семейной хронике Пинчонов было в то же время и самым тяжким бедствием, какому только когда-либо подвергался их род, именно: насильственная смерть — по крайней мере, так о ней думали — одного из членов семейства от руки другого. Некоторые обстоятельства этого ужасного события решительно заставляли считать убийцей племянника погибшего Пинчона. Молодой человек был допрошен и обвинен в преступлении; но или показания не были вполне убедительны, так что в душе судей осталось тайное сомнение, или один из аргументов обвиненного — его знатность и обширные связи — имел больше веса, только смертный приговор его был переменен на постоянное заключение. Это печальное событие случилось лет за тридцать до того момента, в который начинается действие нашей истории. В последнее время носились слухи (которым верили немногие и которые живо интересовали разве что одного или двух человек), что будто бы этот, столь давно погребенный заключенный по той или другой причине был вызван на свет из своей могилы.

Кстати сказать здесь несколько слов о жертве

этого, теперь почти забытого убийства. Это был старый холостяк, имевший большой капитал, независимо от дома и поместья, оставшихся от старинного имения Пинчонов. Будучи эксцентрического и меланхолического характера, любя рыться в старых рукописях и слушать старинные предания, он, как уверяют, дошел до заключения, что Мэтью Моул, колдун, потерял жизнь и имущество совершенно несправедливо. Когда он в этом убедился, как утверждали знавшие его ближе других, он решительно принял намерение отдать Дом о Семи Шпилях представителю потомства Мэтью Моула, и только тревога, возбужденная между его родней одной догадкой о такой мысли старика, помешала ему привести в исполнение это намерение. Он не успел в своем предприятии, но после его смерти осталось опасение, не существует ли где-нибудь его духовное завещание, составление которого старались предупредить при его жизни. По смерти старика его хоромы, вместе с большею частью других богатств, достались в наследство ближайшему законному родственнику.

Это был племянник, кузен молодого человека, обвиненного в убийстве дяди. Новый наследник, до самого вступления своего во владение

имением слыл за большого повесу, но теперь исправился и сделался самым почтенным членом общества. Действительно, он обнаружил в себе многие свойства полковника Пинчона и достиг большого значения в свете, нежели кто-либо из его рода со времен старого пуританина. Занявшись во второй уже поре молодости изучением законов и чувствуя природную склонность к гражданской службе, он долго работал в каком-то второстепенном присутственном месте, и это наконец доставило ему на всю жизнь важный сан судьи. Потом полюбил он политику и два раза заседал в конгрессе. Независимо от того, что он представлял таким образом довольно значительное звено в обеих отраслях законодательства Соединенных Штатов, судья Пинчон, бесспорно, был украшением своего рода. Он выстроил себе деревенский дом в нескольких милях от родного города и проводил в нем все время, остававшееся ему от служебных занятий, в гостеприимном общении и в добродетелях, свойственных христианину, доброму гражданину и джентльмену.

Но из Пинчонов оставались в живых немногие, которые могли воспользоваться плодами благоденствия судьи. В отношении естественного приращения поколение их сделало мало успехов;

скорее можно сказать, что оно вымерло, нежели приумножилось. Состоявшие налицо члены фамилии были: во-первых, сам судья и его единственный сын, путешествовавший по Европе; во-вторых, тридцатилетний уже заключенный, о котором мы говорили выше, и сестра его, жившая чрезвычайно уединенной жизнью в Доме о Семи Шпилях, который достался ей в пожизненное владение по завещанию старого холостяка. Ее считали совершенно нищей, и она, по-видимому, сама избрала себе такой жребий, хотя кузен ее, судья, не раз предлагал ей все удобства жизни или в старом доме, или в своем новом жилище. Наконец, последняя и самая юная представительница Пинчонов — молоденькая деревенская девушка лет семнадцати, дочь другого кузена судьи, женатого на молодой незнатной и бедной женщине и скончавшегося рано при бедственных обстоятельствах. Вдова его недавно вышла в другой раз замуж.

Что касается до потомства Мэтью Моула, то оно почиталось уже полностью вымершим. Впрочем, после общего заблуждения насчет колдовства Моула долго еще продолжали жить в городе, где предок их принял смерть. По всему видно, что это был народ спокойный, честный и благомыс-

лящий и что ни отдельные лица, ни общество не замечало в нем никакой злобы в себе за нанесенную ему обиду. Если же у домашнего очага Моулов и переходили от отца к сыну воспоминания о судьбе мнимого чародея и потере их наследства, то враждебное чувство, возбужденное этими воспоминаниями, не отражалось ни в каком их поступке и никогда не высказывалось открыто. Неудивительно было бы, если б они и совсем перестали вспоминать, что Дом о Семи Шпилях покоился на почве, принадлежавшей их предку. Моулы таили свои неудовольствия в глубине души. Они постоянно должны были бороться с бедностью, постоянно принадлежали к классу простолюдинов, добывали себе скудное пропитание трудами рук своих, работали на пристанях или плавали по морям, нанявшись матросами, жили то в одном, то в другом конце города в наемных лачугах и под конец жизни переселялись в богадельню, как в убежище для их старости. Наконец, после долгого блуждания вдоль и поперек житейского их ничтожества, они канули на дно и исчезли навеки, что, впрочем, рано или поздно предстоит каждому. В течение последних тридцати лет ни в городских актах, ни на могильных камнях, ни в народных переписях,

ни в воспоминаниях частного человека — нигде не появлялось никакого следа потомков Мэтью Моула. Может быть, потомки его и существуют где-нибудь, но только в этом месте мелкое течение его рода, которое мы проследили до такой глубокой старины, перестало протекать наружным потоком.

Пока не исчезли представители рода Моулов, они отличались от других людей — не резко, не чертою, бросавшеюся в глаза каждому, когда легче чувствовать, чем выразить их отличие, оно состояло в наследственно-осторожном характере. Приятели их — или, по крайней мере, желавшие быть их приятелями — убеждались, что Моулы обведены были чародейским кругом, за черту которого, при всей наружной их откровенности и дружелюбии, никто посторонний не мог проникнуть. Может быть, эта-то неопределимая особенность их характера, удалив их от людской помощи, постоянно и держала их в такой низкой доле. Она, без сомнения, поддерживала и подтверждала в отношении к ним эти чувства суеверного страха, с которыми горожане, даже и протрезвившись уже от фанатизма, продолжали смотреть на все, что напоминало им мнимого колдуна, — такое грустное оставил он им наследство! Мантия,

или, лучше сказать, изорванный плат, Мэтью Моула накрыла детей его: по мнению горожан, они наследовали таинственные его свойства, — и не один был убежден, что глава их одарен странной силой. Между другими отличиями в особенности им был приписан дар мутить сон ближних.

Нам остается написать еще пунктик или два о семишпильном доме в его ближайшем к нашему времени виде, и введение наше будет кончено. Улица, на которой возвышаются его почтенные пики, давно уже перестала слыть лучшею частью города, так что хотя старое здание было окружено новыми домами, но все они были большею частью невелики, построены только из дерева и отмечены, так сказать, мозольным однообразием жизни простолюдинов. Что касается древнего здания — театра нашей драмы, — то его дубовый сруб, его доски, гниль, осыпающаяся мало-помалу штукатурка и громадная труба посреди кровли составляют только самую ничтожную и малую часть его действительности. В его стенах люди столько изведали разнообразных опытов, в нем столько страдали, а иногда и радовались, что и самое дерево как будто пропиталось ощущениями сердца. Дом этот в наших глазах есть огромное сердце со своею самостоятельной жизнью, со сво-

ими приятными и мрачными воспоминаниями.

Выступ второго этажа придавал дому такой размышляющий вид, что невозможно было пройти мимо него, не подумав, что он заключает в себе много тайн и философствует над какою-то повестью, полной необыкновенных приключений. Перед ним, на самом краю немощеного тротуара, растет Пинчонов вяз, который в сравнении с деревьями, какие мы обыкновенно встречаем, может назваться решительно великаном. Он был посажен праправнуком первого Пинчона, и хотя ему теперь лет восемьдесят, а может быть, и сто, но он еще только что достиг сильной и крепкой возмужалости и бросает свою тень от края до края улицы; он поднялся даже над семью шпилями и треплет по всей почерневшей кровле дома своими густыми листьями. Вяз этот придает красоту старому зданию и как бы делает его частью природы. Улица в последние сорок лет значительно расширена против прежнего, так что теперь передовой фронтон приходится как раз по черте ее. По обе его стороны идет полуразрушенная деревянная ограда, состоящая из прозрачной решетки, сквозь которую виден зеленый двор, а по углам подле здания растет в необыкновенном изобилии камыш, листья которого, без преувели-

чения сказать, длиной в два или три фута. Позади дома тянется сад, некогда, как видно, обширный, но теперь стесненный другими оградами или домами и разными постройками другой улицы. Было бы упущением, маловажным, конечно, однако ж непростительным, если б мы позабыли упомянуть еще о зеленом мхе, который давно уже укоренился на выступах окон и на откосах кровли. Нельзя также не обратить внимание читателя на купы — не камыша, но цветочного кустарника, который рос высоко в воздухе недалеко от трубы, в углу между двух шпилей. Эти цветы прозваны были Букетом Алисы. Какая-то Алиса Пинчон, по преданию, посеяла там для забавы семена, и когда набившаяся в щели гниющего гонта пыль образовала на кровле род почвы, из семян мало-помалу вырос целый куст цветов, к тому времени Алиса давно уже лежала в могиле. Как бы, впрочем, ни попали туда эти цветы, только грустно и вместе приятно наблюдать, как природа присвоила себе этот опустелый, разрушающийся, поражаемый беззащитно ветром и обрастающий пустынной зеленью старый дом Пинчонова семейства и как с каждым возвращающимся летом она старается всячески скрасить его дряхлую старость и как бы тоскует о безуспешных своих усилиях.

Есть еще одна весьма важная черта, которой нельзя оставить без внимания, но которая — этого мы сильно опасаемся — может повредить всему живописному и романтическому впечатлению, которое мы старались произвести на читателя этим почтенным зданием. В передовом шпиле, как мы называем узко заостренные кверху фронтоны, под нависшим челом второго этажа, выходила прямо на улицу дверь лавки, разделенная горизонтально посредине, с окном в верхнем ее отрезе, какие часто можно видеть в домах старинной постройки. Эта дверь причиняла немало горя нынешней обитательнице величавого Пинчонова дома, равно как и некоторым из ее предшественников. Неприятно упоминать столь щекотливый момент, но так как читателю необходимо знать эту тайну, то пусть он имеет в виду, что лет сто назад тогдашний представитель Пинчонов находился в плохих денежных обстоятельствах. Этот господин, величавший себя джентльменом, был едва ли не какой-нибудь самозванец, потому что, вместо того чтобы искать службы у короля или у его губернатора либо хлопотать о своих землях, он не нашел лучшего пути к поправлению своих обстоятельств, как прорубить дверь для лавки в стене своего на-

следственного жилища. У купцов действительно был обычай складывать товары и производить торговлю в собственных своих обиталищах, но в торговых операциях этого представителя старых Пинчонов было что-то мелочное. Соседи толковали, что он собственными руками, как они ни были убраны манжетами, давал сдачи с шиллинга и переворачивал раза два полпенни, чтоб удостовериться, не фальшивый ли он. Нечего и доказывать, что в его жилах текла, по-видимому, кровь какого-то мелкого торгаша.

После его смерти дверь лавочки немедленно была закрыта на крючки, задвинута засовами, прижата болтами и до самого момента, в который начинается наша история, вероятно, ни разу не была отперта. Старая конторка, полки и другие поделки мелочной лавки остались в том самом виде, как были при нем. Иные даже утверждали, что покойный лавочник, в белом парике, полинялом бархатном кафтане, в переднике, подвязанном вокруг перехвата, и в манжетах, бережно отвернутых назад, каждую ночь — видно было сквозь щели в створах лавочной двери — рылся в своем выдвижном ящике для денег или перелистывал исчерканные листы записной книги. Судя по выражению неописуемого горя на

его лице, можно было подумать, что он осужден целую вечность сводить свои счеты, но никогда не свести их.

Теперь мы можем приступить к началу нашей повести — началу самому смиренному, как это читатель тотчас увидит.

Глава II
Окно мелочной лавочки

Оставалось еще с полчаса до восхода солнца, когда Гефсиба Пинчон — мы не хотим сказать «проснулась»: сомнительно еще, смыкала ли бедная леди глаза в течение короткой летней ночи, — но, во всяком случае, встала со своей одинокой постели и начала одеваться. Мы далеки от неприличного желания присутствовать, даже и воображением, при туалете одинокой леди. Поэтому наша история должна дождаться мисс Гефсибы на пороге ее комнаты; мы позволим себе до тех пор упомянуть только о нескольких тяжелых вздохах, которые вылетели из ее груди, не обнаруживая в воздыхавшей ни усилия скрыть горестную глубину их, ни старания уменьшить их звучность, тем более что их никто не мог слышать, кроме такого слушателя, как

мы. Старая дева жила одна в старом доме — одна, кроме некоего достойного уважения и благонравного художника-дагеротиписта, который уже месяца три занимал квартиру в отдаленном шпиле — почти отдельном доме, можно сказать, с защипками, болтами и дубовыми засовами у всех смежных дверей, следовательно, заунывные вздохи бедной мисс Гефсибы туда не долетали. Не долетали они также и ни до какого смертного уха, но по всеобъемлющей любви и милосердию на отдаленных небесах слышна была молитва, то произносимая шепотом, то выражаемая вздохом, то затаенная в тяжкое молчание, постоянно взывавшая о божественной помощи в этот день! Очевидно было, что этот день был более, нежели обыкновенный день испытания для мисс Гефсибы, которая в течение почти четверти столетия жила в строгом уединении, не принимая никакого участия в делах окружавшей ее жизни, равно как и в связях и удовольствиях общества.

Старая дева окончила свою молитву. Теперь она уж верно переступит через порог нашей повести? Нет, она еще долго не покажется. Она сперва выдвинет каждый ящик в огромном, старомодном бюро; это будет сделано не без труда и произведет скрип, раздирающий уши. Потом

она задвинет их с теми же потрясающими нервы звуками. Вот слышен шелест плотной шелковой материи, слышны шаги взад и вперед по комнате. Мы догадываемся далее, что мисс Гефсиба стала на стул, чтобы удобнее осмотреть себя вокруг, во всю длину своего платья, в овальном туалетном зеркале, которое висит в резных деревянных рамах над ее полом. В самом деле, кто бы это подозревал! Возможно ли тратить драгоценное время на утренний наряд и на украшение своей старой особы, которая никогда не выходит из дому, к которой никто не заглядывает и с которою, при всех ее туалетных заботах, нельзя поступить милосерднее, как устремив глаза в другую сторону?

Вот она почти готова. Простим ей еще одну паузу — она была сделана для единственного чувства, или, лучше сказать, для сильной страсти ее жизни, до такой степени тоска и одиночество разгорячили и сосредоточили в ней это чувство. Мы слышим поворот ключа в небольшом замке; она отворила секретный ящик в письменном столе и, вероятно, смотрит на миниатюру, писанную искусной кистью Мальбона и представляющую лицо, достойное столь изящной кисти. Нам посчастливилось, однако, видеть этот портрет. То было изображение молодого человека в шелко-

вом старомодном шлафроке, богатая мягкость которого очень шла к этому мечтательному лицу с его полными, нежными губами и прелестными глазами, которые, казалось, обнаруживали в оригинале не столько способность мыслить, сколько склонность к нежному и страстному волнению сердца. О том, кому принадлежали такие черты, мы не имеем никакого права разузнавать, мы только желали бы, чтоб он прошел легко по трудной дороге жизни и был в ней счастлив. Не был ли он некогда обожателем мисс Гефсибы? Нет! У нее никогда не было обожателя — бедняжка, куда ей! Она даже не знала, по собственному опыту, что значит слово «любовь». И однако ж ее неослабевающая вера в оригинал этого портрета, ее вечно свежая память о нем, ее постоянная преданность ему были единственной пищей, какой жило ее сердце.

Она, по-видимому, положила назад миниатюру и стоит опять перед зеркалом. Отирает слезы. Еще несколько шагов взад и вперед, и наконец — с другим жалобным вздохом, подобным порыву холодного, сырого ветра из случайно отворенной двери долго запертого подвала, — мисс Гефсиба Пинчон является к нам! Она выходит в темный, почернелый от времени коридор — высокая

фигура в черном шелковом платье с длинной узкой талией — и ищет дорогу на лестницу, как близорукая, что в самом деле и было.

Между тем солнце, не показываясь еще на горизонте, поднималось ближе и ближе к его краю. Легкие облака, плывя высоко над ним, впитали уже в себя частицу его первоначального света и отражаются его золотым блеском на окнах целой улицы, не забывая и Дома о Семи Шпилях, который весело встречал восход солнца — сколько раз он уже видел его! Отраженный солнечный свет помогает нам рассмотреть очень ясно устройство комнаты, в которую вошла Гефсиба, спустившись по лестнице. Комната довольно низкая, с перекладинами под потолком, стены ее обиты потемневшею деревянной резьбой, в ней стоит огромная, с расписанными изразцами, печь, в которую вделан новейший камин. На полу разостлан ковер, некогда богато вытканный, но до того изношенный и полинявший в последнее время, что его прежде яркие фигуры превратились в пятна неопределенного цвета, в числе мебели стоят здесь два стола: один — чрезвычайно многосложный, напоминающий своими бесчисленными ножками стонога; другой, собственно чайный стол, сделан гораздо изящнее и

имеет только четыре высокие и легкие ножки, по-видимому, до такой степени непрочные, что почти невероятно, как может держаться на них этот чайный стол с такого давнего времени; вокруг комнаты расставлено полдюжины стульев, прямых, твердых и так искусно приноровленных к неудобному расположению на них человеческой фигуры, что на них даже смотреть больно. Исключение составляет только очень древнее кресло с высокой спинкою, покрытой тщательной резной работой по дубу, и с просторной глубиной между ручек, которая своим объемом вознаграждает опускающегося в них за недостаток художественных изгибов, какими снабжены новейшие кресла.

Из украшений комнаты мы укажем только на два, если только можно назвать их украшениями. Одно составляет карта Пинчоновых владений в Восточной Америке, начерченная рукой какого-то искусного старинного топографа и грубо разрисованная изображениями индейцев и диких зверей, в числе которых помещен и лев, так как естественная история страны была известна в то время не больше ее географии, а географические сведения о ней состояли из самых фантастических нелепостей. Другое украшение — портрет

старого полковника Пинчона в две трети роста. Он представляет грубые черты глядящей пуританином фигуры, в шишаке, с кружевной фрезой на шее и с серебристой бородою; в одной руке держит он Библию, а в другой — железную рукоятку шпаги, и эта последняя принадлежность его особы, изображенная художником удачнее прочих, бросается в глаза всего резче.

Войдя в комнату, мисс Гефсиба Пинчон остановилась, лицом к лицу, против этого портрета и смотрела на него с особенной какой-то угрюмостью, с каким-то странным выгибом бровей, который человек, незнакомый с нею, вероятно, истолковал бы как выражение горькой досады и ненависти. Но, в сущности, не было ничего подобного; в сущности, она чувствовала почтение к изображению старого пуританина, к какому только была способна отдаленная от него несколькими поколениями родства и престарелая дева. Этот отталкивающий, нахмуренный вид ее был невинным следствием ее близорукости и старания сосредоточить силу зрения так, чтобы созерцаемый предмет представился ей в ясных очертаниях вместо неопределенного образа.

Остановимся на минуту на этом несчастном выражении глаз бедной Гефсибы, ее надутость —

как несправедливо выражался в своих суждениях о ней свет или та часть его, которой случайно удавалось поймать ее взгляд в окне, — ее надутость очень много вредила ей в общем мнении, которое приписывало ей характер сердитой старой девы. Весьма вероятно также, что часто и сама она, глядя в мутное зеркало и всегда встречая в его волшебном пространстве свои нахмуренные брови, истолковывала выражение своего лица почти так же несправедливо, как и другие. «Как я сегодня пасмурна!» — шептала, я думаю, она сама с собою, и наконец мало-помалу бедняжка убедилась, что ей уж суждено быть таким нахмуренным существом. Но ее сердце никогда не хмурилось. Оно было от природы нежно, чувствительно, часто подвержено небольшим волнениям и трепету, и все эти свойства остались в нем до сих пор, хотя лицо ее сделалось суровым и даже злым. Самые резкие порывы этого сердца были действием только самых горячих чувств его.

Но мы, однако, все еще боязливо медлим у входа в нашу историю. Признаемся, нам очень тяжело, очень стеснительно развязывать то, что станет сейчас делать мисс Гефсиба Пинчон.

Выше уже сказано, что в нижнем этаже шпиля, обращенного к улице, один предок ее лет сто

назад устроил лавочку. С того самого времени, как старый джентльмен, оставив свою торговлю, уснул вечным сном под гробовой крышкою, не только лавочная дверь, но и внутреннее устройство ее оставлено без всяких переделок. Вековая пыль легла толстым слоем на полках и конторке, наполнила отчасти чашки весов, как будто и она стоила того, чтоб ее взвешивать, и набилась в полуотворенный ящик конторки, где до сих пор лежала одна фальшивая шестипенсовая монета, стоившая меньше даже, чем всякая медная монета. Лавочка была точно в таком же виде и во времена далекого детства Гефсибы, когда она и ее брат играли в жмурки в этом заброшенном углу дома, и ничего в ней не переменилось до настоящего момента.

Но теперь, несмотря на то что окно лавочки все еще было плотно закрыто занавеской от наблюдений прохожих, в ней произошла значительная перемена. Широкие тяжелые фестоны паутины, устройство которых стоило постоянных трудов многочисленным поколениям пауков, были старательно обметены с потолка. Конторка и полки были выметены, а пол, сверх того, высыпан свежим песком. Потемневшие весы также носили признаки старательного возобновления, только

напрасны были усилия отчистить ржавчину, которая везде глубоко въелась в металл. В старой мелочной лавочке было теперь довольно разных торговых снадобий. Любопытный глаз, который бы захотел рассмотреть товары и заглянул за конторку, открыл бы там бочонок, даже два или три бочонка, из которых в одном содержалась мука, в другом — яблоки, а в третьем, может быть, рис. Тут же был четырехугольный сосновый ящик с кусками мыла, а другой, такой же, с сальными свечами по десяти на фунт. Небольшой запас темного сахару, бобы, сухой горох и разные другие дешевые предметы торговли, на которые было постоянное требование, составляли основу запасов лавочки. Можно бы суеверно подумать, что все это уцелело еще от времен старого лавочника Пинчона, только многие из предметов были такого свойства и наружности, что едва ли их можно отнести к его времени. Например, тут была конфетная стеклянная ваза с «гибралтарскими кремнями» — не с настоящими осколками фундамента славной крепости, но с кусками сладкого леденца, красиво завернутыми в бумажки, кроме того, известный всем американским детям паяц Джим-Кро из пряника выделывал здесь свои чудесные прыжки. Отряд

свинцовых драгунов галопировал вдоль одной полки, причем в мундирах новейшего покроя; тут же было и несколько сахарных фигурок, очень мало похожих на людей какой бы то ни было эпохи, но все-таки более напоминавших моды нашего времени, нежели моды старинного века. Но в особенности бросалась в глаза своей новизной пачка фосфорных спичек, внезапное воспламенение которых в старину как раз бы приписали действию нечистой силы.

Словом сказать, по всему было видно, что кто-то занял лавочку с товарами давно не существующего и позабытого мистера Пинчона и готов был возобновить торговые обороты покойника с новым поколением покупателей. Кто бы мог быть этим смелым аферистом? И зачем он из всех мест на свете выбрал Дом о Семи Шпилях поприщем своих торговых спекуляций?

Возвратимся за объяснением этого недоумения к старой деве. Она наконец отвела свои глаза от мрачной физиономии полковникова портрета, вздохнула опять — грудь ее в это утро была настоящею пещерой Эола, — прошла через комнату на цыпочках, как это очень обыкновенно у старых девушек, пробралась далее смежным коридором и отворила дверь в лавочку, только что описан-

ной нами так обстоятельно. Выступ верхнего этажа и еще более густая тень Пинчонова вяза, который стоял почти прямо против этого шпиля, до того сгущали здесь темноту, что утренний полусвет в лавочке похож был на сумерки. Мисс Гефсиба еще раз вздохнула от глубины души и помедлила с минуту на пороге, всматриваясь в окно с нахмуренными от близорукости бровями, как будто перед ней стоял какой-нибудь враг, и вдруг порхнула в лавочку; ее торопливость и как бы гальваническая быстрота движений были действительно поразительны.

Она с нервическим беспокойством — можно почти сказать, в каком-то исступлении — принялась приводить в порядок разные детские игрушки и другие мелочи на полках и на окне лавочки. Эта одетая в черное, бледнолицая, похожая на знатную госпожу фигура запечатлена была глубоко трагическим характером, который резко противоречил мелочности ее занятия. Странная аномалия: худощавая, печальная женщина берет в руки детскую игрушку; удивительно, как эта игрушка не исчезает от одного ее прикосновения! Не жалкая ли мысль — мучить свой рассудок над тем, как бы искусить мальчишек своими приманками? А между тем именно такова была ее цель.

Вот она выставляет на окне пряничного слона, но рука ее так дрожит, что слон падает на пол и теряет три ноги и хобот; теперь он уже более не слон, а просто несколько кусков черствого пряника. Далее она опрокинула банку с мраморными шариками. Все они покатились в разные стороны, и как будто враждебная сила гнала каждый шарик в самые темные углы лавочки. Когда Гефсиба становится на колени для поисков раскатившихся шариков, мы решительно чувствуем, что к нашему сердцу подступают слезы сострадания. Эта женщина исполнена истинно печального интереса, какой только случается нам замечать в ком-либо посреди суматохи жизни, и если мы не заставим читателя почувствовать это, то виноваты будем все-таки мы, а не предмет нашего рассказа. В бедняжке зрел тяжелый кризис. Леди, с колыбели воспитанная в понятиях о своей важности и богатстве, с колыбели убежденная в ложной мысли, что стыдно такой знатной особе трудиться для своего содержания, — эта леди после шестидесятилетней борьбы с оскудевающими все более и более средствами принуждена наконец снизойти с пьедестала своей знатности. Бедность, гнавшаяся за ней по пятам всю жизнь, настигла наконец ее. Она должна зарабатывать

себе на хлеб насущный или умереть!

Открыть мелочную лавочку было бы почти единственным средством для каждой женщины в обстоятельствах нашей несчастной затворницы. При своей близорукости и с этими дрожащими пальцами, негибкими и вместе с тем изнеженными, она не могла быть швеей, хотя шитье ее лет пятьдесят тому назад представляло лучшие образцы женских украшений. Часто ей приходило в голову открыть школу для маленьких детей, и однажды она принялась было перечитывать свои давнишние уроки в «Новом английском букваре» с намерением приготовиться к должности наставницы. Но любовь к детям никогда не была слишком живым чувством в сердце Гефсибы, теперь же притупилась больше прежнего, если не угасла навеки. Она наблюдала из окна своей комнаты соседских детей и сомневалась, что была способна переносить близкое с ними знакомство. Кроме того, в наше время и сама азбука сделалась такой философской наукой, что нельзя уже изучать ее, показывая указкой от буквы до буквы. Нынешний ребенок скорее бы научил мисс Гефсибу, нежели старая Гефсиба научила бы ребенка. Таким образом, после многих замираний сердца при мысли пойти в неприятное столкновение

со светом, от которого она так долго держалась в отдалении, тогда как с каждым новым днем затворничества новый камень прикатывался ко входу в ее пещеру, бедняжка вспомнила наконец о старинном окне лавочки, о заржавленных весах и пыльной конторке. Она бы медлила еще долее, но одно обстоятельство, еще неизвестное читателю, ускорило ее решимость. Она печально сделала свои приготовления, и предприятие получило наконец начало. Нельзя даже сказать, чтоб она могла жаловаться на замечательную особенность своей судьбы, потому что в родном ее городе можно указать на несколько подобных лавочек. Некоторые из них открыты в таких же старинных домах, как и Дом о Семи Шпилях, и в одной или даже в двух лавочках обедневшая знатная старушка представляет за конторкой такой же хмурый образ, как и сама мисс Гефсиба Пинчон.

Нельзя было откладывать долее неизбежной минуты. Солнце кралось уже по фронтону противоположного дома; отраженные оконными стеклами лучи его, пробиваясь сквозь ветви вяза, освещали внутренность лавочки более прежнего. Город пробуждался. Тачка хлебника уже стучала по мостовой, прогоняя последние

остатки ночной тишины нестройным звяканьем своих колокольчиков. Молочник развозил от двери до двери кувшинчики, и вдали за углом был слышен пронзительный свисток рыбака. Ни один из этих признаков пробуждения города не ускользнул от наблюдения Гефсибы. Роковая минута наступила. Откладывать долее значило бы только продлить свое страдание. Ей оставалось только отнять железный запор от двери лавочки и предоставить свободный вход каждому прохожему, которому приглянется что-нибудь из выставленных в окне предметов, и не только свободный, но и желанный, как будто все проходящие были близкими друзьями дома. Гефсиба совершила наконец и этот последний подвиг. Стук упавшего запора поразил ее возбужденные нервы, как самый странный грохот. Тогда, как будто между ней и светом рушилась последняя преграда и поток бедствий готов был хлынуть в ее дверь, она убежала во внутреннюю комнату, бросилась в кресло предков и заплакала.

Бедная Гефсиба! Как тяжело писателю, который желает изобразить верными чертами и красками натуру в ее различных положениях и обстоятельствах, ведь так много ничтожного должно быть непременно примешано в чистейший пафос,

предоставляемый ему жизнью! Какое, например, трагическое достоинство можно придать этакой сцене? Каким образом опоэтизировать нам нашу историю когда мы принуждены выводить на сцену в качестве главного действующего лица не молодую, пленительную женщину, не даже поразительные остатки красоты, разрушенной горестями, но высохшую, желто-бледную, похожую на развалину девушку в старомодном шелковом платье и с каким-то странным тюрбаном на голове! Даже лицо ее не безобразно до романтичности, оно бросается в глаза только сдвинутыми от близорукости бровями, и, наконец, испытание ее жизни состоит в том, что после шестидесятилетней жизни она сочла необходимым обеспечивать себе содержание, открыв мелочную лавочку. Если мы бросим взгляд на все героические приключения человеческого рода, то везде откроем такое же, как здесь, смешение чего-то мелочного с тем, что есть благороднейшего в радости и горе. Жизнь человеческая составлена из мрамора и тины, и без глубокой веры в неизъяснимую любовь небесную мы бы могли видеть на железном лице судьбы только ничем не смягчаемую суровость. Но так называемый поэтический взгляд в том именно и состоит, чтобы

различать в этом хаосе странно перемешанных стихий красоту и величие, которые принуждены облекаться в отталкивающее рубище.

Глава III
Первый покупатель

Мисс Гефсиба Пинчон сидела в дубовом кресле, закрыв лицо руками и предавшись сердечному унынию, которое испытал на себе едва ли не каждый, кто только решался на важное, но сомнительное предприятие. Вдруг она была потрясена громким, резким и нестройным звоном колокольчика. Леди встала, бледная, как мертвец при пенье петуха, — она была словно заколдованный дух, повиновавшийся звонку, как талисману. Колокольчик этот, говоря просто, был прикреплен таким образом, что стальная пружина заставляла его звенеть и докладывать во внутренние помещения дома о приходе покупателя. Неприятный голосок его (раздавшийся теперь впервые, может быть, с того времени, как париконосный предшественник Гефсибы оставил торговлю) пробудил в каждом нерве ее тела тревожное сотрясение. Кризис ее наступил! Первый покупатель отворил дверь!

Не давая себе времени для другой мысли, она бросилась в лавочку. Бледная, глядящая дико, с отчаянием в приемах и выражении лица, пристально всматриваясь и, разумеется, хмурясь, она представляла фигуру, которая, по-видимому, скорее ожидала встретить вора, вломившегося в дом, нежели готова была стоять, улыбаясь, за конторкой и продавать мелочные товары за медные деньги. В самом деле, обыкновенный покупатель убежал бы от нее в ту же минуту. Но в бедном старом сердце Гефсибы не было ничего ожесточенного, в эту минуту она не питала в душе никакого горького чувства к свету вообще или к какому-нибудь мужчине или женщине в особенности. Она желала всем добра, но вместе с тем желала бы расстаться со всеми навеки и лежать в тихой могиле.

Между тем новоприбывший стоял в лавочке. Явившись прямо с утреннего света, он как будто внес с собой в лавочку часть его оживляющего действия. Это был стройный молодой человек двадцати одного или двух лет, с важным и чересчур для его лет задумчивым выражением лица, но вместе и с признаками юношеской живости и силы. Свойства эти не только проявлялись физически в его манерах и движениях, но и выка-

зывались почти в ту же минуту и в его характере. Темная борода, не слишком мягкая, окаймляла его подбородок, не закрывая его совсем, при этом он носил небольшие усы, и эти природные украшения очень шли к его смуглому, резко очерченному лицу. Что касается его наряда, то он был как нельзя проще: летний пальто-мешок из дешевой и обыкновенной материи, узкие клетчатые панталоны и соломенная шляпа, вовсе не похожая на щегольскую. Весь этот костюм он мог купить себе на толкучем рынке, но он казался джентльменом, если только он имел на это какое-нибудь притязание, по своему замечательно чистому и тонкому белью.

Он встретил нахмуренный взгляд старой Гефсибы, по-видимому, без всякого испуга, как человек, знакомый уже с ней и знавший ее незлобивость.

— А, милая мисс Пинчон! — сказал дагеротипист, потому что это был упомянутый нами единственный жилец семишпильного дома. — Я очень рад, что вы не покинули своего доброго намерения. Я зашел только для того, чтоб от души пожелать вам успеха и узнать, не могу ли я помочь вам в ваших дальнейших приготовлениях.

Люди, находящиеся в затруднительных и горестных обстоятельствах или в раздоре со светом,

способны выносить самое жестокое обращение и, может быть, черпать в нем новые силы, но они тотчас уступают самому простому выражению истинного участия. Так было и с бедной Гефсибой. Когда она увидела улыбку молодого человека, которая на его задумчивом лице засияла с особенной ясностью, и услышала ласковый его голос, она сперва засмеялась истерическим хохотом, а потом начала плакать.

— Ах, мистер Хоулгрейв! — сказала она, лишь только получила способность говорить. — Я никогда в этом не успею! Никогда, никогда, никогда! Я бы желала лучше не существовать и лежать в старом фамильном нашем склепе вместе с моими предками, с моим отцом и матерью, с моими сестрами, да, и с моим братом, которому было бы приятнее видеть меня там, чем здесь! Свет слишком холоден и жесток, а я слишком стара, слишком бессильна, слишком беспомощна!

— Поверьте мне, мисс Гефсиба, — спокойно сказал молодой человек, — что эти чувства перестанут смущать вас, лишь только вы сделаете первый успех в вашем предприятии. Теперь они неизбежны: вы появились на свет из вашего долгого затворничества и населяете мир мечтательными фигурами; но погодите — вы скоро

увидите, что они так же неестественны, как великаны и людоеды в детских повестях. Для меня поразительнее всего в жизни то, что все в нем теряет свое кажущееся свойство при первом действительном нашем прикосновении. Так будет и с вашими страшилищами.

— Но я женщина! — сказала жалобно мисс Гефсиба. — Я хотела сказать, леди, но это уже не воротится.

— Так и не будем толковать об этом! — отвечал дагеротипист. — Забудьте прошедшее. Для вас будет лучше. Я говорю с вами откровенно, милая моя мисс Пинчон, мы ведь друзья? И считаю этот день одним из счастливейших в вашей жизни. Сегодня кончилась одна эпоха и начинается другая. До сих пор живая кровь постепенно охлаждалась в ваших жилах от сиденья в одиночестве в очарованном кругу, между тем как мир сражался с той или иной необходимостью. Теперь же у вас проявилось здравое усилие к достижению полезной цели, теперь вы сознательно приготовляете свои силы, как бы они ни были слабы, к деятельности. Это уже успех, успех для всякого, кто только будет иметь с вами дело! Позвольте же мне иметь удовольствие быть первым вашим покупателем. Я хочу прогуляться по морскому

берегу, потом вернусь в свою комнату и примусь за злоупотребление благословенных лучей солнца, которые рисуют для меня человеческие лица. С меня довольно будет на завтрак нескольких вот таких сухарей, размоченных в воде. Сколько стоит полдюжины?

— Позвольте мне не отвечать на это! — сказала Гефсиба со старинной величавостью, которой меланхолическая улыбка придала некоторую грацию. Она вручила пришедшему сухари и отказалась от платы. — Женщина из дома Пинчонов, — сказала она, — ни в каком случае не должна под своей кровлею принимать денег за кусок хлеба от своего единственного друга!

Хоулгрейв вышел, оставив ее не в таком тягостном, как прежде, расположении чувств. Скоро, однако, они опять приняли прежнее состояние. С биением сердца Гефсиба прислушивалась к шагам ранних прохожих, которые стали появляться на улице все чаще. Раз или два шаги как будто останавливались, незнакомые люди или соседи, должно быть, рассматривали игрушки и мелкие товары, размещенные на окне лавочки Гефсибы. Она страдала: во-первых, от подавлявшего ее стыда, что посторонние и недоброжелательные глаза имеют право смотреть в ее окно, а во-вто-

рых, от мысли, что окно не было убрано ни так искусно, ни так заманчиво, как могло бы быть. Ей казалось, что все счастье или несчастье ее лавочки зависело от выставки разных вещей или от замены лучшим яблоком другого, которое было в пятнах; и вот она принималась переставлять свои товары, но тут же находила, что от этой перестановки дело становилось хуже прежнего, она не замечала, что это происходило только от ее нервозного расположения и от мнительности, которая все представляет в неблагоприятном виде.

Между тем у самой двери встретились двое мастеровых, как можно было заключить по грубым голосам их. Поговорив немного о своих делах, один из них заметил окно лавочки и сообщил об этом другому.

— Посмотри-ка! — вскричал он. — Что ты об этом скажешь? И на Пинчоновой улице завелась торговля!

— Да, да! Признаюсь, штука! — воскликнул другой. — В старом Пинчоновом доме и под Пинчоновым вязом! Кто бы этого ожидал? Старая девица Пинчон завела мелочную лавочку!

— А как ты думаешь, Дикси, пойдет у нее дело на лад? — спросил его приятель. — По-моему, это не слишком выгодное место. Тут за углом есть

другая лавочка.

— Пойдет ли? — вскричал Дикси с таким выражением, как будто трудно было допустить и мысль об этом. — Куда ей! Она такая странная! Я видал ее, когда работал у нее в саду прошлым летом. Всякий испугается, если только вздумает торговаться с нею. То есть, я тебе говорю, просто нет мочи! Она ужасно хмурится, есть ли, нет ли за что… так, из одной злости.

— Что ж за беда? — заметил другой человек. — И я тоже скажу — куда ей! Держать мелочную лавочку не так-то легко: тут надобно хлопотать с толком, не то что в ином прочем месте. Это я знаю по своему карману. Жена моя держала мелочную лавку три месяца, да вместо барыша получила пять долларов убытку!

— Плохо дело! — отвечал Дикси таким тоном, по которому было видно, что приятели потрясли друг другу руки. — Плохо дело!

Трудно объяснить почему, только мисс Гефсиба во всех предшествовавших мучениях по случаю своей торговли едва ли испытывала более горькое чувство, нежели то, какое возбуждено было в ней было этим разговором. Свидетельство о ее нахмуренном взгляде имело для нее ужасную важность: с ее образа вдруг спала обманчивая

оболочка, и он представился ей в таком виде, что у нее не хватало духу смотреть на него. Она была странно поражена неблагоприятным впечатлением, какое произвела открытая ею лавочка — предмет такого трепетного для нее интереса — на публику в лице этих двух ближайших ее представителей. Они только взглянули на нее в окно, молвили два слова мимоходом, засмеялись и, без сомнения, позабыли о ней, прежде чем повернули за угол. Предсказание неудачи, сделанное на основании опыта, пало на ее полумертвую надежду так тяжело, как падает земля на гроб, опущенный в могилу. Жена этого человека пробовала тот же промысел и понесла убытки. Как же может затворница в течение половины всей жизни, совершенно неопытная в житейских делах, — как может она мечтать об успехе, когда простолюдинка, расторопная, деятельная, бойкая уроженка Новой Англии, потеряла пять долларов на своих мелочных товарах! Успех представлялся бедняжке невозможностью, а надежда на него — нелепым самообольщением.

Какой-то злобный дух, употребляя все усилия, чтоб обморочить Гефсибу, развернул перед ее воображением род панорамы, представляющей большой торговый город, населенный купцами.

Какое множество великолепных лавок! Колониальные товары, игрушечные лавки, магазины материй, со своими огромными стеклами, с великолепными полками с правильной сортировкой товаров, посредством которых состояние растет ежеминутно, и эти благородные зеркала в глубине каждого магазина, удваивающие богатство их в прозрачной глубине своей! И в то время, когда с одной стороны улицы виден был ей этот роскошный рынок со множеством надушенных и лоснящихся купцов, улыбающихся, смеющихся, кланяющихся и меряющих материи, с другой представлялся мрачный Дом о Семи Шпилях, с устарелым окном лавочки под выступом верхнего этажа, и сама она, в платье из плотной шелковой материи, за конторкою, хмурящаяся на проходящих мимо людей! Этот разительный контраст неотступно носился у нее перед глазами как самое красноречивое выражение невзгоды, при которой она решилась бороться с нуждой за свое существование. Успех? Нелепость! Она никогда больше не станет ожидать его! Дом ее будет покрыт вечной мглой, в то время когда другие дома будут сиять в лучах солнца, и ни одна нога не переступит через ее порог, ни одна рука не решится отворить дверь!

Но в ту самую минуту, как она так думала, над головой Гефсибы зазвенел колокольчик, точно силой какого-то колдовства. Сердце старой леди как бы прикреплено было к той же самой стальной пружине, потому что и оно было резко потрясено несколько раз подряд, вторя звукам колокольчика. Дверь начала отворяться, хотя сквозь окно в ней не было заметно на наружной стороне никакой человеческой фигуры. Несмотря на то, Гефсиба всматривалась пристально, со сложенными руками.

«Господи, помоги мне! — воззвала она мысленно. — Испытание мое наступило!»

Дверь, повертывавшаяся с трудом на своих скрипучих заржавленных петлях, уступила наконец усилию входившего, и перед Гефсибой появился толстый мальчуган с красными, как яблоко, щеками. Он был одет в убогие лохмотья (что, как казалось, происходило скорее от беззаботности матери, чем от убожества отца). На нем были какой-то синий балахон, очень широкие и короткие штаны, башмаки со стоптанными каблуками и изношенная соломенная шляпа, сквозь дыры которой пробивались его курчавые волосы. Книжка и небольшая аспидная доска под мышкой показывали, что он был по дороге

в школу. Он смотрел несколько мгновений на Гефсибу, как сделал бы и более взрослый покупатель, не зная, что ему думать о трагической позе и сурово нахмуренных бровях, с которыми она в него всматривалась.

— Что, дитя мое, — сказала она, приободрившись при виде столь неопасной особы, — что тебе надобно?

— Вот этого Джим-Кро, что на окне, — отвечал мальчуган, держа в руке медную монету и указывая на пряничную фигуру, которая ему приглянулась, когда он плелся по улице в свою школу. — Того, что с целыми ногами.

Гефсиба вытянула свою худую руку и, достав фигуру с окна, отдала покупателю.

— Не нужно денег, — сказала она, толкнув его слегка к двери, потому что ей казалось такой жалкой мелочностью — взять у мальчика его карманные деньги за кусок черствого пряника. — Не нужно денег, я дарю тебе Джим-Кро.

Ребенок, выпучив на нее глаза при этой неожиданной щедрости, которой он никогда еще не испытывал в мелочных лавочках, взял пряничного человека и отправился своей дорогою. Но едва очутился на тротуаре, как уже голова Джим-Кро была у него во рту. Так как он не позаботился

притворить за собой дверь, Гефсиба должна была сделать это сама, причем не обошлось без нескольких сердитых замечаний о несносности молодого народа, в особенности мальчишек. Она тотчас поставила другого представителя славного рода Джим-Кро на окно, как снова зазвенел громко колокольчик, опять отворилась дверь с характерным своим скрипом и дребезжанием, и опять показался тот же самый дюжий мальчуган, который не больше двух минут назад оставил лапочку. Крошки и краска от пиршества, которое он себе только что задал, были видны как нельзя явственнее вокруг его рта.

— Что тебе еще надо? — спросила новая лавочница с сильным нетерпением. — Ты воротился затворить дверь, что ли?

— Нет, — отвечал мальчуган, указывая на фигуру, которая только что была выставлена в окне. — Дайте мне вон этого другого Джим-Кро.

— Хорошо, возьми, — сказала Гефсиба, доставая пряник, но, видя, что этот нахальный покупатель не оставит ее в покое, пока у нее в лавочке будут пряничные фигурки, она отвела в сторону свою протянутую руку и спросила: — Где же деньги?

Деньги у мальчика были наготове, только он, как природный янки, охотнее купил бы вещь по-

выгоднее. С некоторым сожалением он положил свою монету в руку Гефсибы и ушел из лавочки, отправив второго Джим-Кро той же дорогой, что и первого.

Новая торговка опустила первую свою выручку в денежный ящик. Дело совершилось. «Теперь, Гефсиба, ты уже не леди, ты просто Гефсиба Пинчон, одинокая старая дева, содержательница мелочной лавочки!»

И однако ж даже в то время, когда она обдумывала с некоторым тщеславием в своей голове такие мысли, в сердце ее поселилась какая-то тишина. Беспокойство и мрачные предчувствия, которые мучили ее во сне и во время дневных грез с самого того времени, как новый план жизни утвердился в ее уме, теперь исчезли совершенно. Правда, она все еще чувствовала новость своего положения, но уже без волнения и страха. Время от времени душа ее испытывала даже что-то похожее на радость. Это происходило от укрепляющего дыхания свежего наружного воздуха после однообразного затворничества. Так живительна деятельность, так дивна сила, которой мы часто сами в себе не чувствуем! Душевный жар, которого давно уже не знала Гефсиба, возродился в ней в момент кризиса, когда она впервые

протянула руки, чтобы спасти себя. Небольшая медная монета школьника, несмотря на то что была истерта службою, какую она служила там и сям по свету, обратилась в благодетельный талисман, заслуживавший того, чтобы его оправить в золото и носить на груди. Талисман этот был так же могуществен и, может быть, одарен таким же существенным влиянием, как и гальваническое кольцо! Во всяком случае, Гефсиба была обязана незаметному его действию переменой, какую она чувствовала в теле и в душе, тем более что он внушил ей энергию позавтракать, причем она для поддержания своей бодрости подлила лишнюю ложечку крепительной влаги в свой черный чай.

Первый день ее нового быта не прошел, впрочем, без нескольких промежутков в этой возрождающейся силе. Когда миновало первое возбуждение от деятельности, апатия прежней ее жизни угрожала овладеть Гефсибой снова. Так густые массы облаков часто омрачают небо, распространяя повсюду серый полусвет; наконец, перед наступлением ночи, он на время уступает яркому сиянию солнца, но завистливые тучи постоянно стремятся закрыть небесную лазурь своими мутными массами.

До наступления полудня время от времени появлялись новые покупатели, но очень редко и в некоторых случаях, надо сказать, без удовольствия и для себя, и для Гефсибы; в ящик тоже не слишком много опущено было денег. Маленькая девочка, посланная матерью купить бумажных ниток известного цвета, взяла моток, который близорукой старой леди показался совершенно тем, какой был нужен, но скоро прибежала назад с сердитым наказом от матери, что нитки не того цвета, и притом совсем гнилые. Потом приходила бледная, измученная трудами женщина, еще не старая, но с суровым выражением лица и уже с проседью в волосах, наподобие серебристых лент, — одна из тех нежных от природы женщин, в которых вы тотчас узнаете страдалицу из-за нищеты и семейных огорчений. Ей нужно было несколько фунтов муки. Гефсиба молча отказалась от ее платы и дала ей лучшую меру муки, нежели если б взяла деньги. Скоро после того явился мужчина в синем бумажном пальто, очень засаленном, и купил трубку, наполнив всю лавочку сильным запахом спиртуозных напитков, который не только вылетал на воздух в горячем его дыхании, но и струился изо всего его тела, подобно горючему газу. Гефсиба подумала:

не муж ли это изнуренной трудами женщины? Он спросил папушу табаку, но так как она не позаботилась обзавестись этим товаром, ее грубый покупатель бросил на пол купленную им трубку и вышел из лавочки, бормоча какие-то слова, выражавшие, конечно, брань. Гефсиба подняла к небу глаза.

Не меньше пяти человек до обеда спрашивали имбирного пива, или кореновки, или другого крепительного напитка и, не находя ничего подобного, удалялись с величайшим неудовольствием. Трое из них бросили дверь открытой настежь, а двое, выходя, хлопнули ею так, что колокольчик разыграл настоящий дуэт с нервами Гефсибы. Однажды в лавочку ворвалась круглая, хлопотливая и раскрасневшаяся от кухонного огня служанка из соседнего дома, нетерпеливо спрашивая дрожжей, и когда бедная леди с холодной робостью объявила ей, что она дрожжей не держит, бойкая кухарка не задумалась прочитать ей наставление.

— Мелочная лавочка без дрожжей, — лепетала она, — да это настоящая невидальщина! Слыханное ли дело? Ну, не подняться же вашему тесту, как и моему сегодня. Лучше сейчас закройте лавочку.

— Да, да, — отвечала с глубоким вздохом Гефсиба, — это едва ли не было бы лучше.

Кроме этих неприятных случаев, щекотливость бедной Гефсибы была поражена фамильярным, если даже не грубым тоном, с каким к ней обращались покупатели. Они считали себя не только равными ей, но даже ее покровителями и старшими. Гефсиба бессознательно льстила себя надеждой, что особа ее будет отличена каким-нибудь особенным названием, которое бы выражало почтение к ней, или, по крайней мере, что это почтение будет высказываться молчаливо. Но, с другой стороны, ничто не мучило ее так жестоко, как чересчур резкое выражение этого почтения. Нескольким покупателям, слишком щедрым на участие, она отвечала очень отрывисто и сурово, а против одного, который, как ей показалось, зашел в лавочку не для покупок, а из злого желания поглядеть на нее, она вооружилась даже презрением. Бедняге вздумалось посмотреть, что, дескать, там за барыня, что вздумала, растратив молодость вдали от людей, засесть уже в конце жизни за конторкой. На этот раз механически и бессознательно нахмуренные брови Гефсибы очень ей пригодились.

— Никогда еще в жизни я не был так испуган! —

говорил любопытный покупатель, описывая это приключение своему знакомцу. — Это настоящая старая ведьма, право слово, ведьма! Говорит-то она мало, но посмотрел бы ты, сколько злости у нее в глазах!

Вообще новый опыт жизни повел нашу Гефсибу к весьма неприятным заключениям касательно характера и нрава низших слоев общества, на которые она до сих пор смотрела благосклонными и сострадательными глазами, так как сама помещена была в сфере неоспоримо высшей. Но, к несчастью, она должна была бороться в то же время с сильным душевным волнением противоположного рода: мы разумеем чувство неприязни к высшему сословию, принадлежность к которому еще так недавно вызывало ее гордость. Когда какая-нибудь леди, в нежном и дорогом летнем костюме, с развевающейся вуалью и в изящно драпированном платье, одаренная притом такой эфирной легкостью, что вы невольно обратили бы глаза на ее изящно обутые ножки, как бы желая удостовериться, касается ли она праха или порхает по воздуху, — когда такое видение появлялось на ее уединенной улице, оставляя на ней после себя нежный, привлекательный аромат, как будто пронесли здесь букет китайских

роз, нахмуренные брови старой Гефсибы едва ли можно было объяснять близорукостью.

И потом, устыдившись саму себя и раскаявшись, она закрывала руками свое лицо.

— Да простит меня Господь! — говорила она.

Приняв во внимание внутреннюю и внешнюю историю первой половины дня, Гефсиба начала опасаться, что лавочка повредит ей в нравственном отношении и едва ли принесет существенную пользу в отношении финансовом.

Глава IV
День за конторкой

Около полудня Гефсиба увидела проходящего мимо по противоположной стороне побелевшей от пыли улицы пожилого джентльмена, дородного и крепкого, с замечательно важными манерами. Он остановился в тени Пинчонова вяза и, сняв шляпу, чтобы вытереть выступивший у него на лбу пот, рассматривал, по-видимому, с особенным любопытством обветшалый и старообразный Дом о Семи Шпилях. Сам он в своем роде смотрелся такой же почтенной стариной, как и этот дом. Нельзя было желать, да и найти было бы невозможно более совершенного

образца респектабельности, которая каким-то неизобразимым волшебством выражалась не только в его глазах и жестах, но и в покрое платья, согласуя как нельзя больше костюм с его владельцем. Не отличаясь, видимо, никакой осязаемой особенностью от костюмов прочих людей, он носил на себе печать какой-то особой важности, которая происходила, вероятно, от характера самого носителя, так как невозможно было вывести ее ни из материала, ни из покроя. Палка его с золотым набалдашником — подержанный уже посох из черного полированного дерева — отличалась тем же характером, и если б только вздумала прогуляться по городу одна, то везде бы была признана достаточно удовлетворяющей представительницей своего господина. Этот характер, выражавшийся во всем его окружающем так ясно, как нет возможности передать это словами, говорил, однако, не более как только о его положении в свете, привычках жизни и внешних обстоятельствах. В нем тотчас видна была особа знатная и сильная, а что он сверх того еще и богат, это было так же ясно для всякого, как если б он показал банковские билеты или если б он перед вами коснулся ветвей Пинчонова вяза и превратил их в золото.

В молодости своей он, вероятно, был замечательно красивым человеком. Теперь брови его были так густы, виски так жидки, остатки его волос так серы, глаза так холодны и губы так тесно сжаты, что ни одной из этих принадлежностей нельзя было отнести к красоте наружности. Теперь бы из него вышел славный массивный портрет — лучший, может быть, нежели в который-нибудь из прежних периодов его жизни, хотя взгляд его, переносимый постепенно на полотно, сделался бы в живописи решительно суровым. Художник охотно стал бы изучать его лицо и испытывать способность его к разным выражениям, то омрачающим его угрюмостью, то озаряющим улыбкой.

Когда пожилой джентльмен стоял, глядя на Пинчонов дом, угрюмость и улыбка мелькали поочередно на его лице. Глаза его остановились на окне лавочки. Надев на нос оправленные в золото очки, которые держал в руке, он подробно рассматривал маленькую выставку игрушек и других товаров Гефсибы. Сперва она ему как будто не понравилась, даже причинила ему большое неудовольствие, но потом он засмеялся. Когда улыбка не оставила еще лица его, он заметил Гефсибу, которая невольно наклонилась к окну,

и смех его из едкого и неприятного превратился в снисходительность и благосклонность. Он поклонился ей с достоинством и учтивой любезностью, очень счастливо сочетавшимися, и продолжил свою дорогу.

— Это он! — сказала сама себе Гефсиба. Подавляя самое глубокое волнение, она была не в состоянии освободиться от этого чувства и старалась скрыть его в сердце. — Желала бы я знать, что думает он об этом. Нравится ли это ему? А! Он оборачивается!

Джентльмен остановился на улице и, повернув вполовину назад голову, опять глядел на окно лавочки. Он даже повернулся совсем и сделал шаг или два назад, как бы с намерением зайти в лавочку, но случилось, что его предупредил первый покупатель мисс Гефсибы, истребивший негра Джим-Кро. Остановившись против окна, мальчуган, казалось, испытывал непобедимую тягу к пряничному слону. Что за аппетит у него! Съел пару негров тотчас после завтрака, и теперь подавай ему слона вместо закуски перед обедом! Но прежде чем эта новая покупка была сделана, пожилой джентльмен отправился своим путем и повернул за угол улицы.

— Принимайте это, как вам угодно, кузен Джеф-

фри! — бормотала про себя девушка-леди, когда он удалился, высунув, однако, сперва голову в форточку и осмотрев улицу в оба конца. — Принимайте, как вам угодно! Вы видели окно моей лавочки — что же? Что против этого можете вы сказать? Разве Пинчонов дом не моя собственность, пока я жива?

После этого Гефсиба удалилась в заднюю комнату, где она сегодня впервые принялась за недоплетенный чулок и начала работать с нервическими и неправильными ныряньями в него проволокою. Скоро, однако, работа ей наскучила, она бросила ее в сторону и начала ходить по комнате; наконец остановилась перед портретом мрачного старого пуританина, своего предка и основателя дома. В одном отношении это изображение почти вошло в холст и скрылось под вековой пылью, в другом — Гефсибе казалось, что оно не было яснее и выразительнее даже и во времена ее детства, когда она, бывало, рассматривала его. В самом деле, между тем как физические очертания и краски полуисчезли в нем для глаз зрителя, смелый, суровый и в некоторых случаях фальшивый характер оригинала, казалось, получил в этом портрете какую-то рельефность. Подобное явление случается нередко замечать

в портретах отдаленного времени. Они приобретают выражение, которого художник (если только он был похож на угодливых художников нашей эпохи) никогда не думал придавать своему патрону как настоящую его характеристику, но которое с первого взгляда разоблачает перед нами истину души человеческой. Это значит, что глубокий взгляд художника во внутренние черты его субъекта выразился в самой сущности живописи и проявился тогда только, когда наружный колорит был изглажен временем.

Глядя на портрет, Гефсиба дрожала от действия глаз человека, запечатленного на портрете. Почтительность ее к этому изображению не позволяла ей производить в душе такого строгого суда о характере оригинала, какой внушало ей уразумение истины. Она продолжала, однако, смотреть на портрет, потому что это лицо давало ей возможность — по крайней мере, ей так казалось — вчитываться глубже в лицо, которое она только что видела на улице.

— Точь-в-точь как он! — бормотала она про себя. — Пускай себе Джеффри Пинчон смеется, сколько хочет, но под его смехом что-то скрывается. Надень только на него шишак, да фрезу, да черный плат и дай в одну руку шпагу, а в другую

Библию, и — тогда пускай себе смеется Джеффри — никто не усомнится, что старый Пинчон явился снова! Он доказал это тем, что построил новый дом.

Так бредила Гефсиба под влиянием преданий старого времени. Она так долго жила одна, так долго жила в Пинчоновом доме, что и мозг ее проникнулся преданиями его. Ей надобно было пройтись по освещенной сиянием дня улице, чтоб освежиться.

Волшебным действием контраста в воображении Гефсибы явился другой портрет, написанный с самой смелой лестью, какую только позволял себе художник, но такими нежными красками, что сходство оттого нисколько не пострадало. Мальбонова миниатюра была писана с того же самого оригинала, но далеко уступала ее воздушному портрету, оживленному любовью и грустным воспоминанием. Тихий, нежный и радостно-задумчивый образ, с полными, алыми губами, готовыми к улыбке, о которой предупреждают нас глаза с приподнятыми слегка веками, — женские черты, слитые неразлучно с чертами другого пола! В миниатюре тоже есть эта особенность; так что нельзя не подумать, что оригинал был похож на свою мать, а она была

любящая и любимая женщина, отличавшаяся, может быть, милой нетвердостью характера, который оттого делался еще привлекательнее и заставлял еще больше любить ее.

«Да, — думала Гефсиба с грустью, только самая малая часть которой выступила из ее сердца и показалась на глазах, — они преследовали в нем его мать! Он никогда не был Пинчоном!»

Но тут из лавочки зазвенел колокольчик; он показался ей бог знает в каком отдалении, так далеко зашла Гефсиба в погребальный склеп воспоминаний. Войдя в лавочку, она нашла там старика, смиренного жителя Пинчоновой улицы, с давнего времени удостаивавшего ее своими посещениями. Он был человек очень старый, его знали всегда седым и морщинистым, и всегда у него был только один зуб во рту, и то полуизломанный, спереди верхней челюсти. Как ни стара была Гефсиба, но она не помнила такого времени, когда бы дядя Веннер, как называли его соседи, не бродил взад и вперед по улице, немножко прихрамывая и тяжело волоча свою ногу по булыжникам мостовой. Но в нем всегда было столько сил, что он был в состоянии не только держаться целый день на ногах, но и занимать место, которое без того сделалось бы вакантным

при всей видимой населенности мира. Отнести письмо, ковыляя на дряхлых ногах, которые заставляли сомневаться, достигнет ли он когда-нибудь своей цели; распилить бревно или два полена дров для какой-нибудь кухарки, или разбить в клепки негодный к употреблению бочонок, или исщипать в лучину, для подпалу, сосновую доску, летом обработать несколько ярдов садовой земли, принадлежащей какому-нибудь мелкому наемщику, зимой очистить тротуар от снега или проложить тропинку к сараю или прачечной — таковы были существенные услуги, которые дядя Веннер оказывал по крайней мере двадцати семействам. В этом кругу он имел притязание на предпочтение и теплую любовь. Он не мечтал о каких-нибудь выгодах, но каждое утро обходил свой околоток, собирая остатки хлеба и другой пищи для своего желудка.

В свои лучшие годы, потому что все-таки существовало темное предание, что он был не молод, но моложе, дядя Веннер считался у всех вообще человеком не слишком сметливым. Действительно, о нем можно было это сказать, потому что он редко стремился к успехам, которых добиваются другие люди, и принимал на себя в житейских делах всегда только ничтожную и смиренную

роль, которая предоставляется обыкновенно признанному всеми тупоумию. Но теперь, в престарелых летах своих, — потому ли, что его долгая и тяжкая опытность умудрила его, или потому, что его слабый рассудок не допускал его прежде достойно оценить себя, — только этот человек представил право на порядочную дозу ума, и, действительно, это право было за ним признано. В нем время от времени обнаруживалась, так сказать, жилка чего-то поэтического: то был мох и пустынные цветы на его маленьких развалинах; они придавали прелесть тому, что бы могло назваться грубым и пошлым в раннюю пору его жизни. Гефсиба оказывала ему внимание, потому что его имя было известно в городе и некогда пользовалось уважением, но всего больше упрочивало за ним право на ее уважение то обстоятельство, что дядя Веннер был самое старое существо в Пинчоновой улице между одушевленными и неодушевленными предметами, исключая Дом о Семи Шпилях и, может быть, вяз, который осенял его.

Этот-то патриарх предстал теперь перед Гефсибой в старом синем фраке, который напоминал современную моду и, вероятно, достался ему от раздела гардероба какого-нибудь умершего

пастора. Что касается штанов его, то они были из толстого пенькового холста, очень коротки спереди и висели странными складками сзади, но шли к его фигуре, чего решительно нельзя сказать об остальном его платье. Например, его шапка очень мало была согласована с его костюмом и еще меньше с головой, на которой ее носили. Дядя Веннер был таким образом составной старый джентльмен, отчасти сам по себе, но гораздо больше по внешним принадлежностям. Это было собрание лоскутков разных эпох, это был образ разных времен и обычаев.

— Так вы все же не шутя принялись за торговлю? — спросил он. — Не шутя принялись? Дело, я очень рад. Молодые люди не должны жить праздно на свете, так же как и старые, разве только когда ревматизм свалит. Он постоянно мне о себе докладывает, и я думаю года через два оставить дела и удалиться на свою ферму. Она вон там, вы знаете, большой кирпичный дом — рабочий дом, как большею частью его называют. Но я сперва хочу потрудиться, а потом уже отдохну там на покое. Очень, очень рад, что вы тоже взялись за дело, мисс Гефсиба!

— Благодарствую, дядя Веннер, — сказала, улыбаясь, Гефсиба, потому что она всегда чувствовала

расположенность к простоватому и болтливому старику. Если б он был не старик, а старуха, она не позволила бы ему с собой свободного обращения, которое теперь допускала. — В самом деле, пора и мне взяться за дело! А лучше сказать, я начинаю тогда, когда бы должна была закончить.

— Не говорите этого, мисс Гефсиба, — отвечал старик. — Вы еще молоды. Я и сам себе кажусь моложе, чем есть на деле. Мне сдается, это было еще так недавно, что я видал, как вы, бывало, малюткой играете у дверей старого дома! Чаще, однако, вы, бывало, сидели на пороге и смотрели серьезно на улицу; вы всегда были серьезным ребенком, у вас был важный вид, когда вы доросли еще только до моего колена. Мне кажется, как будто я вас вижу ребенком перед собою, да и вашего дедушку, в его красном плаще, и в белом парике, и в заломленной шляпе; вижу вот, как он, с тростью в руке, выходит из дому и важным шагом идет по улице! Старые джентльмены имели важный вид. В лучшие мои годы сильного в городе человека обыкновенно называли джентльменом, а жену его — леди. Я повстречал вашего кузена, судью, минут десять назад, и нужды нет, что на мне, вот как видите, пенька да старье, судья снял шляпу, как мне показалось. По крайней мере, судья по-

клонился и улыбнулся.

— Да, — сказала Гефсиба с какою-то невольной горечью в тоне, — мой кузен Джеффри думает, что у него очень приятная улыбка.

— А что ж? Оно в самом деле так! — отвечал дядя Веннер. — И это очень чудно в Пинчонах, потому что, с вашего позволения, мисс Гефсиба, они никогда не слыли ласковыми и приятными людьми. С ними не было способа заговорить. Но почему бы, мисс Гефсиба — если позволите старику такую смелость, — почему бы судье Пинчону, при его больших средствах, не зайти к вам и не попросить вас закрыть тотчас вашу лавочку? Конечно, для вас тут есть выгода, но для судьи никакой нет в нашей торговле!

— Не станем об этом рассуждать, с твоего позволения, дядя Веннер, — сказала холодно Гефсиба. — Впрочем, я должна сказать, что если я решилась зарабатывать себе хлеб, то виной этому не судья Пинчон. Он также не заслуживал бы порицания и в то время, — прибавила она несколько ласковее, вспомнив привилегии старости и обычной фамильярности дяди Веннера, — когда бы я мало-помалу убедилась, что мне надобно удалиться вместе с тобой на твою ферму.

— Ферма моя — недурное местечко, вовсе нет! — воскликнул старик добродушно, как будто в этом плане было что-нибудь положительно радостное. — Недурное местечко — большой кирпичный дом, особенно для тех, кто там найдет довольно старых приятелей, как вот я. Меня давно уже к ним тянет, особенно в зимние вечера, потому что скучно одинокому старику, как я, просиживать, дремля по целым часам, без другого товарища, кроме горящей на очаге головни! Много можно сказать в пользу моей фермы как летом, так и зимой. А возьмите вы осень — что может быть приятнее, чем проводить целый день на солнечной стороне овина или на куче бревен с таким же стариком, как я сам, или, пожалуй, с каким-нибудь простаком, который умеет только лениться и балагурить? Право, мисс Гефсиба, я не знаю, где бы мне было так покойно, как на моей ферме, которую по большей части называют рабочим домом. Но вы… вы еще молоды, вам нечего думать о ней. На вашу долю может выпасть что-нибудь получше. Я в этом уверен!

Гефсибе показалось, что в глазах и в тоне ее почтенного друга есть что-то особенное. Она посмотрела пристально ему в лицо, стараясь угадать, какая тайная мысль — если только была

она! — просвечивает в его чертах. Люди, дела которых дошли до отчаяннейшего кризиса, часто поддерживают себя надеждами, и тем более воздушно-великолепными, чем меньше у них в руках остается твердого материала, из которого бы можно было вылепить какое-нибудь благоразумное и умеренное ожидание благоприятной перемены. Так и Гефсиба, строя план своей мелочной торговли, постоянно питала в душе надежду, что фортуна выкинет в ее пользу какую-нибудь необыкновенную штуку. Например, дядя, отплывший в Индию пятьдесят лет назад и пропавший без вести, может вдруг воротиться, сделать ее утешением своей глубокой и очень дряхлой старости, украсить ее перлами, алмазами, восточными шалями и тюрбанами и завещать ей свое несметное богатство. Или член парламента, стоящий теперь во главе английской ветви ее дома, с которой старшее поколение по эту сторону Атлантического океана не имело никаких сношений в течение последних двух столетий, может написать Гефсибе, чтоб она оставила ветхий Дом о Семи Шпилях и переезжала на жительство к родным, в Пинчон-Хилл. Впрочем, по весьма важным причинам она не могла бы принять этого приглашения. Поэтому гораздо

вероятнее, что потомки Пинчона, которые переселились в Виргинию в одном из минувших колен и сделались там богатыми плантаторами, узнав о жалкой участи Гефсибы и будучи подвинуты благородством характера, который проявился в родственном им новоанглийском доме Пинчонов, пришлют ей вексель в тысячу долларов, с обещанием высылать по стольку же ежегодно. Или — ничто не может быть согласнее с законами вероятности — великая тяжба о наследстве графства Пальдо может наконец быть решена в пользу Пинчонов, так что, вместо того чтобы торговать в мелочной лавочке, Гефсиба построит дворец и будет смотреть с высочайшей его башни на холмы, долины, леса, поля и города, составляющие ее территорию.

Таковы были некоторые из фантазий, которыми она давно уже утешалась. Под их влиянием случайная попытка дяди Веннера ободрить ее зажгла странно торжественную иллюминацию в убогих, пустых и печальных комнатах ее черепа, как будто этот внутренний ее мир был вдруг освещен газом. Но или старик ничего не знал о ее воздушных замках — и откуда было ему знать? — или ее пристальный, нахмуренный взгляд прервал приятные его воспоминания, как

это могло бы случиться и с более храбрым человеком, только дядя Веннер, вместо того чтобы приводить еще сильнейшие доводы благоприятного положения Гефсибы, счел за благо снабдить ее несколькими мудрыми советами касательно ее нового ремесла.

— Не давайте никому в долг! — Это было одно из его золотых правил. — Никогда не принимайте векселя! Хорошенько пересчитывайте юнцу сдачу! Серебро должно иметь чистый свой звон! Отдавайте назад английские полупенсы и медную монету, с которой множество местных ходит по городу! На досуге плетите детские чулочки и рукавички! Заправляйте сами для своей лавочки дрожжи и пеките сами пряники…

Между тем как Гефсиба усиливалась переварить жесткие пилюли его глубокой мудрости, он в заключение своей речи привел два следующих, по его мнению, весьма важных совета:

— Встречайте своих покупателей с веселым видом и улыбайтесь любезно, подавая им, что они спросят! Залежавшийся товар, если только вы подадите его с добродушным, теплым, солнечным смехом, покажется им лучше, чем самый свежий, сунутый в руки с суровым взглядом.

На это последнее изречение бедная Гефсиба

отвечала таким глубоким и тяжелым вздохом, что дядя Веннер чуть не полетел в сторону, как сухой листок от дыхания осеннего ветра.

Оправившись, однако, от своего смущения, он наклонился несколько вперед и прошептал ей с особенным чувством, которое отразилось на его старом лице, вопрос:

— Когда вы ожидаете его домой?

— Кого? — спросила, побледнев, Гефсиба.

— Ах! Вы не любите говорить об этом, — сказал дядя Веннер. — Ладно, ладно, не станем больше болтать, хотя о нем толкуют по всему городу. Я помню его, мисс Гефсиба, до его отъезда!

В остальную часть дня бедная Гефсиба исполняла свою роль торговки еще с меньшею уверенностью, нежели при первых своих опытах. Она как будто действовала во сне, или, вернее, жизнь и действительность, выражаемые ее движениями, сделали для нее все внешние обстоятельства неосязаемыми, как томительные мечты полусознаваемого сна. Она продолжала вскакивать на частый зов колокольчика, продолжала по требованиям своих покупателей обводить блуждающим взглядом лавочку, подавать им то ту, то другую вещь и откладывать в сторону — наперекор им, как многие думали, — именно то,

чего они спрашивали. В самом деле, когда дух человека устремлен в прошедшее или в будущее или каким-нибудь другим образом становится на узкой границе между настоящею своею областью и действительным миром, в котором тело предоставлено собственному о себе попечению, управляясь силою, немного выше животной жизни, — в таком состоянии человек неизбежно бывает подвержен печальному замешательству. Он в это время словно поражен смертью, хотя не пользуется выгодой смерти — свободой от земных о себе попечений. Всего хуже бывает, если к этому еще земные обязанности его заключены в таком кругу мелочей, в каком теперь очутилась мечтательная душа старой леди. Как будто действием злой судьбины, в послеобеденные часы, как нарочно, покупатель за покупателем приходил в лавочку. Гефсиба металась туда и сюда на тесном своем поприще, делая множество неслыханных промахов: иной раз она отсчитывала на фунт двенадцать, а в другой — только семь сальных свечек вместо десяти; продавала имбирь вместо шотландского нюхательного табаку, булавки вместо иголок, а иголки вместо булавок; ошибалась в сдаче иногда в ущерб покупателю, но чаще — себе в убыток, и так подвизалась она, напрягая

все силы, чтоб выйти из хаоса недоумений и беспорядка, пока наконец наступил вечер и она, к своему изумлению, нашла ящик для денег почти пустым. Вся жалкая торговля ее принесла ей в день, может быть, полдюжины медных монет и подозрительный шиллинг, который вдобавок оказался также медным.

Этой ценой — или какой бы то ни было другой — она купила наконец удовольствие видеть конец дня. Никогда прежде не чувствовала она, чтобы время между рассветом и закатом солнца тянулось так нестерпимо долго, никогда не испытывала она досадной необходимости трудиться, никогда еще не чувствовала она так ясно, что ничего не могло бы быть для нее лучше, как упасть в мрачной покорности своей судьбе и, лишившись чувств, предоставить жизни с ее трудами и горестями катить свои волны через простертое тело изнемогшей жертвы.

Последняя сделка Гефсибы была с маленьким истребителем негра Джим-Кро и слона. На этот раз он предположил упрятать в себе верблюда. В замешательстве она предложила ему на съедение сперва деревянного драгуна, а потом горсть мраморных шариков, но так как ни один из этих предметов не пришелся мальчишке по вкусу,

то она торопливо схватила последние остатки естественной истории в виде пряников и выпроводила с ними маленького покупателя из лавки. Потом она обернула звонок недовязанным чулком и задвинула поперек двери дубовый засов.

Во время последней процедуры под ветвями вяза остановился омнибус. Сердце Гефсибы сильно затрепетало. Отдаленной, покрытой сумраком и не освещенной ни одним солнечным лучом казалась эпоха, когда она ждала, но не дождалась к себе единственного гостя, на приезд которого можно было рассчитывать. Неужели она увидит его теперь?

Во всяком случае, кто-то вылезал из глубины омнибуса к его выходу. На землю спустился джентльмен, но только для того, чтоб предложить свою руку молодой девушке, тонкая фигура которой нисколько не нуждалась в такой помощи, она легко спустилась по ступенькам и сделала с последней ступеньки на тротуар маленький воздушный прыжок. Она наградила своего кавалера улыбкой, радостное отражение которой видно было на его лице, когда он возвращался в омнибус. Девушка обернулась к Дому о Семи Шпилях, у входа которого между тем — не у двери лавочки, но у старинного портала — кондуктор

сложил легкий сундук и картонку. Постучав сперва крепко старым железным молотком, он оставил свою пассажирку и ее кладь у ступенек входа и отправился своим путем.

«Кто бы это был такой? — думала Гефсиба, сосредоточив свои зрительные органы в самый острый фокус, к какому только они были способны. — Девушка, видно, ошиблась домом!»

Она тихо прокралась в сени и, будучи сама невидима, смотрела сквозь мутное боковое оконце возле портала на молодое, цветущее и чрезвычайно веселое личико, которое ожидало приема в хмуром старом доме. Это было такое личико, перед которым каждая дверь отворилась бы добровольно.

Молодая девушка, такая свежая, такая вольная и при этом, как вы тотчас увидите, такая уживчивая и покорная общим правилам, представляла в это время разительный контраст со всем, что ее окружало. Грубая и неуклюжая роскошь великанского камыша, который рос в углах дома, тяжелый, осенивший ее выступ верхнего этажа и обветшалый навес над дверью — ни один из этих предметов не относился к ее сфере. Но подобно тому, как солнечный луч на какое бы заглохшее место ни упал, тотчас обращает его в свою соб-

ственность, все здесь в одну минуту получило иное выражение, как будто для того было и устроено, чтоб эта девушка стояла на пороге этого дома. Невозможно было допустить и мысли, чтоб его дверь не открылась перед нею. Даже девственная леди, несмотря на первое негостеприимное движение своей души, скоро начала чувствовать, что надобно отворить дверь, и повернула ключ в заржавевшем замке.

«Уж не Фиби ли это? — спрашивала она сама себя. — Верно, это маленькая Фиби, больше быть некому; она же притом как будто напоминает своего отца! Но что ей здесь надобно? И как моя деревенская кузина могла приехать ко мне этак, не известив меня даже за день до приезда и не узнав, будут ли ей здесь рады? Но, верно, она только переночует и воротится завтра к своей матери».

Фиби, как уже стало понятно, представляла собой новое поколение Пинчонов, поселившееся в деревенском захолустье Новой Англии, где старые обычаи и чувства родства до сих пор свято соблюдаются. В ее кругу вовсе не считалось неприличным между родными посетить друг друга без приглашения или предварительного учтивого уведомления. Впрочем, в уважение к

затворнической жизни мисс Гефсибы, ей действительно было написано и отправлено письмо о предполагаемом посещении Фиби. Это письмо дня три или четыре назад перешло из конторы в сумку городского почтальона, но тот, не имея другой надобности заходить в Пинчонову улицу, не счел нужным явиться в Дом о Семи Шпилях.

«Нет, она только переночует, — сказала себе Гефсиба, отворяя дверь. — Если Клиффорд обнаружит ее здесь, ему будет неприятно!»

Глава V
Май и ноябрь

Фиби Пинчон в ночь своего прибытия помещена была в комнате, выходившей окнами в сад, расположенный позади дома. Комната обращена была к востоку, так что в самый ранний час утра красный свет лился в нее сквозь окно и окрашивал багрянцем темный потолок и бумажные обои. Постель Фиби снабжена была занавесками, или, лучше сказать, мрачным старинным балдахином с тяжелыми фестонами, который в свое время был роскошен и великолепен, но теперь висел над девушкой как туча, производя в одном этом углу ночь, тогда как повсюду начался уже

день, впрочем, утренняя заря прокралась уже в отверстие между полинялых занавесей у основания кровати и, найдя под ними новую гостью с такими же румяными щечками, как и самое утро, и с легким трепетом в пробуждающихся членах, напоминающим движение листьев под дыханием утра, поцеловала ее чело. То была ласка, какую старшая сестра оказывает младшей, отчасти побуждаемая горячею любовью, а отчасти в знак нежного напоминания, что пора открыть глаза.

Почувствовав прикосновение розовых уст зари, Фиби тотчас проснулась и сперва не узнала, где она и каким образом эти тяжелые занавеси окружили ее своими фестонами. Для нее было совершенно ясно только то, что теперь было раннее утро и что, во всяком случае, надобно было прежде всего встать и помолиться. Она почувствовала особенное расположение к молитве уже от одного угрюмого вида комнаты и ее мебели, особенно высоких жестких стульев. Один из них стоял подле самой ее постели и имел такой вид, как будто на нем всю ночь сидел какой-то старинного века человек и только что исчез из виду.

Когда Фиби совсем оделась, она выглянула в окно и увидела в саду розовый кустарник. Он был очень высок, разросся очень роскошно, со

стороны дома подперт был жердями и решительно весь усыпан прекраснейшими белыми розами. Значительная часть их, как она после увидела, была повреждена червем или увядала от времени, но издали весь кустарник казался перенесенным прямо из Эдема в это же лето, вместе с почвою, на которой он вырос, хотя в самом деле он был посажен Алисой Пинчон, прапрабабушкой Фиби, на почве, которая только благодаря почти двухсотлетней давности сада сделалась тучной от растительного перегноя. Вырастая, однако, из старой земли, цветы посылали к небу свежий и сладкий аромат, с которым теперь смешивалось молодое дыхание Фиби, когда розовый запах пролетал мимо окна. Она побежала вниз по скрипучей, непокрытой ковром лестнице, вышла в сад, нарвала букет самых роскошных цветов и принесла в комнату.

Маленькая Фиби была одним из тех существ, которые в исключительной степени одарены способностью к практической распорядительности. Способность эта есть что-то вроде натуральной магии, посредством которой эти благословенные природой натуры вызывают вокруг себя наружу скрытые свойства предметов и в особенности придают вид комфорта и обитаемости всякому

месту, в котором случится им прожить самое короткое время. Простой шалаш из хвороста, поставленный путешественниками в первобытном лесу, принял бы вид дома от одного ночлега такой женщины и долго удерживал бы этот вид после того, как кроткий образ чародейки исчезнет в окружающей лесной тени. Не менее волшебное превращение испытала теперь пустая, унылая и мрачная комната, в которой так давно уже никто не жил, кроме пауков, мышей и привидений, и которая повсеместно носила следы опустошения — этой враждебной силы, стирающей каждый след счастливейших часов человека. В чем именно состояли заботы Фиби, определить невозможно. Она, по-видимому, не строила предварительно никакого плана своих действий, но коснулась одного, другого угла комнаты, переставила некоторую мебель на свет, а другую отодвинула в тень, подняла или опустила оконную штору и в течение получаса успела сообщить всей комнате, так сказать, приятную и гостеприимную улыбку. Не далее как одну ночь назад эта комната больше всего походила на сердце старой Гефсибы, потому что ни в той, ни в другом не было ни солнечного сияния, ни отогревающего домашнего огня, и, кроме приви-

дений и мрачных воспоминаний, много уже лет ни один гость не бывал ни в сердце старой девы, ни в этой комнате.

В неуловимом очаровании Фиби была еще другая особенность. Спальня эта, без сомнения, была свидетельницею различных сцен человеческой жизни: здесь пролетали радости брачных ночей, здесь новорожденные делали свой первый вдох, здесь умирали старики. Но потому ли, что в этой комнате благоухали белые розы, или по какой-нибудь тайной причине, но только человек с нежным инстинктом тотчас бы узнал, что это спальня девушки, очищенная от всех прошедших горестей чистым ее дыханием и счастливым настроением мыслей. Веселые сновидения прошедшей ночи разогнали прежний мрак и сделали эту комнату своим жилищем.

Распределив все вещи так, как ей нравилось, Фиби вышла из комнаты с намерением опять спуститься в сад. Кроме розового кустарника, она заметила там некоторые другие породы цветов, дико растущие без присмотра и заглушающие друг друга своею беспорядочной густотой. На верху лестницы она повстречала Гефсибу, которая, так как было еще очень рано, пригласила ее в комнату. Она бы назвала эту комнату своим

будуаром, если бы по ее воспитанию для нее было доступно это французское название. Комната была убрана несколькими старыми книгами, рабочим ящиком и потемневшим письменным столом. В одном углу стояла странной наружности черная вещь, которую старая леди назвала клавикордами. Эти клавикорды похожи были более на гроб, нежели на что-либо другое, и так как на них давно уже никто не играл и даже не открывал их, то едва ли музыка не умерла в них навеки от недостатка воздуха. К их струнам, может быть, не прикасались человеческие пальцы со времен Алисы Пинчон, которая усовершенствовала свои музыкальные способности в Европе.

Гефсиба попросила свою молодую гостью садиться и, опустившись возле нее на стул, посмотрела так пристально на маленькую, изящную фигуру Фиби, как будто хотела выведать все ее чувства и тайные движения души.

— Кузина Фиби, — сказала наконец она, — и, право, не знаю, как тебе со мной жить!

Эти слова, однако, вовсе не заключали в себе негостеприимной грубости, какой они могли поразить читателя, потому что две родственницы объяснились уже между собой накануне, перед отходом ко сну. Гефсиба узнала от своей кузины

столько, что понимала обстоятельства (произошедшие от вторичного выхода замуж матери Фиби), которые заставили Фиби искать приюта в другом доме. Она не могла не ценить характера молодой девушки, отличавшегося необыкновенной деятельностью ума — самая достойная черта в уроженке Новой Англии, — который побуждал ее искать своего счастья с полным самоуважением и с соблюдением наибольшей для себя выгоды. Будучи одной из ближайших родственниц Гефсибы, Фиби, естественно, обратилась к ней, нисколько не вынуждая ее к покровительству, но просто чтобы погостить у нее неделю или две, а если они обе найдут в этом удовольствие, то остаться у нее и на неопределенно долгое время.

Поэтому на грубое замечание Гефсибы Фиби отвечала с невозмутимым спокойствием и веселостью:

— Милая кузина, я не могу сказать вам, как это уладится; но я, право, думаю, что мы сойдемся между собой лучше, нежели вы думаете.

— Ты милая девушка, это я вижу тотчас, — продолжала Гефсиба, — и совсем не этот пункт меня затрудняет. Только мой дом слишком печальное место для такой молодой, как ты, особы. В него довольно много проникает ветра и дождя и даже

снега зимой на чердак и в верхние комнаты, но солнца очень мало. Что же касается меня, то ты видишь, что я угрюмая и одинокая старуха, а я начинаю уже называть сама себя старухою, Фиби. Характер у меня, боюсь, не слишком приятный, и в нем столько причуд, как только ты можешь себе представить. Я не могу сделать здесь твою жизнь, кузина Фиби, приятной и дам тебе разве кусок хлеба.

— Вы найдете во мне веселого ребенка, — отвечала Фиби с улыбкой и в то же время с каким-то нежным достоинством, — и я намерена зарабатывать для себя кусок хлеба. Вы знаете, что я воспитана не по-пинчоновски. В новоанглийских деревнях каждая девушка научается очень многому.

— Ах, Фиби, — сказала со вздохом Гефсиба, — твоя наука поможет здесь очень мало, и притом тяжело думать, что ты должна проводить свои молодые годы в таком месте, как это. Эти щеки через месяц или через два не будут уже такие розовые. Посмотри на мое лицо! — В самом деле, контраст был разителен. — Ты видишь, как я бледна! Я думаю, что пыль и постоянное разрушение этого старого дома вредны для легких.

— У вас есть сад, есть цветы, за которыми надо

ухаживать, — заметила Фиби. — Я буду поддерживать свое здоровье движением на свежем воздухе.

— Да при всем том, — сказала Гефсиба, быстро вставая и как будто желая прервать разговор, — не мое дело говорить о том, кто будет или не будет гостем в старом Пинчоновом доме: скоро воротится его хозяин.

— Вы разумеете судью Пинчона? — спросила Фиби с удивлением.

— Судью Пинчона! — отвечала с досадой ее кузина. — Едва ли он переступит через порог этого дома, пока я жива! Нет, нет! Но я тебе покажу, Фиби, портрет того, о ком я говорю.

Она ушла за описанной уже нами миниатюрой и воротилась, держа ее в руке. Подавая портрет Фиби, она наблюдала внимательно за выражением ее лица, как будто ревнуя к чувству, которое девушка должна была обнаружить при взгляде на портрет.

— Как нравится тебе это лицо? — спросила Гефсиба.

— Прекрасное! Прелестное! — сказала Фиби с удивлением. — Это такое привлекательное лицо, какое мужчина может или должен иметь. В нем есть какое-то детское выражение, однако

ж это не ребячество, только чувствуешь к нему особенную расположенность! Он, мне кажется, никогда не страдал. Каждый готов бы был, мне кажется, вытерпеть очень много, чтобы только избавить его от тяжких трудов и горя. Кто это, кузина Гефсиба?

— Разве ты никогда не слыхала, — шепнула, наклонившись к ней, Гефсиба, — о Клиффорде Пинчоне?

— Никогда! Я думала, что на свете нет больше Пинчонов, кроме вас и вашего кузина Джеффри, — отвечала Фиби. — Впрочем, кажется, я слышала имя Клиффорда Пинчона! Да, от моего отца или матери; но разве он не умер уже давно?

— Да, да, дитя мое, может быть, и умер! — сказала Гефсиба с неприятным, глухим смехом. — Но в старых домах, как этот, ты знаешь, мертвые любят селиться! Сама увидишь. Но так как после всего, что я тебе сказала, ты не потеряла своей храбрости, то мы не расстанемся так скоро. Мне приятно, дитя мое, видеть тебя теперь в своем доме, каков он ни есть.

И с этим умеренным, но не совсем холодным уверением в своем гостеприимстве Гефсиба поцеловала девушку в щеку.

Они спустились по лестнице, где Фиби приняла

самое деятельное участие в приготовлении завтрака. Хозяйка дома между тем, как обыкновенно бывает с людьми ее жесткой и негибкой натуры, стояла большею частью подле нее. Она хотела бы помочь ей, но чувствовала, что ее природная неспособность только помешает делу. Фиби и огонь, подогревавший чайник, были одинаково ярки, одинаково веселы и одинаково успевали каждый в своем деле. Гефсиба смотрела на свою родственницу как бы из другой сферы, с обычной своею беспечностью — неизбежным следствием долгого уединения; впрочем, она не могла не интересоваться и даже не восхищаться проворством, с каким ее новая жилица готовила завтрак и приноровляла дом и все его старинные обветшалые принадлежности к своим потребностям. Что бы она ни делала, все у нее делалось без заметного усилия и часто под напевы, чрезвычайно приятные для слуха. Эта природная певучесть делала Фиби чем-то вроде птички в тени дерева и внушала наблюдателю мысль, что поток жизни струится через ее сердце, как иногда ручеек струится вдоль прелестной небольшой долины. Она обнаруживала веселость деятельного характера, который находит радость в своей деятельности и потому сообщает ей особенную

прелесть, — черта собственно новоанглийская, старая угрюмая ткань пуританизма, вытканная золотыми нитками.

Гефсиба достала несколько старых серебряных ложечек с фамильным вензелем и китайский чайный прибор, расписанный грубыми фигурами людей, птиц и зверей, окруженных таким же грубым ландшафтом. Эти нарисованные люди жили, по-видимому, очень весело посреди своего блистательного мира, краски которого нисколько не полиняли, хотя чайник и чашки были так же стары, как и сам обычай пить чай.

— Эти чашки были даны в приданое твоей прапрапрапрабабушке, — сказала Гефсиба Фиби. — Она была из фамилии Давенпорт, очень хорошей фамилии. Это были почти первые чайные чашки, какие только появились в нашей колонии, и если б одна из них разбилась, то, мне кажется, я бы не пережила этого… Но что за глупость говорить так о хрупких чашках, когда я пережила так много разных горестей!

Чашки, не бывшие в употреблении, может быть, с времен молодости самой Гефсибы, покрылись пылью, которую Фиби смыла с них с такой заботливостью и осторожностью, что удовлетворила даже саму обладательницу этого

сокровища.

— Что за милая такая ты хозяюшка! — воскликнула она, смеясь и в то же время так страшно хмуря брови, что ее смех похож был на сияние солнца под громовой тучей. — Неужели ты и в других делах такая мастерица? Так ли ты хорошо управляешься с книгой, как с чашками?

— Не думаю, — отвечала Фиби, смеясь над простодушным вопросом Гефсибы. — Но прошлым летом я была школьной наставницей маленьких детей нашего околотка и могла бы оставаться до сих пор в этой должности.

— А! Да это чудесно! — воскликнула, повернувшись на своем стуле, старая дева. — Но эта способность перешла к тебе от матери. Я не знаю ни одного Пинчона, который бы был мастер на книжное дело.

Странно, но тем не менее справедливо, что люди вообще столько же или даже больше тщеславятся своими недостатками, как и хорошими своими способностями. Гефсиба при всяком случае выставляла природную нерасположенность Пинчонов к наукам и считала ее наследственной чертой. Может быть, оно так и действительно было.

Две родственницы еще не закончили своего

завтрака, как из лавочки раздался резкий звонок, и Гефсиба поставила на стол недопитую чашку чаю с таким видом мрачного отчаяния, что на нее действительно жаль было смотреть, В занятиях не по вкусу второй день обыкновенно бывает для нас тяжелей первого: мы возвращаемся к делу со всею раздражительностью нервов, до которой они были доведены предшествовавшими неприятностями. По крайней мере, Гефсиба решительно была уверена, что она никогда не привыкнет к этому сердитому звяканью колокольчика. В который бы раз она его ни слышала, он всегда потрясал своею неожиданностью и резкостью всю ее нервную систему. Особенно в эту минуту, когда, глядя на свои вензельные ложечки и старинный китайский фарфор, она услаждала себя мыслями о миновавшей знатности, и особенно в эту минуту она почувствовала невыразимое отвращение иметь дело с покупателем.

— Не беспокойтесь, милая кузина! — сказала Фиби, вскочив с своего места. — Сегодня буду я торговкою.

— Ты такой ребенок! — воскликнула Гефсиба. — Что смыслит деревенская девушка в таких делах?

— Да кто же, если не я, занималась продажей

всех хозяйственных припасов в нашем деревенском амбаре? — сказала Фиби. — У меня даже была будочка на ярмарке, и я торговала в ней лучше всякого другого. Этому и учиться нечего, все зависит от сметливости. Вы увидите, что я такая же ловкая торговка, как и хозяйка.

Старая леди с недоверчивостью следила за Фиби и заглядывала из коридора в лавочку, чтоб видеть, как она справится с делом, а дело было на ту минуту довольно затруднительным. Какая-то старуха, в белом коротком платье и зеленой кофте, с ниткой золотых бусин на шее и в чем-то вроде чепца на голове, принесла несколько мотков пряжи для обмена на товары, какие были в лавочке. Это была, вероятно, последняя женщина в городе, не оставившая еще старинной прялки. Интересно было вслушиваться, как глухой голос старухи и милый голосок Фиби связались в одну нить говора, и еще интереснее наблюдать контраст между их фигурами: с одной стороны, легкость и красота, с другой — дряхлость и бесцветность; в одном отношении их разделяла только конторка, в другом — между ними лежало больше шестидесяти лет жизни. Что касается самого менового торга, то здесь привычная хитрость и плутоватость пришли в столкновение с

природной прямотой и проницательностью.

— Каково сделано дело? — спросила Фиби, смеясь, когда покупательница ушла.

— Прекрасно, что и говорить, дитя мое! — отвечала Гефсиба. — Мне и вполовину так хорошо его не сделать. Правду ты говоришь, что все дело здесь в сметливости, которая перешла к тебе от матери.

Люди, которым нелюдимость или неловкость мешает принять надлежащее участие в шумной деятельности общества, смотрят с неподдельным удивлением на людей, которые являются настоящими действующими лицами на сцене мира, и до такой степени непонятны для них эта решимость и эта способность действовать, что они готовы в угоду своему самолюбию уверять себя, что она несовместима с другими способностями, которые, по их мнению, гораздо выше и важнее. Так и Гефсиба охотно признала за Фиби превосходство над собой в способности к торговле. Она с удовольствием выслушивала советы молодой девушки касательно разных способов с выгодой расширить торговлю, не рискуя капиталом. Она не мешала Фиби приготовлять дрожжи, варить сорт пива, очень приятного для вкуса и полезного для желудка, и, кроме того, печь для продажи

маленькие сладкие пирожки, до такой степени вкусные, что кто раз их отведывал, того долго тянуло к ним. Все эти доказательства расторопности и искусства в хозяйстве были чрезвычайно приятны для Гефсибы, и она невольно бормотала про себя с кислой улыбкой, с полуестественным вздохом и со смешанным чувством удивления, жалости и возрастающей привязанности к родственнице:

— Что за милая малютка! Если б только она была леди! Но это невозможно! Фиби родилась не в Пинчонов, к ней все перешло от матери.

Что касается того, была ли Фиби леди или нет, этот вопрос решить очень трудно, только едва ли он возник бы в хорошо устроенной и здравомыслящей голове. Я думаю, что только в Новой Англии можно встретить девушку, которая бы соединяла в себе столько свойственных леди качеств с таким множеством других, которые если и совмещаются в одном характере, то не составляют необходимой его части; ее правил не стеснял никакой устав, она удивительно как была верна самой себе и никогда не шла наперекор окружающим ее обстоятельствам. Маленькая, почти детская ее фигура до такой степени была гибкою, что движения для нее как будто были лег-

че неподвижности. Лицо ее, с темными локонами по обе стороны, слегка заостренным носиком, со здоровым румянцем, который был подернут легкой тенью загара, и с полдюжиной веснушек, дружеским сувениром апрельского ветра и солнца, также не дает нам полного права назвать ее красавицей. Но в ее глазах были блеск и глубина. Она была очень миловидна, грациозна, как птичка — именно как птичка; ее присутствие в доме напоминало легкий свет солнца, падающий на пол сквозь тень движущихся листьев, или отблеск камина, танцующий по стенам при наступлении вечера. Приятно было смотреть на Фиби как на образец женской грации, счастливо сочетавшейся с достоинствами ума, — а такая женщина в какой сфере была бы не на своем месте? Такая женщина в практической деятельности мира каждое занятие, самое важное и самое ничтожное, скрасит своим участием в нем и окружит атмосферой любви и радости.

Так широко и свободно лежала перед Фиби дорога жизни.

Казалось, как будто морщинистая физиономия Дома о Семи Шпилях, смотревшая на вас мрачно, нахмурив брови, прояснялась в самом деле и весело посматривала своими мутными окнами,

когда Фиби бегала туда и сюда по комнатам. Иначе невозможно объяснить, как все соседи узнали так скоро о ее присутствии в доме. В лавочке то и дело толкались покупатели, начиная с девяти часов до самого обеда; в это время беготня несколько утихала, но потом возобновлялась с прежнею суетливостью и прекращалась только за полчаса или немного ранее перед закатом долгого летнего дня. Одним из неугомоннейших посетителей лавочки был маленький Нед Гиггинс, истребитель Джим-Кро и слона. Утром этого дня он явил новые чудеса прожорливости, истребив двух верблюдов и один локомотив. Фиби радостно смеялась, высчитывая на аспидной доске свои барыши, высыпав из ящика целую кучу медных монет, между которыми мелькало несколько и серебряных.

— Нам надобно возобновить свои запасы, кузина Гефсиба, — говорила маленькая торговка. — Пряники вышли все, а также немецкие деревянные молочницы и множество других игрушек. Много было спроса на дешевый изюм, а свистков, барабанов и варганов то и дело спрашивали, и по крайней мере десять мальчишек требовали сваренных в сахаре фруктов. Нам надобно достать непременно лесных яблок, хоть

уже и прошла их лучшая пора. Но, милая кузина, что за куча у нас медных денег! Настоящая медная гора!

— Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно! — повторял дядя Веннер, пользуясь любым случаем зайти в лавочку. — Вот девушка, которой не придется коротать жизнь на моей ферме! Ах ты господи, что это за проворная малютка!

— Да, Фиби славная девушка, — говорила Гефсиба, изрекая с важно нахмуренными бровями свое одобрение. — Но, дядя Веннер, ты знаешь наш род издавна. Можешь ли ты сказать мне, чтоб все это перешло к ней от Пинчонов?

— Не думаю, чтоб у них была такая удача, — отвечал почтенный старик. — Но как бы то ни было, только я не видал между ними ничего подобного, да и нигде, правду сказать. Видал я много на своем веку людей, и не только на кухнях и задних дворах, да также и на улицах, на пристанях и в других местах, где мне случалось работать, но при всем том должен сказать вам, мисс Гефсиба, что никогда еще не случалось мне видеть, чтоб какое-нибудь создание в человеческом образе работало так, как этот ребенок Фиби. Словно сами ангелы божьи ей помогают!

Как ни была преувеличена похвала дяди Венне-

ра, но в ней скрывалось верное и тонкое чувство. Деятельность Фиби освящена была моральным характером. Она проводила долгий, полный хлопотливости день в занятиях, которые сами по себе могли бы назваться неопрятными и отталкивающими, но свободная грация, с какой эти ничтожные занятия, так сказать, расцветали из ее внутренней силы, делала их необыкновенно привлекательными, и потому труд принимал легкость и прелесть забавы.

Обе родственницы — молодая и старая — до наступления ночи, в промежутках между торговыми делами, нашли время для того, чтобы с обеих сторон сделать несколько шагов вперед к дружескому сближению и доверчивости. Всякая затворница, подобная Гефсибе, отличается особенной прямотой характера или по крайней мере временно допускает овладеть собой и принудить себя к общительности: попав в другую сферу жизни, она готова благословлять вас за то, что вы вторглись в ограду души ее.

Старая леди находила печальное и гордое удовольствие в том, чтобы водить Фиби из комнаты в комнату по всему дому и рассказывать ей грустные предания, которыми, можно сказать, его стены были покрыты, как фресками. Она пока-

зывала своей молоденькой кузине впадины от рукоятки шпаги лейтенант-губернатора на створах двери, ведущей в комнату, в которой мертвый хозяин, старый полковник Пинчон, принял своих гостей со страшно нахмуренным взглядом. Мрачный ужас этого взгляда, по замечанию Гефсибы, с того времени до сих пор действует на всякого, кто переступает через порог этой комнаты. Она просила Фиби стать на один из высоких стульев и рассмотреть старинную карту родовых земель на востоке. В одной полосе земли, на которую она указала пальцем, находятся серебряные рудники; эта местность значится в заметках самого полковника Пинчона, но станет всем известной тогда только, когда права фамилии признаны будут правительством. Таким образом, с решением этого дела в пользу Пинчонов связан интерес всей Новой Англии. Она объявила также, что где-то под домом, или в погребе, или, может быть, в саду непременно должен находиться огромный клад, состоящий из кучи английских гиней.

— Если бы тебе посчастливилось найти его, Фиби, — сказала Гефсиба, глядя на нее с кислою, но дружеской улыбкой, — тогда бы наш колокольчик не звенел больше в лавочке.

— Да, милая кузина, — отвечала Фиби, — но

когда это еще будет, а я слышу, что он звенит!

Когда Фиби удовлетворила покупателя, Гефсиба заговорила, очень неопределенно и издалека, о некоторой Алисе Пинчон, которая была необыкновенно хороша собой и очень образованна в свое время, тому лет сто назад, и ее роскошная, пленительная личность до сих пор отражается на местах, где жила она, подобно тому, как сухой розан долго наполняет своим ароматом жизнь, где он увял, заброшенный. С этой прелестной Алисой случилось какое-то великое, покрытое тайной бедствие. Она худела, бледнела и мало-помалу увяла навеки. Но до сих пор некоторые уверены, что ее тень живет в Доме о Семи Шпилях, и очень часто, особенно перед смертью кого-нибудь из Пинчонов, слышна ее печальная и прекрасная игра на клавикордах. Одна из ее пьес в то самое время, когда она перебирала клавиши своими бесплотными пальцами, была положена на ноты каким-то любителем музыки. Пьеса эта до такой степени печальна, что до сих пор никто не в состоянии ее слушать, и только для тех, чья душа томится собственным сильным горем, эта музыка имеет подавляющую всякое горе приятность.

— Это те самые клавикорды, которые вы мне показывали? — спросила Фиби.

— Те самые, — отвечала Гефсиба. — Это клавикорды Алисы Пинчон. Когда я училась музыке, батюшка ни за что не позволял мне открыть их, и так как я упражнялась только на инструменте своего учителя, давно уже совсем забыла музыку.

Оставя эти старинные темы, Гефсиба завела речь о дагеротиписте, которому, так как он был благомыслящий и благонравный молодой человек, притом человек бедный, она позволила жить в одном из семи шпилей. Но, познакомившись ближе с мистером Хоулгрейвом, она не знает, что с ним делать. Он водится, говорила она, с самыми странными людьми, каких только можно себе представить: с длинными бородами, в полотняных блузах и в других новомодных и безобразных платьях. Все это реформаторы, проповедники воздержания, пасмурные филантропы; бродяги, которые не признают никаких законов, не употребляют никакой питательной пищи, живут только запахом чужих кухонь. Что касается собственно дагеротиписта, она читала однажды статью в листке по одному пенни, в которой его бранили за либеральный спич в его сборище, похожем на толпу бандитов. Со своей стороны, она имеет причины думать, что он занимается

животным магнетизмом, и, если только теперь это в моде, стоит даже подозревать, что он в своей уединенной комнате изучает черную магию.

— Позвольте, милая кузина, — сказала Фиби, — если этот молодой человек так опасен, то зачем вы позволяете ему жить у себя в доме? Если б он даже и не сделал дальнейшего вреда, то, пожалуй, сожжет дом!

— То-то! — отвечала Гефсиба. — Иногда я серьезно призадумывалась, не отказать ли ему в квартире. Но при всех своих странностях он очень добрый человек и так умеет говорить со всяким, что хоть я и не совсем люблю его — для этого я не слишком хорошо знаю молодого человека, — но потеряй его из виду, так было бы, кажется, и грустно. Женщина рада и какому-нибудь знакомству, живя в таком одиночестве, как я.

— Но если мистер Хоулгрейв — человек, не признающий законов! — заметила Фиби, одно из достоинств которой было уважение к общественным постановлениям.

— О! — сказала беспечно Гефсиба. — Я думаю, что у него есть свои законы!

Глава VI
Источник Моула

Чай пили рано, и деревенская девушка побежала погулять по саду. Ограда его обнимала прежде большое пространство, но мало-помалу это пространство было стеснено, как мы уже сказали, отчасти деревянными заборами, а отчасти пристройками домов, которые стояли на другой улице. На середине сада находилась лужайка с небольшим полуразвалившимся строением, которое, однако, сохранило еще некоторые признаки беседки. Хмель, выросший из прошлогоднего корня, начал взбираться по ней кверху, но долго еще надобно было ждать, чтоб он покрыл ее кровлю своим зеленым ковром. Три из семи шпилей смотрели прямо или сбоку в сад с мрачной величавостью.

Богатый чернозем упитан был перегнившими растительными веществами многих лет, как то: осыпавшиеся листья, лепестки цветов и стебли диких растений, полезных гораздо больше после смерти, нежели в то время, когда они широко распускают свои листья на солнце. Заглуша-

ющий все лучшие растения бурьян готов был подняться густыми купами и проникнуть даже в человеческие жилища. Но Фиби заметила, что растительность его остановлена чьим-то постепенным и неослабным трудом, распределенным систематически по дням. Белый розовый кустарник, очевидно, был обставлен подпорками в начале весны, а груша и три дамасские сливы, которые, кроме ряда смородины, составляли единственные плодовые деревья в саду, носили следы недавней обрезки на излишних или засохших своих ветвях. Было здесь также несколько сортов старинных цветов, не слишком хорошо разросшихся, но старательно кругом прополотых, как будто кто-то — из любви или из любопытства — старался довести их до такого развития, к какому они способны. Остальная часть сада заключала в себе очень хорошо подобранную коллекцию растений, находившихся в самом лучшем состоянии: летние тыквы, уже в золотом своем цвету; огурцы, обнаруживавшие готовность разветвиться с главного стебля и расползтись в разные стороны; два или три сорта бобов, и некоторые из них уже готовились взвиться фестонами по тычинкам; картофель занимал такое уютное и солнечное место, что

стебли его были уже гигантского роста и обещали ранний и обильный урожай.

Фиби не могла постигнуть, чьими трудами насажены были все эти растения и кто содержал почву в такой чистоте и порядке. Уж верно, не ее кузина Гефсиба, у которой вовсе не было склонности к разведению цветов и которая, со своими затворническими привычками и стремлением скрываться в печальной тени дома, едва ли решилась бы рыться в земле, под открытым знойным небом, между бобами и тыквами.

Фиби в первый раз в жизни удалилась на целый день от предметов, составляющих обстановку деревенской жизни, и для нее этот уголок зелени, с древесной тенью, с цветами и простыми растениями, был неожиданно приятной находкой. Само небо, казалось, устремляло сюда с удовольствием взор свой, как будто радуясь, что природа, везде теснимая и прогоняемая из пыльного города, нашла здесь место для отдыха. Сад представлял собой дикую, но привлекательную картину, которой придавала особенную прелесть пара реполовов, свивших себе гнездо на груше и чирикавших с необыкновенной суетливостью и веселостью в густой тени ее ветвей. Пчелы также, хотя это очень странно, сочли стоящим труда

прилететь сюда, вероятно, с какой-нибудь фермы, отстоящей отсюда на несколько миль. Сколько воздушных путешествий должны они совершать от рассвета до заката солнца для отыскания меда или воска! Фиби невольно засмотрелась, как две или три пчелы, производя приятное жужжанье, суетились в глубине золотых тыквенных цветов.

Был еще в саду один предмет, который природа по праву могла присвоить себе, хотя человек и сделал попытки обратить его в свою собственность. Это был источник, обложенный кругом мшистыми камнями и выложенный в своем жерле, наподобие мозаики, разноцветными камешками. Игра и легкое движение воды в ее стремлении вырваться из-под земли магически преображали эти камешки в движущиеся фигуры, которые сменялись одни другими так быстро, что их невозможно было рассмотреть. Переливаясь через ограду из мшистых камней, вода пробивалась по саду — не можем сказать, что ручейком, но чуть заметной струйкой.

Нельзя также не упомянуть и о курятнике (весьма почтенной древности), стоявшем в отдаленном углу сада, недалеко от фонтана. В нем на эту пору содержался только петух с двумя курицами и одиноким цыпленком; все они были

из славной породы кур, которые не переводились с отдаленнейшего времени Пинчонова дома и, по словам Гефсибы, в старые времена почти равнялись ростом с индейскими петухами, а мясо их было так вкусно, что годилось бы и для королевского стола. В доказательство справедливости этого предания Гефсиба показывала Фиби скорлупу большого яйца, которое не постыдился бы назвать своим и страус. Как бы то ни было, только теперь куры были немного крупнее голубей, имели тощий, болезненный вид, квохтали печальными голосами, переменяя их на разные тоны, а ноги у них как будто были поражены подагрой. Было очевидно, что эта порода выродилась, как и многие другие редкие породы. Это пернатое племя существовало слишком долго в удалении от других племен, как это видно было по печальной наружности его представителей. Они держались еще кое-как в живых, несли изредка яйца и выводили какого-нибудь цыпленка, как будто для того только, чтобы свет не лишился совершенно столь удивительной некогда породы птиц. Отличительным признаком петухов последнего поколения пинчоновских кур был плачевно маленький гребень, до того похожий, как это ни странно, на тюрбан Гефсибы, что Фиби,

терзаясь совестью, не могла не находить сходства между этими заброшенными двуногими и своею почтенной родственницею.

Она побежала в дом собрать хлебных крошек, холодного картофеля и других непротивных вкусу остатков пищи и, вернувшись в сад, позвала кур особенным кликом, который они, по-видимому, тотчас узнали. Цыпленок пробрался даже в щель курятника и подбежал к ее ногам с какою-то веселостью, между тем как петух и две его хозяйки посматривали на нее искоса, а потом начали квохтать между собой, как бы сообщая друг другу заключения о ее характере. Вид птиц действительно был такой античный, что в них можно было не только признать потомков древней породы, но и согласиться с тем, что они существовали еще со времени основания Дома о Семи Шпилях и разделяли некоторым образом судьбу его. Они были чем-то вроде духов-покровителей места.

— Поди, поди ко мне, бедный цыпленок! — сказала Фиби. — Вот тебе прекрасные крошки.

Цыпленок, несмотря на свою столь же почтенную наружность, какой одарена была и его мать, обнаружил необыкновенную живость и взлетел на плечо к Фиби.

— Эта маленькая птичка благодарит вас за ва-

ши попечения! — сказал позади ее чей-то голос.

Обернувшись быстро назад, Фиби с удивлением увидела молодого человека, который прошел в сад через дверь, ведущую в особый шпиль. Он держал в руке мотыгу и в то время, как Фиби бегала в дом за крошками, начал уже рыть землю вокруг картофельных корней.

— Цыпленок в самом деле обходится с вами как со старой знакомой, — продолжал он спокойно, и улыбка, мелькнувшая на его устах, сделала его лицо гораздо приятнее, чем показалось Фиби с первого раза. — А эти почтенные особы в курятнике тоже, кажется, очень снисходительно к вам расположены. Вы должны быть счастливы, что так скоро вошли к ним в милость! Они знают меня гораздо более давно, но никогда не удостаивали меня никакой фамильярностью, хотя едва проходит день без того, чтоб я не принес им корму. Я думаю, что мисс Гефсиба присоединит этот факт к прочим своим преданиям и будет утверждать, что птицы знали, что вы происходите из дома Пинчонов!

— Секрет заключается в том, — отвечала, смеясь, Фиби, — что я знаю язык, на котором говорят с курами и цыплятами.

— Да, — отвечал молодой человек, — но я

остаюсь при мнении, что эти куры узнают в вас фамильный голос. Ведь вы из дома Пинчонов?

— Да, мое имя Фиби Пинчон, — сказала девушка с некоторой холодностью. Она знала, что ее новый знакомец должен быть не кто иной, как дагеротипист, о своеволии которого ей рассказала старая дева. — Я не знала, что сад моей кузины Гефсибы вверен попечению другой особы.

— Да, — сказал Хоулгрейв, — я рою землю, сажаю семена и очищаю от бурьяна этот старый чернозем, чтоб наслаждаться тем, что уберегла здесь природа от многочисленных человеческих посевов и жатв. Это к тому же такое приятное препровождение времени. Мое ремесло — пока я занимаюсь каким-нибудь ремеслом — не требует продолжительных трудов. Я рисую портреты посредством солнечных лучей и, чтобы дать отдых своим глазам, выпросил у мисс Гефсибы позволение жить в одном из этих мрачных шпилей. Входить в них — все равно что накладывать себе на глаза повязку. Но не угодно ли вам видеть образец моих произведений?

— То есть дагеротипный портрет? — спросила Фиби уже не с такою, как прежде, холодностью, потому что, несмотря на ее предубеждения, ее молодость привлекалась его молодостью. — Я не

очень люблю этого рода портреты: они всегда так сухи и угрюмы; кроме того, в них нельзя всмотреться, так как они беспрестанно ускользают от глаз. Они знают, видно, как они непривлекательны, и потому стараются избегать наблюдения.

— Если вы мне позволите, — сказал молодой человек, глядя на Фиби, — то я бы сделал опыт, в самом ли деле дагеротип умаляет красоту действительно прелестного лица. Но в том, что вы сказали, есть истина. Большая часть людей на моих портретах смотрят как-то угрюмо, но, я думаю, потому, что так смотрят и сами оригиналы. Ясный и простой взгляд солнца одарен удивительной проницательностью. Мы думаем, что он списывает только поверхность предметов, а он между тем выводит наружу тайный характер человека с такой верностью, которая невозможна ни для какого художника, хотя бы он и открыл этот характер. По крайней мере, в моем скромном искусстве нет лести. Вот, например, портрет, который я снимал и переснимал несколько раз, но всегда с одинаковым результатом. Оригинал его для простого глаза имеет совсем иное выражение. Мне было бы приятно знать ваше суждение о характере этого человека.

Он показал девушке дагеротипную миниатюру

в сафьянном футляре. Фиби только взглянула на нее и отдала назад.

— Я знаю это лицо, — сказала она, — его суровые глаза преследовали меня целый день. Это мой предок-пуританин, что висит там в комнате. Вероятно, вы нашли средство скопировать портрет без его черного бархатного плата и серой бороды и нарядить его вместо того в новейший фрак и галстук. Не скажу, однако, чтоб он сделался привлекательнее от ваших переделок.

— Вы бы нашли еще некоторое различие, если бы посмотрели на него дольше, — сказал Хоулгрейв со смехом, но пораженный, по-видимому, ее словами. — Могу уверить вас, что это — лицо современное, и весьма вероятно, что вы встретите его здесь. Заметьте, что оригинал в глазах общества и, сколько я знаю, в глазах самых близких своих друзей имеет чрезвычайно приятную физиономию, в которой выражаются добродушие, откровенность, веселость характера и другие прекрасные качества в этом роде. А солнце, как видите, рассказывает о нем совершенно иного рода историю и не хочет от нее отказаться, несмотря на неоднократные мои попытки заставить его говорить другое. Оно представляет нам его человеком фальшивым, хитрым, черст-

вым, повелительным, а внутри холодным как лед. Взгляните на эти глаза! Согласились ли бы вы довериться этому человеку? Или на этот рот: улыбался ли он когда-нибудь? А посмотрели бы вы на благосклонную улыбку оригинала! Это тем досаднее, что он играет довольно важную роль в общественных делах и портрет этот предназначается для гравюры.

— Нет, я не хочу больше его видеть! — сказала Фиби, отводя в сторону глаза. — Он в самом деле очень похож на старый портрет. Но у моей кузины есть еще один портрет — миниатюра. Если оригинал существует еще в мире, то я думаю, что солнце не в состоянии было бы сделать его физиономию жесткой и суровой.

— Так вы видели этот портрет! — воскликнул дагеротипист с выражением сильного интереса. — Я никогда не видал, но очень желал бы видеть. Лицо на миниатюре кажется вам очень привлекательным?

— Ничего лучше я не видала, — сказала Фиби. — Оно, можно сказать, даже слишком красиво, слишком изнеженно для мужчины.

— В нем не выражается никакого бурного чувства? — продолжал расспрашивать Хоулгрейв с участием, которое приводило Фиби в некоторое

замешательство, равно как и совершенная свобода, с какой он начал с ней знакомство. — Нет ли в нем чего-нибудь мрачного или зловещего? Не можете ли вы предполагать, чтобы оригинал этого портрета был виновен в важном преступлении?

— Что за странные вопросы? — воскликнула Фиби с некоторым раздражением. — Можно ли говорить такие вещи о портрете, которого вы никогда не видали? Вы принимаете его за какой-нибудь другой. Преступление! Так как вы приятель моей кузины Гефсибы, вы можете попросить ее показать вам портрет.

— Для меня было бы гораздо полезнее видеть оригинал, — отвечал дагеротипист хладнокровно. — Что касается его характера, то нам нет надобности рассуждать о его свойствах: они уже определены судом законным… или, по крайней мере, тем, который называл сам себя законным. Но погодите! Не уходите, сделайте одолжение, я сделаю вам одно предложение.

Фиби готова была уже уйти, но обернулась опять к молодому человеку с некоторой нерешительностью, потому что она не вполне понимала его обращение, хотя, взглянув на него, могла открыть в нем скорее отсутствие церемониальности, нежели оскорбительную грубость. В тоне,

которым он продолжал свою речь, была какая-то странная властность, как будто он сам был хозяином этого сада, а не пользовался им единственно из благосклонности Гефсибы.

— Если б это было вам приятно, — сказал он, — то я с большим удовольствием предоставил бы вашим попечениям эти цветы и этих древних и почтенных птиц. Так как вы только что оставили деревенский воздух и занятия, вы скоро почувствуете нужду в каком-нибудь из занятий под открытым небом. Цветы не настоящая моя сфера, и потому вы можете ухаживать за ними по своему усмотрению. Я же только время от времени буду у вас просить самой незначительной уступки в уходе за цветами в замену за те прекрасные овощи, которыми я надеюсь обогатить стол мисс Гефсибы. Таким образом мы будем полезными друг другу сотрудниками.

Фиби, молча и удивляясь сама своему согласию, принялась полоть цветочную грядку, но она гораздо более была занята размышлением об этом молодом человеке, с которым так неожиданно сблизилась до фамильярности. Он не совсем ей нравился. Характер его смущал молодую деревенскую девушку, обнаруживая в нем строгого практика. Разговор его вообще отличался шутли-

вым тоном, но производил на нее впечатление серьезное и почти суровое, кроме тех случаев, когда молодость дагеротиписта смягчала это впечатление. Она боролась с действием какого-то магического элемента, заключавшегося в натуре Хоулгрейва, который покорял ее своими чарами, может быть, совсем неумышленно.

Спустя некоторое время сумерки, сгущенные тенью фруктовых деревьев и соседних строений, распространили по всему саду полумрак.

— Пора оставить нам работу! — сказал Хоулгрейв. — Делаю последний удар мотыгой в пользу бобов. Спокойной ночи, мисс Фиби Пинчон! Если вы в один прекрасный день пришпилите к своим волосам один из этих розанов и зайдете в мою мастерскую на Среднем проспекте, то я воспользуюсь самым чистым солнечным лучом, чтоб снять портрет с цветка и его владелицы.

С этими словами он направился в свой уединенный шпиль, но, подходя к двери, обернулся и позвал Фиби голосом, в котором звучал смех, но в то же время слышался более нежели полусерьезный тон.

— Берегитесь пить воду из Моулова источника! — сказал он. — И пить, и умывать лицо!

— Моулов источник! — отвечала Фиби. — Тот,

что обложен мшистыми камнями? Я вовсе не думала пить из него воду; но зачем вы это говорите?

— Зачем? — сказал дагеротипист. — Да затем, что он околдован, как и чай иной старой леди.

Он скрылся, и Фиби, помедлив еще с минуту в саду, увидела сперва мерцающий огонек, а потом яркий свет лампы в окнах его шпиля. Когда она воротилась в комнату Гефсибы, там было уже так темно, что глаза ее не могли проникнуть в глубину. Она едва могла видеть старую леди, сидевшую на одном из прямых стульев немного поодаль от окна, слабый свет из которого слегка обозначал во мраке ее бледное лицо, обращенное в угол комнаты.

— Не зажечь ли мне лампу, кузина Гефсиба? — спросила Фиби.

— Зажги, пожалуй, — отвечала Гефсиба. — Но поставь ее на столе в углу коридора. Глаза у меня слабы, и я редко подвергаю их ламповому свету.

Какой чудный инструмент человеческий голос! Как он выражает всякое движение нашей души! В тоне Гефсибы в эту минуту присутствовали звучная глубина и влажность, как будто слова ее, при всей своей незначительности, были окунуты в теплоту ее сердца. Когда кузина зажигала в

кухне лампу, ей опять показалось, что Гефсиба что-то сказала ей.

— Сейчас, кузина! — отвечала девушка. — Эти спички только вспыхивают и гаснут.

Но вместо отклика Гефсибы она слышала говор другого голоса. Он, впрочем, был очень неясен и не столько походил на произносимые слова, сколько на неопределенные звуки, которые скорее выражали любовь и участие, нежели рассуждение. Впрочем, звуки эти так были неуловимы для слуха, что Фиби не могла даже считать их действительными. Она решила, что, верно, какой-нибудь другой звук в доме показался ей человеческим голосом или что это только игра ее воображения.

Поставив зажженную лампу в коридоре, она воротилась в комнату Гефсибы. Теперь фигура старой девы, несмотря на то что ее черты все еще сливались с полумраком, виднелась уже яснее прежнего, впрочем, в отдаленных углах комнаты, которая так слабо отражала свет, стояла почти та же темнота, что и прежде.

— Кузина, — сказала Фиби, — говорили вы мне что-нибудь сейчас?

— Нет, дитя мое! — отвечала Гефсиба.

Еще меньше слов, нежели прежде, но с той

же таинственной музыкою! Мягкий, меланхолический, но не печальный тон их как будто вытекал из глубокого колодца сердца Гефсибы, весь проникнутый глубочайшим волнением этого сердца. В нем было какое-то трепетание, электрический заряд, который отчасти сообщился и Фиби. Девушка сидела с минуту в молчании. Скоро, однако, для ее тонкой души сделалось заметным чье-то неправильное дыхание в углу комнаты. Она была одарена нежной и вместе с тем здоровой физической организацией, которая — как бы духовным действием — почуяла, что возле нее есть еще кто-то третий.

— Милая кузина, — сказала она, преодолевая неопределенное отвращение к этому вопросу, — нет ли здесь кого-нибудь с нами в комнате?

— Фиби, милая моя малютка, — сказала Гефсиба после минутной паузы, — ты очень рано встала и хлопотала целый день. Поди спать, я уверена, что тебе нужен отдых. Я хочу посидеть еще немного одна и привести в порядок свои мысли. Я выработала эту привычку задолго еще до твоего рождения.

Отпуская таким образом ее ко сну, старая леди сделала несколько шагов вперед, поцеловала Фиби и прижала ее к своему сердцу, которое билось

с необыкновенной силой и чувством у груди молодой девушки. Каким образом удержалось еще в печальном старом ее сердце так много любви, что излишек ее переливается через край?

— Спокойной ночи, кузина, — сказала Фиби, странно пораженная обхождением Гефсибы. — Я очень рада, что вы начинаете любить меня.

Она воротилась в свою комнату, но не скоро смогла уснуть, да и спала не очень крепко. По временам в глубокой ночи она слышала сквозь сон чьи-то шаги по лестнице, тяжелые, но не сильные и не решительные. Голос Гефсибы, впрочем полуподавленный, также раздавался на лестнице вместе с шагами, и, как бы в ответ на этот голос, Фиби опять слышала странный, неопределенный шум, который был несколько похож на человеческий говор.

Глава VII
Гость

Когда Фиби проснулась — а это случилось в одно время с началом утреннего чириканья четы реполовов на груше, — она услышала внизу лестницы какое-то движение. Она поспешила сойти на нижний этаж и нашла Гефсибу еще в

кухне. Гефсиба стояла у окна, держа перед самым носом книгу, как будто с целью проникнуть обонянием в ее содержание, потому что ее слабое зрение не слишком хорошо помогало ей в этом. Трудно представить себе книгу убедительнее той, которая была теперь в руках Гефсибы: от одного ее чтения вся кухня наполнялась запахом дичи — индеек, каплунов, копченых куропаток, — пудингов, пирожных и святочных поросят во всех возможных смешениях и видоизменениях. Это была поваренная книга, наполненная рецептами бесчисленных старинных английских блюд и украшенная гравюрами, на которых были представлены приготовления к пиршествам, достойным большой залы какого-нибудь вельможеского замка. Между этими великолепными образцами поваренного искусства (из которых, вероятно, ни один не был осуществлен на деле в этом доме со времен дедушек) бедная Гефсиба искала рецепт, по которому можно бы было наскоро состряпать к завтраку кушанье из продуктов, которые были в ее распоряжении, и с искусством, которым она обладала.

Скоро, однако, она отложила в сторону благоухающее кушаньями сочинение и спросила Фиби, не снесла ли вчера яйца старая Спекли,

как она называла одну из куриц. Фиби побежала посмотреть, но воротилась без ожидаемого сокровища. В эту минуту послышался свисток рыбака, возвещая приближение его к дому. Гефсиба позвала его, энергично постучав в окно лавочки, и купила у него рыбу, которую он называл отличнейшею макрелью, жирною, лучшей из тех, что случалось ему ловить так рано. Поручив Фиби поджарить кофе, который она называла чистейшим моккским и таким старым, что каждое мелкое зернышко его стоит продавать на вес золота, старая дева положила столько дров в древний очаг, что из трубы тотчас начал вылетать густой дым. Деревенская девушка, помогая ей, чем могла, предложила испечь по особенному легкому способу, перенятому ею от матери, индейский пирожок, который, по ее словам, если хорошо его приготовить, должен был быть так вкусен и нежен, как никакой другой сорт из подающихся на завтрак. Гефсиба с радостью на это согласилась, и в кухне скоро разлился приятный запах снадобий для индейского пирожка. Нам кажется, что в дыму, вырывавшемся из худо устроенной печки, как в своей естественной стихии, тени усопших кухарок непременно должны были смотреть с удивлением на это кушанье или

заглядывать в печку с пренебрежением к простоте предложенного Фиби пирожка, напрасно стараясь протянуть к нему свои воздушные руки. По крайней мере, голодные мыши явно вылезали из своих норок и, присев на задние лапки, нюхали дымный воздух, благоразумно выжидая благоприятного случая поживиться.

Гефсиба не обладала природной способностью к стряпанью, чем, сказать правду, увеличила свою настоящую худощавость, часто предпочитая оставаться лучше без обеда, нежели возиться с вертелом или наблюдать за кипением горшка. Поэтому рвение, какое она обнаружила теперь к кухонным подвигам, было истинно героическим чувством. Было трогательно и поистине достойно слез — если бы только Фиби, единственная свидетельница ее подвигов, если не считать мышей и бесплотных теней, не предпочла лучше заниматься делом, нежели проливать их, — видеть, как она разгребала свежие угли и жарила макрель. Обыкновенно бледные щеки ее теперь разгорелись как жар от огня и суетливости, и она наблюдала рыбу с такой нежной заботливостью и вниманием, как будто — не подберем на этот случай лучшего сравнения — ее собственное сердце лежало на сковороде, а ее счастье и несча-

стье зависели от того, хорошо или нет пожарится эта рыба.

Домашняя жизнь предоставляет немного явлений приятнее чисто приготовленного и изобильного завтрака. Мы являемся к нему со свежими силами, в росистой юности дня, когда все наши нравственные и физические чувства находятся в лучшем согласии, нежели в позднейшие часы, поэтому физические наслаждения наши утреннею едой не смущаются никакими еще упреками со стороны желудка или совести, если мы даже и чересчур поддаемся животной части нашей натуры. Мысли, обходящие в это время кружок близких между собой гостей, также приправлены остроумием и веселостью, а часто и живой истиной, которая редко имеет место в изысканной беседе за обедом. Маленький, старинный столик Гефсибы, поддерживаемый тоненькими и красивыми ножками и покрытый богатейшею камчатной скатертью, достоин был служить центром самого веселого кружка. Пар от горячей рыбы поднялся, как дым на жертвеннике варварского идола, между тем как благоухание чудного кофе было бы приятно обонянию покровительственной Лары или какого бы то ни было духа, благоприятствующего новейшему

завтраку.

Фиби отправилась в сад, составила букет роз и расположила его очень искусно в небольшой стеклянной кружке, которая, потеряв давно уже свою ручку, тем удобнее могла занимать место цветочной вазы. Утреннее солнце, столь же свежее и улыбающееся, как и то, лучи которого проникали в цветущее жилище первой четы людей, пробиваясь сквозь ветви груши, освещало стол, на котором приготовлено было три прибора: один для Гефсибы, другой для Фиби… для кого же третий?

Гефсиба, бросив последний хозяйственный взгляд на стол, взяла Фиби за руку дрожащею рукою. Она вспомнила, как во время приготовления этого таинственного завтрака она была сурова и раздражительна с Фиби, и решилась, видно, вознаградить ее за это особенным выражением ласки.

— Не осуди меня за мое беспокойство и нетерпеливость, милое дитя мое, — сказала она, — я люблю тебя, Фиби, несмотря на резкость моих слов.

— Милая кузина, не можете ли вы сказать мне, кто к вам приехал? — спросила Фиби с улыбкою, близкой к слезам. — Почему вы так встревоже-

ны?

— Тише, тише! Он идет, — проговорила Гефсиба, поспешив вытереть глаза. — Пускай он увидит сперва тебя, Фиби, потому что ты молода и твои щечки свежи, как эти розы; улыбка играет на твоем лице против твоей воли. Он всегда любил смеющиеся лица. Мое теперь уже старо, слезы мои едва только обсохли, он никогда не мог выносить слез. Задерни немножко занавеску так, чтобы тень покрыла ту часть стола, где он сядет, но пускай, однако, светит и солнце! Он никогда не любил темноты, а сколько было мрачных дней в его жизни! Бедный Клиффорд…

Она еще произносила потихоньку эти слова, которые как будто были обращены к ее собственному сердцу, нежели к Фиби, когда в коридоре послышался шум. Фиби узнала шаги, которые были слышны с лестницы ночью во время ее полусна. Приближавшийся к ним гость, кто бы он ни был, остановился, как казалось, на верхних ступеньках лестницы; он остановился еще раза два, спускаясь ниже; остановился еще раз и в самом низу лестницы. Всякий раз он делал это, по-видимому, не умышленно, но скорее оттого, что он забывал цель, которая привела его в движение, или как будто ноги его невольно

останавливались, потому что побудительная причина была слишком слаба для поддерживания их движения. Наконец он сделал длинную паузу у порога комнаты. Он взялся сперва рукой за скобку двери, потом выпустил ее, повернув только слегка. Гефсиба с конвульсивно сжатыми руками смотрела на дверь.

— Милая кузина Гефсиба, не смотрите, пожалуйста, так страшно! — сказала, дрожа, Фиби, потому что волнение ее кузины и эти таинственные шаги производили на нее такое действие, как будто в комнату готово было явиться привидение. — Вы, право, пугаете меня! Неужели случилось что-нибудь ужасное?

— Тише! — прошептала Гефсиба. — Будь как можно веселее, что бы ни случилось, не теряй веселости!

Окончательная пауза у порога тянулась так долго, что Гефсиба, не будучи в силах выносить ее дольше, подошла к двери, отворила ее и ввела незнакомца за руку. Фиби увидела перед собой пожилого мужчину в старомодном шлафроке из полинялой камки и с седыми, можно сказать, почти белыми, необыкновенной длины, волосами, которые почти совсем закрывали его лоб, пока он не откинул их назад, обводя неопределенным

взором комнату. Всмотревшись в его лицо, она легко поняла, что остановки его происходили от той неопределенности цели, с которой ребенок совершает первые свои путешествия по полу. Ничто не обнаруживало в нем недостатка физических сил для твердого и решительного шага. Причина его немочи заключалась в душе. Впрочем, в выражении его лица все-таки просвечивал ум, только это выражение было так неопределенно, так слабо, что с каждой минутой готово было исчезнуть и никогда не возвратиться. Это было пламя, мелькающее на полупогасших головнях; мы всматриваемся в него внимательнее, нежели если б оно было положительным пламенем, сильно взлетающим кверху, — внимательнее, но с некоторым нетерпением, чтоб оно или засверкало удовлетворительным блеском, или совсем погасло.

Войдя в комнату, гость стоял с минуту на одном месте, держась инстинктивно за руку Гефсибы, как ребенок держится за руку взрослого, который ведет его. Он, однако, заметил Фиби и, по-видимому, был приятно поражен ее юным и прелестным видом, который в самом деле разливал в комнате веселость, подобно тому, как стоявшая на солнце стеклянная кружка с цветами рассыпала вокруг

себя отраженные лучи его. Он поклонился ей, или, говоря вернее, сделал неудачную попытку поклониться. При всей, однако, неопределенности этой учтивости она выражала идею о какой-то невыразимой грации — или, по крайней мере, намекала на нее, — которой не может дать человеку никакая практика в поверхностном обращении с людьми. Она была слишком неуловима для минуты своего явления, но позднее, в воспоминании Фиби, преобразовывала всю наружность этого человека.

— Милый Клиффорд, — сказала Гефсиба тоном, каким обыкновенно обращаются к избалованным детям, — это наша кузина Фиби — маленькая Фиби Пинчон, единственная дочь Артура, как вы знаете. Она приехала из деревни погостить к нам, потому что наш старый дом сделался уже слишком безлюдным.

— Фиби?.. Фиби Пинчон?.. Фиби? — повторял гость странным, медленным, нетвердым выговором. — Дочь Артура! Ах, я позабыл! Нужды нет — я очень рад!

— Садитесь здесь, милый Клиффорд, — сказала Гефсиба, подводя его к креслу. — Фиби, потрудись приподнять немножко штору. Теперь будем завтракать.

Гость сел на назначенном для него месте и посмотрел со странным видом вокруг. Он, очевидно, старался освоиться с предстоявшею ему сценой и понять ее яснее. По крайней мере, он желал удостовериться, что он находится здесь, в низкой комнате с потолком, пересеченным несколькими перекладинами, и с обложенными дубом стенами, а не в другом месте, которое отпечаталось навеки в его чувствах. Но этот подвиг был для него так труден, что он мог преуспеть в нем только отчасти. Можно сказать, что он исчезал беспрестанно со своего места, или, другими словами, что ум и сознание его улетали, оставляя за столом только истощенную, поседевшую и печальную фигуру — вещественную пустоту, физический призрак. После некоторого промежутка в его глазах опять показывался слабый свет, доказывая, что духовная часть существа его возвратилась и силится зажечь домашний очаг сердца, засветить умственную лампаду в темноте разрушенного дома, в котором она осуждена вести заброшенную, отчужденную от мира жизнь.

В один из этих моментов не столь онемелого, но все-таки неполного одушевления Фиби убедилась в мысли, которую она сперва отвергала как слишком нелепую и невозможную. Она увидела,

что сидевший перед ней человек должен был быть оригиналом прекрасной миниатюры, хранящейся у ее кузины Гефсибы. Действительно, с тонкой женской разборчивостью относительно костюмов она тотчас нашла, что его камчатный шлафрок — по виду, материалу и моде — был тот самый, который с такой отчетливостью представлен на портрете. Это старое, полинялое платье, потерявшее весь свой прежний блеск, казалось, говорило каким-то особенным языком, для которого нет названия, о тайном бедствии своего хозяина. По этому внешнему типу можно было лучше определить, как изношена, как ветха была непосредственная одежда души его — это тело и это лицо, красота и грация которого почти превосходили искусство самого тонкого художника, — можно было узнать, что душа этого человека, должно быть, поражена была в жизни каким-то страшным ударом. Он сидел здесь как бы под мутным покрывалом разрушения, которое отделяло его от мира, но сквозь которое в мгновенных промежутках можно было уловить то же самое выражение, столь тонкое, столь нежно-мечтательное, какое Мальбон, применив с замиранием сердца счастливый прием своего искусства, сообщил миниатюре! В его взгляде

было нечто столь внутренне характерное, что ни мрачные годы, ни тяжесть ужасного, обрушившегося на него бедствия не в состоянии были совершенно уничтожить этого выражения.

Гефсиба налила чашку восхитительно благоухающего кофе и подала гостю. Встретившись с нею глазами, он, казалось, пришел в какое-то забытье и смущение.

— Это ты, Гефсиба? — проговорил он невнятно, потом продолжал, как бы не замечая, что его слышат: — Как переменилась! Как переменилась! И недовольна за что-то мной. Почему она так хмурит брови?

Бедная Гефсиба! Это был тот несчастный нахмуренный взгляд, который от времени, от ее близорукости, от постоянного беспокойства сделался у нее столь обыкновенным, что всякое волнение души обязательно вызывало его. Но неясные звуки этих слов оживили в ее душе какое-то грустное чувство любви, и оно придало всему лицу ее более нежное и даже приятное выражение. Черствость ее физиономии уничтожена была теплым и ярким сиянием души.

— Недовольна! — повторила она. — Недовольна вами, Клиффорд!

Тон, которым она произнесла это восклицание,

имел жалобную и действительно музыкальную мелодию, без примеси того, что грубый слушатель назвал бы жесткостью, как будто какой-нибудь превосходный музыкант извлек сладостный, потрясающий душу звук из разбитого инструмента, физический недостаток которого слышен посреди духовной гармонии, — так глубока была чувствительность, выразившаяся в голосе Гефсибы!

— Здесь, напротив, все вас только любят, — прибавила она, — и никакого другого чувства! Вы у себя дома!

Гость отвечал на ее тон улыбкой, которая не осветила и половины его лица. Но как ни была она слаба и мимолетна, она была запечатлена очарованием дивной красоты. За нею следовало более грубое выражение лица… или то, которое казалось грубым на этих нежных чертах, потому что не было смягчено умственным светом. Это было выражение аппетита. Он принялся за предложенный ему завтрак, можно сказать, почти с жадностью и, казалось, позабыл и самого себя, и Гефсибу, и молодую девушку, и все, что окружало его в том чувственном наслаждении, которое доставлял ему обильный завтрак. В физической его системе, несмотря на изящное и тонкое ее

устройство, склонность к услаждению аппетита, вероятно, преобладала над прочими привычками. Впрочем, она бы могла быть удержана в должных пределах и уступить место другим, более достойным побуждениям, если бы его более духовные свойства сохранили свою силу. Но при настоящем положении дел эта склонность проявлялась в таком тягостном для наблюдателя виде, что Фиби должна была потупить взор.

Скоро обоняния гостя коснулся запах еще неначатого кофе, и он принялся пить его с наслаждением. Ароматная эссенция действовала на него как волшебный напиток. Темная субстанция его существа сделалась прозрачной — по крайней мере, в такой степени, что духовный свет теперь просвечивал сквозь нее яснее, нежели прежде.

— Больше, больше! — вскричал он нервно, как бы боясь упустить что-то от него ускользавшее. — Вот что мне нужно! Дайте мне больше!

В это время стан его несколько выпрямился и глаза приняли выражение, по которому видно было, что они замечали предметы, на которых останавливались. Они, впрочем, не оживились настолько, чтобы в них высказывался ум, нет! не будучи вовсе чужд их выражению, он, однако, не составлял его особенности. То, что мы называем

нравственной натурой, не было еще пробуждено в Клиффорде до ясных признаков. Это было только какое-то несколько высшее чувство, не доведенное до полной *своей* силы и обнаруживавшееся изменчиво и слабо, — чувство восприятия впечатлений красоты и веселости. Составляя главную принадлежность некоторых натур, оно обнаруживает в них изящный от природы вкус и завидную расположенность к счастью. Красота делается жизнью такой натуры; к ней одной направлены все ее стремления, и если только физические органы ее находятся в гармонии с этим чувством, то и сама она развивается прекрасно. Такой человек не должен знать горестей, ему не с чем бороться, для него не существуют мучения, ожидающие в бесконечно разнообразном виде тех, у кого достает духу, достает воли и сознания для борьбы с жизнью. Для этих исключительных характеров такие мучения и составляют лучший из даров жизни, но для существа, на которое устремлено в настоящую минуту наше внимание, они были бы только горестями, были бы только небесной карой.

Не унижая нисколько его достоинств, мы думаем, что Клиффорд был одарен натурой сибарита. Это можно было заметить в постоянном вле-

чении его глаз к волнующемуся солнечному свету, который пробивался сквозь густоту ветвей в старинную, мрачную комнату. Это было видно по тому, как он смотрел на кружку с розами, запах которых вдыхал с наслаждением, свойственным физической организации, до того чувствительной, что духовная часть человека как бы распускается в ней. Это обнаруживалось в бессознательной улыбке, с какой он смотрел на Фиби, свежий, девственный образ которой был слиянием солнечного сияния с цветами или же сущностью того и другого в более прекрасном, более привлекательном проявлении. Не менее была очевидна эта любовь к прекрасному, эта жажда красоты и в инстинктивной осторожности, с которой уже и теперь глаза его отвращались от хозяйки и скорее блуждали по сторонам, нежели возвращались назад. Виноват в этом был не Клиффорд, виновата была несчастная судьба Гефсибы. Как мог он — при этой желтизне ее лица, при этой жалкой, печальной мине, при этом безобразии страшного тюрбана, украшавшего ее голову, и при этих нахмуренных бровях — находить удовольствие в том, чтобы смотреть на нее? Но неужели он не выразил никакой любви к ней за столько нежности, которую она расточала

ему молчаливо? Да, никакой. Такие натуры, как у Клиффорда, чужды всех в этом роде ощущений. Они всегда бывают эгоистичны в своей сущности, и напрасно от них требовать перерождения. Бедная Гефсиба постигала это или, по крайней мере, действовала инстинктивно. Клиффорд был так долго удален от всего, что манит сердце, и она радовалась — радовалась, по крайней мере, в настоящую минуту, хотя с тайным намерением поплакать после в своей комнате, — что у него перед глазами более привлекательные предметы, нежели ее старое, некрасивое лицо. Оно никогда не было прелестно, а если бы и было, то червь ее горести о нем давно бы уже разрушил его прелесть.

Гость оперся на спинку своего стула. В его лице выражалось как бы чувствуемое во сне удовольствие вместе с каким-то усилием и беспокойством. Он старался уразуметь яснее окружающие его предметы или, может быть боясь, чтоб это был не сон или игра воображения, с усилием удерживал прекрасное мгновение перед глазами души, вынуждая его к еще большему блеску и продолжительности.

— Прелесть! Восхитительно! — говорил он, не обращаясь ни к кому. — Неужели это останется?

Какой живительный воздух льется в это окно! Открытое окно! Как хороша эта игра солнца! А цветы как пахнут! Какое веселое, какое цветущее лицо у этой молодой девушки! Это — цветок, окропленный росою, и солнечные лучи на росе! Ах, все это, может быть, сон!.. Сон! Сон! Но он совершенно скрыл четыре каменные стены!

Тут его лицо омрачилось, как будто на него пала тень пещеры или тюрьмы. В его выражении было теперь не больше света, чем могло бы проникнуть сквозь железную решетку темницы, да и того становилось все меньше и меньше, как будто сам он с каждой минутой глубже и глубже погружался в пропасть. Фиби, одаренная живостью и деятельностью характера, при которой она редко могла удерживать себя долго, чтоб не принять участия в том, что должно идти вперед, почувствовала теперь сильное желание поговорить с незнакомцем.

— Вот новый сорт роз, который я нашла в саду сегодня утром, — сказала она, выбирая из букета небольшой красный розан. — В этом году их будет пять или шесть на кусте. Это самый лучший розан. А как он пахнет! Как ни одна роза! Невозможно забыть этот запах!

— Ах! Покажите мне! Дайте мне! — вскричал

гость, быстро схватив цветок, который своим запахом, как волшебной силой, пробудил в нем много других воспоминаний, соединенных с этим ощущением. — Благодарю вас! Он доставляет мне большое удовольствие. Я помню, как я восхищался этим цветком… давно уже, я думаю, очень давно! Или это было только вчера? Он заставляет меня чувствовать себя снова молодым! Неужели я снова молодой? Или воспоминание это необыкновенно во мне ясно, или сознание чрезвычайно темно! Но как добра эта молодая девушка! Благодарю вас! Благодарю вас!

Благодетельное возбуждение, произведенное маленькой красной розой, предоставило Клиффорду самый светлый момент, каким только он наслаждался за завтраком. Этот момент мог бы продлиться больше, если б его глаза случайно не остановились на лице старого пуританина, который смотрел на сцену из своих потемневших рам и с матового полотна, как дух, и притом самый злой и угрюмый дух. Гость сделал нетерпеливое движение рукой и обратился к Гефсибе таким тоном, в котором ясно высказывалась своенравная раздражительность человека, за которым все ухаживают в семействе.

— Гефсиба! Гефсиба! — кричал он довольно

громко и выразительно. — Почему ты оставляешь этот ненавистный портрет на стене? Да, да! Это именно в твоем вкусе! Я говорил тебе тысячу раз, что он злой гений нашего дома! И мой злой гений в особенности! Сними его тотчас!

— Милый Клиффорд, — сказала печально Гефсиба, — вы знаете, что я не могу этого сделать.

— Если так, — продолжал он говорить все еще с некоторой энергией, — то прошу тебя, закрой его хоть красной занавесью, длинною, чтоб висела складками, с золотыми краями и кистями. Я не могу терпеть его! Пускай он не смотрит мне в глаза!

— Хорошо, милый Клиффорд, я закрою портрет, — сказала Гефсиба успокаивающим голосом. — Красная занавесь в сундуке под лестницей немножко полиняла и попортилась от моли, но мы с Фиби чудесно ее исправим.

— Сегодня же, не забудь! — сказал он и потом прибавил тихим, обращенным к себе голосом: — И зачем нам жить в этом несчастном доме? Почему не переселиться в Южную Францию? в Италию? в Париж, Неаполь, Венецию, Рим? Гефсиба скажет, что у нас нет средств. Какая глупая мысль!

Он засмеялся и бросил на Гефсибу взгляд, кото-

рым хотел выразить тонкий сарказм.

Но испытанное им в течение такого короткого времени волнение разных чувств, как ни слабо они высказывались, очевидно, его изнурило. Он, вероятно, привык к печальному однообразию жизни, которая не столько протекала ручьем — и то очень ленивым, — сколько скапливалась в лужу вокруг его ног. Покрывало усыпления опустилось на его лицо и произвело свое действие на его от природы нежные и изящные черты, подобное тому, какое густая мгла, не проникнутая ни одним солнечным лучом, производит на выразительность пейзажа. Они как будто сделались крупнее и даже грубее. Если до сих пор в этом человеке поражала наблюдателя интересная наружность или красота — пусть даже разрушенная красота, — то теперь он мог бы усомниться в собственном чувстве и приписывать только игре воображения некоторую грацию, оживлявшую это неподвижное лицо, и какой-то чудный блеск, игравший в этих мутных глазах.

Прежде, однако, нежели Клиффорд совершенно погрузился в онемение, из лавочки раздался резкий звон колокольчика и так неприятно поразил слуховые органы Клиффорда и отличавшую его чувствительность нервов, что он вскочил со

своего кресла.

— Боже мой, Гефсиба! Что за ужасная суматоха у нас в доме? — вскричал он, изливая свою нетерпеливую досаду по старой привычке на единственную особу в мире, которая любила его. — Я никогда не слыхал такого отвратительного звяканья! Почему ты позволяешь это? Но что бы это значило?

Эта, по-видимому, пустая досада выставила вдруг чрезвычайно рельефно характер Клиффорда — как будто тусклый портрет вдруг соскочил со своего полотна. Дело в том, что человек его темперамента всегда высказывается яснее со стороны своего чувства прекрасного и гармонического, нежели со стороны сердца. Весьма возможно — подобные примеры случались часто, — что если бы Клиффорд в своей прошедшей жизни получил возможность образовать свой вкус до высшего совершенства, то эта важная принадлежность вкуса могла бы до сих пор совершенно истребить или подавить его привязанности. Не имеем ли мы права после этого сказать, что его долгое и мрачное бедствие, по крайней мере, несколько искупило его вину?

— Милый Клиффорд, я бы желала не допустить этого звонка до вашего слуха, — сказала Гефсиба

терпеливо, но покраснев от тягостного прилива стыда. — Он даже для меня очень неприятен. Но знаете ли, Клиффорд, я хочу что-то сказать вам. Этот противный звонок — поди, пожалуйста, Фиби, посмотри, кто там, — этот противный звонок не что иное, как колокольчик нашей лавочки.

— Лавочки! — повторил Клиффорд, глядя на нее с недоумением.

— Да, нашей лавочки, — сказала Гефсиба, и какое-то природное достоинство, смешанное с глубоким волнением, выразилось в ее наружности. — Надобно вам знать, милый Клиффорд, что мы очень бедны. Нам не оставалось другого средства к существованию, как только принять пособие от руки, которую бы я оттолкнула — так же, как и вы! — если бы она мне подавала хлеб даже в то время, когда бы я умирала с голоду. Я должна была или принять от него помощь, или снискать средство к существованию собственными руками! Одна я могла бы голодать, но вас обещали прислать ко мне! Неужели после этого, милый Клиффорд, — прибавила она с жалобной улыбкой, — вы можете думать, что я навлекла неизгладимый позор на старый дом, открыв в нем мелочную лавочку?! Наш прапрадед сделал то же самое, нуждаясь гораздо меньше нас! Не-

ужели вы станете стыдиться меня?

— Стыд! Позор! И ты можешь говорить мне эти слова, Гефсиба? — воскликнул Клиффорд, впрочем, без сердца, потому что если душа человека совершенно подавлена, то он сердится за ничтожные обиды, но никогда не оскорбляется на важные. Так и Клиффорд продолжал лишь с грустным чувством: — Можно ли тебе говорить это, Гефсиба? Какой стыд могу я теперь испытывать?

И бедный человек, рожденный для наслаждения, но встретивший такую жалкую участь, в припадке нервного расстройства начал рыдать, как женщина. Впрочем, слезы продолжались недолго; он успокоился и, судя по его лицу, сделался гораздо веселее. Это чувство также продолжалось только минуту и сменилось другим. Он посмотрел на Гефсибу с полуиронической улыбкою, причина которой осталась для нее загадкой.

— Неужели мы так бедны, Гефсиба? — спросил он.

Кресло его было глубоко и мягко, и он почти в ту же минуту погрузился в сон. Вслушиваясь в довольно правильное его дыхание (которое, впрочем, было похоже на какой-то слабый тре-

пет, соответствовавший недостатку силы в его характере), Гефсиба воспользовалась этой минутой, чтобы рассмотреть внимательнее его лицо, чего она до сих пор не осмеливалась делать. Сердце ее обливалось теперь слезами; глубокая грусть высказывалась в стенающем голосе, тихом и кротком, но невыразимо печальном. Под влиянием этого глубокого горя и сострадания она чувствовала, что нет никакой непочтительности в том, чтобы смотреть на его изменившееся, постаревшее, побледневшее, поплывшее лицо. Но едва она устремила на него внимательный взгляд, как уже совесть начала упрекать ее в том, что она рассматривает его с любопытством теперь, когда оно так переменилось. Поспешно отвернувшись, Гефсиба опустила штору на освещенном солнцем окне и села к Клиффорду спиною.

Глава VIII
Современный Пинчон

Фиби, войдя в лавочку, увидела там знакомое уже ей лицо маленького истребителя — не знаем, в состоянии ли мы будем исчислить все его жертвы, — негра Джим-Кро, слона, нескольких

верблюдов и локомотива. Растратив все свое состояние за два предыдущих дня на неслыханные наслаждения, он теперь явился по поручению своей матери и спросил два яйца и полфунта изюму. Фиби подала ему эти покупки и, в знак благодарности за его первоначальное покровительство новой торговле, дала ему кита в прибавку к сегодняшнему его завтраку. Огромное морское чудовище немедленно было отправлено той же дорогой, что и предшествующий ему разнообразный караван. Этот замечательный мальчуган был настоящею эмблемой времени, как в отношении своего всепожирающего аппетита, не щадившего ни людей, ни вещей, так и в том отношении, что он, подобно времени, поглотив столько сотворенного, казался все-таки юношей, молодцом.

Затворив за собой до половины дверь, мальчик обернулся назад и пробормотал что-то Фиби, но так как часть кита находилась еще у него во рту, она не могла вполне понять его.

— Что ты говоришь, дружок мой? — спросила она.

— Матушка велела узнать, — повторил Нед Гиггинс более внятно, — каково здоровье брата старой девицы Пинчон? Говорят, что он воротил-

ся домой.

— Брат моей кузины Гефсибы! — воскликнула Фиби, удивленная этим внезапным объяснением родства между Гефсибой и ее гостем. — Ее брат? А где он был?

Мальчик приложил только указательный палец к своему широкому, вздернутому носу с тем видом озорного лукавства, который ребенок, проводящий много времени на улице, так рано приучается придавать своему лицу, как бы оно ни было само по себе невыразительно; и так как Фиби продолжала смотреть на мальчугана, не давая ответа на вопрос его матери, он отправился домой.

Когда он спускался со ступенек, по ним поднялся какой-то джентльмен и вошел в лавочку. Это был дородный мужчина, выше среднего роста, довольно уже пожилой, в черном платье из тонкой материи, очень похожей на сукно. Палка из редкого восточного дерева, с золотым набалдашником, безукоризненной белизны воротнички и превосходно вычищенные сапоги придавали его наружности значительный вид. Смуглое, четырехугольное лицо его, с почти мохнатыми бровями, было от природы выразительно и сделалось бы, может быть, очень суровым, если

бы он не позаботился благоразумно о смягчении его действия чрезвычайно добродушным и благосклонным взглядом. Тонкий наблюдатель прочел бы в этом взгляде очень мало настоящей душевной доброты, которую он предназначен был выражать.

Когда незнакомец вошел в лавочку, в которой выступ второго этажа и густые листья вяза вместе с расставленными на окне товарами производили род сумерек, улыбка его засияла так сильно, как будто он всеми силами старался противодействовать воздушной мгле (не говоря уже о мгле моральной, покрывавшей Гефсибу и ее жильцов) самостоятельным светом своей физиономии. Увидев молодую, цветущую как роза девушку вместо худощавой старой девы, он, видимо, был удивлен и сперва сдвинул брови, потом улыбнулся с более лучезарной благосклонностью, нежели когда-либо.

— А, вот оно как! — сказал он глубоким голосом, который если бы вышел из горла человека необразованного, то был бы выражением грубости, но от тщательной обработки сделался довольно приятен. — Я не знал, что мисс Гефсиба Пинчон начала свою торговлю с таким благоприятным предзнаменованием. Вы, я полагаю, ее помощ-

ница?

— Точно так, — ответила Фиби и прибавила с некоторым видом достоинства, потому что джентльмен, при всей своей учтивости, очевидно, принимал ее за молодую особу, служащую за жалованье: — Я кузина мисс Гефсибы и гощу у нее.

— Кузина? Не из деревни ли? Так извините меня, — сказал джентльмен, кланяясь и улыбаясь, как никогда еще никто не кланялся и не улыбался Фиби. — В таком случае мы должны познакомиться поближе, потому что, если только я не ошибаюсь самым печальным образом, вы также и моя родственница! Позвольте… Мери?.. Лолли?.. Фиби… да, именно Фиби! Возможно ли, чтоб вы были Фиби Пинчон, единственное дитя моего милого кузена и соученика Артура? О да! Я вижу по вашим губкам, что это был ваш отец. Да, да! Мы должны поближе познакомиться! Я ваш родственник, моя милая. Верно, вы слыхали о судье Пинчоне?

Когда Фиби присела в ответ на его вопрос, судья наклонился вперед с простительным и даже похвальным намерением, если принять во внимание близость родства и различие лет, и поцеловал свою молодую кузину в знак естествен-

ной родственной расположенности. К несчастью — без намерения или с тем инстинктивным намерением, которое не отдает уму никакого отчета, — Фиби в эту критическую минуту отступила назад, так что ее достопочтенный родственник со своим наклоненным над конторкой телом и вытянутыми губами очутился в странном положении человека, целующего воздух. Он представлял новейшее подобие Иксиона, обнимающего облако, и был тем смешнее, что гордился обыкновенно своею нерасположенностью ко всему воздушному и никогда не принимал призрака предмета за сам предмет. Дело в том — и это одно извиняет Фиби, — что хотя благосклонность судьи Пинчона и не была совершенно неприятна для женских глаз на расстоянии ширины улицы или даже обыкновенного пространства комнаты, но делалась чересчур поразительна, когда эта смуглая физиономия, поросшая жесткой бородою, которую не могла соскоблить с нее никакая бритва, хотела прийти в действительное соприкосновение с предметом своих взглядов. Фиби опустила глаза и, не зная почему, почувствовала, что сильно краснеет от его взгляда, хотя прежде она переносила без особенной щекотливости поцелуи, может быть, полудюжины кузенов, из

которых одни были моложе, а другие старее этого чернобрового, седобородого, щеголеватого и благосклонного судьи! Почему же она не позволила ему поцеловать себя?

Подняв глаза, Фиби была удивлена переменой в лице судьи Пинчона. Она была так разительна, как между пейзажем, озаренным полным сиянием солнца, и пейзажем перед наступлением бури. В этом лице не было страстной напряженности последнего вида, но оно было холодно, жестко, неумолимо, как туча, скапливавшаяся целый день.

«Боже мой! Что теперь будет? — подумала деревенская девушка. — Он смотрит так, как будто он не мягче утеса и не снисходительнее восточного ветра! Я не хотела его обидеть. Если он действительно мой кузен, то я готова позволить ему поцеловать меня».

В то же самое время Фиби с удивлением увидела, что этот самый судья Пинчон был оригиналом миниатюры, которую показывал ей дагеротипист в саду, и что жесткое, суровое, безжалостное выражение его лица было тем самым, которое солнце выставляло с таким упорством. Следовательно, это было не минутное расположение души, но постоянный, только искусно скрывае-

мый его темперамент.

Но едва глаза Фиби остановились снова на лице судьи, как вся его неприятная суровость исчезла для нее, и она почувствовала всю силу его знойной, как каникулярные дни, благосклонности.

— Прекрасно, кузина Фиби! — вскричал он с выразительным жестом одобрения. — Превосходно, маленькая моя кузина! Вы доброе дитя и умеете о себе заботиться. Молодая девица, особенно если она так хороша собой, должна быть очень скупа на поцелуи.

— Право, сэр, — сказала Фиби, стараясь обратить в шутку этот случай, — я не хотела быть суровою.

Впрочем, потому ли, что их знакомство началось так неудачно, или по другой причине она все-таки обходилась с судьей, соблюдая некоторую осторожность, что вовсе не было свойственно ее открытой и умной натуре. Она не могла освободиться от странной мысли, что ее предок-пуританин, о котором она слышала столько мрачных преданий, родоначальник всего поколения новоанглийских Пинчонов и основатель Дома о Семи Шпилях, скончавшийся в нем так загадочно, — что этот пуританин явился теперь собственной персоной в лавочку. В наше

быстрое на переодевания время это нетрудно было бы устроить. Когда он вернулся с другого света, ему стоило только провести четверть часа у цирюльника, который бы тотчас превратил его густую пуританскую бороду в пару серых бакенбард, потом, сбегав в магазин готового платья, переменил бы свой бархатный камзол и черный плащ с богато вышитой фрезой на белые воротнички и галстук, на фрак, жилет и панталоны, наконец, отбросив оправленную в сталь шпагу, взял бы палку с золотым набалдашником, и полковник Пинчон, живший за два столетия до нас, выступил бы современным нам судьей.

Но Фиби имела столько ума, что могла допускать эту мысль не иначе, как только для шутки. Кроме того, если бы оба Пинчона явились перед ней вместе, то она заметила бы между ними много разницы и нашла бы только некоторое сходство. Длинный ряд лет в климате, столь непохожем на тот, в котором вырос предок, должен был неизбежно произвести значительные перемены в физическом строении потомков. Судья едва ли мог сравниться с полковником объемом тела. Хотя он считался полновесным мужчиной между своими современниками и был очень развит в физическом отношении, однако

ж мы думаем, что если бы взвесить нынешнего судью Пинчона на одних весах с его предком, то надобно было бы прибавить по крайней мере одну старинную гирю в пятьдесят шесть фунтов, чтобы привести чашки в равновесие. Лицо судьи потеряло багровый английский цвет, который так сильно пробивался сквозь загар закаленных бурями щек полковника, и приняло бледно-желтый оттенок, характеризующий комплекцию его соотечественников. Сверх того, если мы не ошибаемся, в этом твердом образчике потомка пуританина более или менее начала уже проявляться некоторая нервозность. Она, между прочим, сообщала его лицу гораздо более подвижности и живости, в ущерб какому-то выражению грубой силы, на которое эти свойства действовали, как разлагающие кислоты… Судья Пинчон преуспел в утонченности вместе с другими людьми столетием или двумя далее.

В умственном и нравственном отношениях судья был похож на своего предка, по крайней мере настолько, насколько можно заключить по сходству выражения и очертаний их лиц. В старинном надгробном слове, о котором мы уже упоминали, оратор решительно превозносил своего усопшего прихожанина. На его намогиль-

ном памятнике также начертана восторженная эпитафия, и сама история, дав ему место на своих страницах, не отвергает в нем твердости и возвышенности характера. Равным образом и в отношении к современному нам судье Пинчону ни публичный оратор, ни сочинитель эпитафий, ни историк общих или местных политических событий — никто не решился бы произвести строгий суд против его добросовестности, как христианина, или достоинства, как человека, или справедливости, как судьи, или храбрости и верности, как представителя его политической партии. Но независимо от холодных, формальных и пустых слов резца, который начертывает эпитафию, голоса, который произносит речи, и пера, которое пишет для современников и потомства, которые неизбежно теряют много своей истины от рокового сознания своей публичности, о предке остались предания, а о судье велись домашние повседневные толки, поразительно согласные в своих показаниях. Часто взгляд женщин, частных лиц и слуг на общественного человека бывает весьма поучителен, и ничего нет интереснее огромной разницы между портретами, назначенными для гравировки, и эскизами, которые переходят из рук в руки за спиной оригинала.

Например, предание утверждало, что пуританин был склонен к обогащению; о судье также — при всей наружной его щедрости — говорили, что он так цепок на руку, как будто она у него была сделана из железа. Предок принимал на себя вид грубой доброты и жесткой сердечности слов и обращения, которые большая часть людей почитали врожденной добротой его натуры, пробивавшейся сквозь плотную, негибкую оболочку мужественного характера. Потомок, сообразно с требованиями более утонченного века, преобразовал эту грубую доброту в великолепную улыбку благосклонности, которой он сиял, как полуденное солнце на улицах, или как веселый огонь камина в гостиных своих близких знакомых. Пуританин — если только верить некоторым старинным историям, которые до сих пор не перестали рассказываться, — поддавался некоторым нежным увлечениям. В отношении к судье мы не должны пятнать своих страниц подобными толками, которые, пожалуй, также можно там и сям слышать. Далее, пуританин, самовластный господин у себя в доме, был женат на трех женщинах и одной только равнодушной жесткостью своего тяжелого характера в супружеских отношениях отправил их в могилу. Здесь,

впрочем, параллель между ними некоторым образом нарушается. Судья был женат на одной только женщине и потерял ее на третьем или на четвертом году после заключения брака. Ходила, впрочем, басня — мы принимаем ее за басню, хотя, пожалуй, и она могла бы характеризовать супружескую жизнь судьи Пинчона, — что смертельный удар был нанесен бедной леди вскоре после свадьбы и что она никогда уже не была весела, потому что муж заставлял ее приносить ему в постель кофе каждое утро.

Но фамильное сходство представляет предмет неисчерпаемый, и нет возможности перечислить всех его оттенков, переходивших по прямой линии от множества предков, на протяжении каких-нибудь двух столетий. Прибавим только, что пуританин — по крайней мере, так утверждают прикаминные предания, часто сохраняющие черты характера с удивительной верностью, — был смел, властолюбив, неутомим, мужествен; что он закладывал глубоко в сердце основание своих намерений и преследовал их с постоянством, не знавшим ни отдыха, ни угрызений совести; что он попирал ногами слабого и, если это было нужно для достижения цели, готов был решиться на все, чтоб побороть сильного. Похож ли был на

него судья в этом отношении, читатель увидит из дальнейшего нашего рассказа.

Едва ли хоть одна из этих параллелей была известна Фиби. Родившись и выросши в деревне, она была воспитана в незнании большей части фамильных преданий относительно Дома о Семи Шпилях. Но одно обстоятельство, неважное само по себе, поразило ее страхом. Она слыхала о проклятии, которое Моул, казненный колдун, послал со своего эшафота полковнику Пинчону обещание, что напоит его кровью, и знала о простонародном толке, будто бы эта кровь время от времени урчит в горле у Пинчонов. Обладая здравым смыслом и, главное, происходя из рода Пинчонов, Фиби считала эту последнюю басню нелепостью, какой она и была в действительности. Но старые суеверные предания, укоренившиеся в человеческом сердце, переходя от уст к слуху в многочисленных повторениях через целый ряд поколений, производят на нас сильное действие. Они мало-помалу проникаются дымом домашнего очага и, передаваясь долго из рода в род между прочими домашними фактами, принимают наконец их физиономию и до такой степени делаются неразлучными с домом, что производят гораздо больше внима-

ния, нежели мы подозреваем. Поэтому-то, когда Фиби услышала урчанье в горле у судьи Пинчона, которое было у него весьма обыкновенно, и хотя происходило непроизвольно, но не показывало ничего особенного, кроме разве некоторого несовершенства горла или, как некоторые полагают, расположения к апоплексии, — когда молодая девушка услышала это странное и неприятное урчанье, которого автор никогда не слыхал и потому не может описать, она выпучила на него глаза с глупым видом и всплеснула руками.

Со стороны Фиби было весьма смешно смутиться от такой безделицы и непростительно обнаружить свое смущение перед человеком, которого эта безделица касалась ближе всех. Но этот казус так странно согласовался с прежними ее понятиями о полковнике и судье, что в эту минуту он показался ей совершенно тождественным с ними.

— Что с вами, моя милая? — сказал судья Пинчон, бросая на нее один из своих жестких взглядов. — Вы чего-то испугались?

— О, ничего, сэр, ничего совершенно! — отвечала Фиби с улыбкой досады к самой себе. — Но, может быть, вы желаете говорить с моей кузиной Гефсибой? Прикажете позвать ее?

— Обождите минутку, сделайте одолжение, — сказал судья, призвав опять солнечное сияние на свое лицо. — Вы, кажется, немножко расстроены сегодня. Городской воздух, кузина Фиби, не совсем соответствует вашим прекрасным, полезным для здоровья привычкам. Или вас что-нибудь встревожило? Что-нибудь особенное в семействе кузины Гефсибы? Приезд, э? Я догадываюсь! Ничего нет удивительного в этом, моя маленькая кузина. Жизнь в одном доме с таким гостем может, конечно, встревожить невинную молодую девушку!

— Вы говорите совершенными для меня загадками, сэр, — отвечала Фиби, глядя вопросительно на судью. — В доме нет никакого ужасного гостя, кроме бедного, кроткого, похожего на ребенка человека, должно быть, брата кузины Гефсибы. Боюсь только — вы это должны знать лучше меня, сэр, — что он не в полном рассудке; но он, по-видимому, так кроток и спокоен, что мать могла бы оставить с ним своего ребенка, и думаю, что он так играл бы с ребенком, как будто сам только пятью годами старше его. Ему меня встревожить! О нет, нимало!

— Я очень ряд слышать такой приятный и умный отзыв о моем кузене Клиффорде, — сказал

благосклонный судья. — Много лет тому назад, когда мы были оба мальчиками, а потом молодыми людьми, я очень был к нему привязан, и теперь я постоянно чувствую нежное участие ко всему, что его касается. Вы говорите, кузина Фиби, что он, по-видимому, слаб рассудком. Да дарует ему небо по крайней мере столько ума, чтоб раскаяться в своих прошедших грехах!

— Я думаю, никто, — заметила Фиби, — не имеет так мало причин каяться.

— Возможно ли, моя милая, — отвечал судья с видом сострадания, — чтобы вы никогда не слыхали о Клиффорде Пинчоне? Чтобы вам вовсе была не известна его история? Впрочем, тем лучше. Это показывает, что ваша мать имела надлежащее почтение к членам семейства, с которым она была соединена узами родства. Думайте как можно лучше об этом несчастном человеке и надейтесь на самое лучшее! Это правило, которого мы должны всегда придерживаться в своих суждениях друг о друге, а в особенности хорошо и благоразумно соблюдать его между близкими родными, характеры которых по необходимости зависят в некоторой степени взаимно один от другого. Но Клиффорд в гостиной? Я хочу видеть, в каком он состоянии.

— Может быть, лучше позвать мою кузину Гефсибу, сэр? — сказала Фиби, едва зная, должна ли она заграждать вход такому любезному родственнику во внутренние помещения дома. — Брат ее уснул после завтрака, и я уверена, что ей будет неприятно, если его разбудят. Позвольте, сэр, предуведомить ее.

Но судья обнаружил особенную решимость войти без доклада, и так как Фиби с живостью человека, движения которого бессознательно повинуются мыслям, заступила ему дорогу, он без всякой или почти без всякой церемонии отвел ее в сторону.

— Нет, нет, мисс Фиби! — сказал он голосом глубоким, как громовый гул, нахмурив брови, словно тучи. — Останьтесь здесь! Я знаю дом, знаю мою кузину Гефсибу, а также и ее брата, и потому моей миленькой деревенской кузине не следует беспокоиться и обо мне докладывать!

В этих последних словах мало-помалу обнаруживались признаки перехода от его внезапной жесткости к прежней благосклонности обращения.

— Я здесь дома, Фиби, — продолжал он, — не забывайте этого, а вы особа посторонняя. Поэтому я прямо войду, чтобы взглянуть на Клиффорда и

уверить его и Гефсибу в моих дружеских к ним чувствах и участии. В настоящую минуту им надобно слышать из моих собственных уст, как искренно я желаю служить им. А, да вот и сама Гефсиба!

В самом деле, Гефсиба показалась на пороге лавочки. Звуки голоса судьи дошли до нее во внутреннюю комнату, где она сидела, отвернувшись в сторону и наблюдая сон своего брата. Она явилась на защиту входа, глядя так страшно, как дракон, который в волшебных сказках обыкновенно сторожит очарованную красоту. Обыкновенный нахмуренный взгляд ее на этот раз был так свиреп, что не мог уже происходить от невинного действия близорукости. Она устремила его на судью Пинчона с выражением, которое должно было по крайней мере смущать, если не испугать его, настолько он был полон глубоко вкоренившейся в сердце антипатии. Она сделала отталкивающий жест рукой и остановилась как олицетворенное запрещение, вытянувшись во всю свою длину в темных рамах двери. Но мы должны выдать секрет Гефсибы и признаться, что природная боязливость ее характера обнаружилась даже и теперь в заметном трепете, который — это чувствовала она сама — приводил каждый

ее сустав в несогласие с другими.

Может быть, судья знал, как мало истинной смелости скрывается под наружностью Гефсибы. Во всяком случае, будучи джентльменом крепких нервов, он скоро оправился и не замедлил подойти к своей кузине с протянутой рукою, предприняв в то же время благоразумную предосторожность прикрыть свое наступление улыбкою, до того сияющею и знойною, что если б она была хоть вполовину так тепла, как казалась, то виноградные гроздья вдруг покраснели бы под ее действием. В самом деле, он, кажется, намерен был растопить Гефсибу тут же на месте, как будто это была статуя из желтого воска.

— Гефсиба, возлюбленная моя кузина, я в восхищении! — воскликнул судья с сильнейшим чувством. — Теперь, по крайней мере, у вас есть для чего жить. Да и все мы, ваши друзья и родные, теперь имеем новую цель в жизни. Я не хотел терять минуты, поспешив предложить вам все возможные с моей стороны пособия, чтобы доставить Клиффорду комфорт. Он принадлежит всем нам. Я знаю, как это ему нужно — как всегда это было для него нужно! — при его тонком вкусе и любви к прекрасному. Все, что у меня есть в доме — картины, книги, вино, лучшие кушанья, —

всем этим он может распоряжаться. Мне бы доставило величайшее удовольствие свидание с ним. Могу ли я войти к нему тотчас?

— Нет, — отвечала отрывисто Гефсиба, голос ее так дрожал, что она не решалась проговорить длинной фразы. — Он не может видеть посетителей!

— Посетителей, милая кузина! Вы меня называете посетителем? — вскричал судья, чувствительность которого, по-видимому, была уязвлена холодностью фразы. — Так позвольте же мне быть гостем Клиффорда, да и вашим тоже. Переедем тотчас в мой дом. Деревенский воздух и все удобства — могу сказать, даже роскошь, — которыми я окружил себя, подействуют на него чудным образом. А мы с вами, милая Гефсиба, будем советоваться, заботиться и трудиться, чтоб наш милый Клиффорд был счастлив. Переедемте! Что нам еще толковать о предмете, который составляет мой долг и удовольствие? Переедем ко мне тотчас!

Слушая эти гостеприимные предложения и благородное признание прав родства, Фиби готова была броситься к судье Пинчону и добровольно одарить его поцелуем, хотя еще так недавно отшатнулась от его поцелуя. Совсем другое дело с

Гефсибой — улыбка судьи, казалось, действовала на суровость ее сердца как солнечные лучи на уксус: эта улыбка сделала ее сердце в десять раз суровее.

— Клиффорд, — сказала она, пребывая все еще в таком волнении, что могла произносить только отрывистые фразы, — Клиффорд здесь у себя дома!

— Да простит вас небо, Гефсиба, — сказал судья Пинчон, возводя почтительно глаза к горнему судилищу, — если вы позволяете старинной вашей вражде действовать на вас в этом деле! Я пришел к вам с открытым сердцем, готовый принять в него вас и Клиффорда. Неужели вы отвергнете мои услуги, мои искренние предложения, направленные на ваше благополучие? Во всяком случае они достойны вашего ближайшего родственника. На вас падет тяжкая ответственность, кузина, если вы запрете своего брата в этом печальном доме, в этом спертом воздухе, в то время как в его распоряжение предоставляется восхитительный деревенский простор моего жилища.

— Нет, я не отпущу Клиффорда, — сказала Гефсиба прежним, отрывистым тоном.

— Женщина! — вскричал судья, предаваясь досаде. — Что все это значит? Неужели у вас есть

другие ресурсы? Нет, быть не может! Берегитесь, Гефсиба, берегитесь! Клиффорд находится на краю такой мрачной пропасти, в какую только он когда-либо падал! Но что мне говорить с этой старухою? Дорогу! Я должен видеть самого Клиффорда!

Гефсиба распростерла в двери свою худощавую фигуру и как будто увеличилась в объеме; взгляд ее также сделался ужаснее, потому что в сердце у нее теперь было еще больше страха и волнения. Но явное намерение судьи Пинчона вторгнуться силой было остановлено голосом из внутренней комнаты. Это был слабый, дрожащий, жалобный голос, выражающий беспомощный испуг и меньше энергии к самозащите, нежели обнаруживает испуганный ребенок.

— Гефсиба! Гефсиба! — кричал он. — Пади перед ним на колени! Целуй ноги его! Умоляй его не входить сюда! О, пусть он надо мной сжалится! О, пощади! Пощади!

Все-таки еще было очень сомнительно, чтоб судья не решился оттолкнуть Гефсибу и войти в комнату, из которой вырывался этот прерывистый и грустный вопль о пощаде. Не жалость его остановила, потому что при первых звуках ослабевшего голоса яркий огонь заиграл в его глазах,

и он быстро двинулся вперед с каким-то неописуемо свирепым и мрачным выражением. Чтобы узнать судью Пинчона, надобно было видеть его в эту минуту. Проявив себя таким образом, пускай потом он улыбается, как хочет, знойно, он скорей заставит дозреть от своей улыбки виноградные гроздья или пожелтеть тыквы, чем изгладит из памяти наблюдателя впечатление, похожее на клеймо раскаленным железом. Вид его был тем ужаснее, что в нем выражались не гнев или ненависть, а какое-то лютое стремление истреблять все, кроме самого себя.

При всем том не клевещем ли мы на этого человека? Взгляните теперь на судью! Он, по-видимому, осознал, что поступил дурно, навязываясь слишком энергично со своею родственной любовью людям, неспособным оценить ее. Он дождется лучшего расположения их духа и тогда будет готов помогать им с таким же усердием, как и в настоящую минуту. Он обернулся назад, и посмотрите, какая всеобъемлющая благосклонность сияет на его лице! Она говорит ясно, что он принял Гефсибу, маленькую Фиби и невидимого Клиффорда, вместе с остальным миром, в свое огромное сердце и нежит их в волнах своей любви, словно в теплой ванне.

— Вы меня крепко обижаете, милая кузина Гефсиба! — сказал он, сперва нежно подав ей руку, а потом надевая перчатку в знак готовности уйти. — Очень крепко! Но я прощаю вас и постараюсь заставить вас думать обо мне лучше. Так как наш бедный Клиффорд находится в таком жалком состоянии ума, я не должен теперь настаивать на свидании с ним. Но я буду так следить за его выздоровлением, как если бы он был моим родным, любимым братом. Не стану также домогаться ни от него, ни от вас, милая кузина, чтобы вы сознались в вашей ко мне несправедливости. А если б это случилось, то я не желаю другой мести, как только чтоб вы приняли от меня самые лучшие услуги, какие только я могу предложить вам.

Судья поклонился Гефсибе, кивнул Фиби с видом отеческого благоволения, вышел из лавочки и с ясной улыбкой продолжил движение вдоль улицы. По обычаю он платил народу за свое состояние, благоденствие и высокое место открытым и радушным обращением с теми, кто знал его, убавляя выражение своего благорасположения соразмерно с ничтожностью человека, которому он кланялся, и доказывая тем надменное сознание своих преимуществ так же неопровержимо,

как будто отряд лакеев очищал перед ним дорогу. В это достопамятное утро добродушный вид судьи Пинчона был до такой степени жарок, что — по крайней мере, так говорили в городе — понадобилась лишняя поливальная бочка, чтоб осадить пыль, поднявшуюся после того, как он прошел по улице.

Едва он исчез из виду, как Гефсиба смертельно побледнела и, подойдя неровным шагом к Фиби, опустила машинально свои руки на плечи молодой девушки.

— О Фиби! — проговорила она. — Этот человек был ужасом всей моей жизни! Неужели я никогда, никогда не буду иметь смелости... никогда голос мой не перестанет дрожать хоть на некоторое время, чтоб я высказала ему, кто он таков?

— Неужели он так зол? — спросила Фиби. — Но его предложения были действительно благородны.

— Не говори об этом — у него железное сердце! — отвечала Гефсиба. — Поди и поговори с Клиффордом! Займи и успокой его. Его ужасно встревожит, если он увидит меня в таком волнении. Поди, милое дитя мое, а я присмотрю за лавочкой.

Фиби повиновалась, но ее смущали вопросы

касательно сцены, которой она была свидетельницею, и она недоумевала: неужели судья действительно может быть в некоторые минуты кем-нибудь другим, а не справедливым и прямодушным человеком? Сомнение такого рода возымело тревожное влияние на мысли Фиби, но она смягчила в некоторой степени свой взгляд на характер судьи Пинчона и объясняла себе свидетельство Гефсибы о его злобе взаимным ожесточением чувств в фамильных раздорах, которые делают ненависть между родными смертельною.

Глава IX
Клиффорд и Фиби

Нельзя не согласиться, что было что-то возвышенное и благородное в натуре нашей бедной Гефсибы или же, что весьма вероятно, что ее натура развилась бедностью и печалью, возвысилась сильной и скрываемой ото всех привязанностью всей ее жизни и, таким образом, приобрела героизм, который никогда не был бы ее характерной чертой в других обстоятельствах. Гефсиба, сквозь длинный ряд печальных лет, пребывала в том самом положении, в котором она теперь находи-

лась, по большей части отчаиваясь в нем, никогда не будучи совершенно уверена в своей надежде, но всегда понимая, что это лучшая участь, какой она может ожидать на земле. Собственно, для себя она ничего не просила у Провидения, она просила только даровать ей возможность посвятить себя брату, которого она так любила, так почитала в нем то, чем он был или мог быть, и которому сохранила преданность, неизменно одинокая во всем мире в каждую минуту своего сознания и в продолжение всей своей жизни. Теперь, на закате своего существования, он возвратился к ней из долгого, странного и бедственного отсутствия и зависел от ее любви не только по отношению к своему физическому существованию, но и по отношению ко всему, что должно поддерживать его нравственную жизнь. Она отвечала своему призванию. Она решилась — наша бедная, старая Гефсиба, в своем старом шелковом платье, со своими окостенелыми суставами и с печальной суровостью нахмуренных бровей, — решилась на все, что было для нее возможно, и готова была бы сделать во сто раз более! Мало видели люди взглядов трогательнее — и да простит нас небо, если невольная улыбка сопровождает это слово, — мало видели взглядов, в которых бы

выражался такой истинный пафос, как в глазах Гефсибы в это первое утро.

С каким терпением старалась она окружить Клиффорда своею теплой любовью и создать для него из нее целый мир, чтобы он не почувствовал никакого мучительного ощущения холодности и скуки за чертой этого мира! Сколько употребляла она маленьких усилий забавлять его! Как жалки, но великодушны были они!

Помня его прежнюю любовь к стихотворениям и произведениям фантазии, она отворила сундук с книгами и достала два тома, которые в их время составляли лучшее чтение. В одном был переплетен Поп вместе с Ганом и Локком, а в другом — Татлер вместе с разными сочинениями Драйдена. Золото на их корешках давно потемнело, и самые листы в середине потеряли свою белизну и лоск. Клиффорд остался равнодушен к этим авторам. Все подобные им, любимые современной публикой писатели, новые сочинения которых сияют, как богатый узор только что вытканного ковра, через одно или два поколения неизбежно теряют свое очарование для каждого читателя, и потому едва ли можно было ожидать, чтоб они произвели какое-нибудь впечатление на ослабленный ум своего прежнего

поклонника. Гефсиба взяла Расселаса и начала читать описание Счастливой Долины, теша себя призрачным воспоминанием о том, что там высказан какой-то секрет довольства жизнью, который может послужить Клиффорду и ей, по крайней мере на сегодняшний день. Но Счастливая Долина была покрыта тучей. Кроме того, Гефсиба наскучила своему слушателю множеством ошибок в выразительности, которые она делала, по-видимому вовсе того не замечая; в самом деле, она как будто не обращала никакого внимания на смысл своего чтения — напротив, очевидно, чувствовала скуку этого занятия. Голос ее, от природы жесткий, в течение ее печальной жизни сделался мало-помалу похож на какое-то карканье. Это неприятное карканье, сопровождающее каждое радостное и грустное слово, в обоих полах означает укоренившуюся меланхолию, и малейший его звук выказывает всю историю бедствий, перенесенных человеком. Он производит на слушателя такое действие, как будто вместе с ним вырывается из души что-то мрачное, или — употребим более умеренное сравнение — это жалкое карканье, проходя сквозь все изменения голоса, становится похоже на черную шелковую нитку, на которую нанизаны хрустальные зерна

речи, получающие от нее свой цвет. Такие голоса высказывают нам жалобу на погибшие надежды и как будто просят смерти и погребения вместе с ними!

Заметя, что Клиффорд не делается веселее от ее усилий, Гефсиба принялась искать по дому другие средства для более приятного препровождения времени. Вдруг глаза ее остановились на клавикордах Алисы Пинчон. Это была минута великой опасности, потому что, несмотря на страшные предания, связанные с этим инструментом, и на печальные арии, которые, как носился слух, разыгрывали на нем невидимые пальцы, преданная сестра воодушевилась было торжественной мыслью забарабанить по его струнам для Клиффорда и сопровождать музыку своим голосом. Бедный Клиффорд! Бедная Гефсиба! Бедные клавикорды! Как бы вы были жалки все трое вместе! Только какой-то благодетельный дух — может быть, невидимое вмешательство самой давно погребенной Алисы — отвратил угрожавшее им бедствие.

Но худшее из всех зол — самый тяжкий удар судьбы для Гефсибы и, может быть, также для Клиффорда — было его непреодолимое отвращение к ее наружности. Черты лица, никогда не

отличавшиеся приятностью, а теперь огрубевшие от старости, горя и досады за него, платье и в особенности тюрбан, неловкие и странные манеры, усвоенные незаметно в уединении, — таковы были характерные черты наружности бедной женщины, и потому нет ничего удивительного, хотя это крайне горестно, что инстинктивный любитель прекрасного чувствовал необходимость отворачивать от нее глаза. Пособить такой антипатии было невозможно. Она будет последним чувством, которое умрет в нем. В последнюю минуту, когда замирающее дыхание будет слабо пробиваться сквозь его уста, он, без сомнения, пожмет руку Гефсибы в знак горячей признательности за ее беспредельную любовь и закроет глаза — не столько для того, чтоб умереть, сколько для того, чтоб не смотреть больше на ее лицо. Бедная Гефсиба! Она долго размышляла наедине, как бы пособить своему горю, и наконец придумала приколоть ленты к своему тюрбану, но — также по внушению какого-то благодетельного духа — оставила это намерение, которое едва ли не было бы роковым для предмета ее нежных попечений.

Независимо от невыгодного впечатления, производимого наружностью Гефсибы, во всех ее

поступках проявлялась какая-то неуклюжесть, которая делала ее неспособной даже к простым услугам, не только к умиротворению кого бы то ни было. Она знала, что она только раздражает Клиффорда, и потому обратилась к помощи Фиби. В ее сердце не было никакой низкой ревности. Если бы Провидению было угодно наградить ее героическую верность, сделав ее непосредственным орудием счастья Клиффорда, то это наградило бы ее за все прошедшее, это доставило бы ей радость — конечно, не самую восторженную, но глубокую и истинную, стоящую тысячи бурных восторгов. Но такое счастье было невозможно, и потому она предоставила свою роль Фиби, вверив ей драгоценнейшее из своих прав. Фиби приняла на себя ее обязанности весело, как принимала она все, и одна уже искренность ее чувства дала ей возможность большого успеха.

Бессознательным действием своей умной натуры Фиби решительно сделалась добрым гением брата и сестры. Угрюмость и запустение Дома о Семи Шпилях, казалось, совершенно исчезли после ее появления здесь: уничтожающий все тлен остановился между старыми бревнами скелета дома, пыль перестала осыпаться так густо, как прежде, со старинных потолков на пол и мебель

нижних комнат, или, по крайней мере, в них беспрестанно появлялась с щеткой маленькая хозяйка, легконогая, как ветер, подметающий садовую аллею. Тени мрачных происшествий, поселившиеся, как привидения, в пустых и печальных комнатах, и тяжелый, неподвижный запах, который смерть столько раз оставляла после себя в спальнях, должны были уступить место очистительному действию, какое оказывало на атмосферу всего дома присутствие молодого, свежего и здорового человека. В Фиби не было решительно никакого недуга (если б он был, то старый Пинчонов дом как раз бы превратил его в неизлечимую болезнь). Душа ее походила по своим возможностям на небольшое количество розовой эссенции в одном из принадлежавших Гефсибе огромных, окованных железом сундуков, которая пронизывала своим благоуханием разного рода белье, кружева, платки, чепчики, сложенные платья, перчатки и другие хранившиеся там сокровища. Подобно тому, как каждая вещь в этом сундуке делалась приятнее от розового запаха, мысли и чувства Гефсибы и Клиффорда, при всей своей мрачности, получили легкий оттенок счастья от общества Фиби. Деятельность ее тела, ума и сердца понуждала ее вечно быть

занятой обыкновенными маленькими трудами, представлявшимися ей вокруг, обдумывать сообразную с минутой мысль и сочувствовать то веселому чириканью реполовов на груше, то — до возможной для нее глубины — мрачному беспокойству Гефсибы и неопределенным стонам ее брата. Эта способность легко приноравливаться ко всему окружающему есть вместе и признак совершенного здоровья, и лучший способ его предохранения.

Такая натура, как у Фиби, неизменно производит свое влияние всюду, но редко пользуется надлежащим уважением. Душевная сила молодой девушки, пожалуй, может выказываться в ярком свете оттого, что она проявлялась посреди таких мрачных обстоятельств, какие окружали теперь хозяйку дома, и еще оттого, что она производила свое действие на внешний вид, так сказать, гораздо более массивный, чем ее собственный, потому что худощавый, костистый корпус Гефсибы относился, может быть, точно так же к легкой фигуре Фиби, как относились между собой нравственный вес и нравственная субстанция женщины и девушки.

Для гостя, брата Гефсибы — или кузена Клиффорда, как начала теперь называть его Фиби, —

она в особенности была необходима. Нельзя сказать, чтоб он разговаривал с нею или часто обнаруживал, тем или другим определительным образом, чувство удовольствия быть в ее обществе, но, если она долго не показывалась, он делался сердитым и нервно-беспокойным, ходил взад и вперед по комнате с той неверностью, которая характеризовала все его движения, или же сидел угрюмо в своем кресле, оперши голову на руки и обнаруживая жизнь только электрическими искрами неудовольствия, когда Гефсиба старалась развлечь его. Присутствие Фиби и живительное действие ее свежей жизни на его увядшую жизнь были единственными его потребностями. Действительно, Фиби была одарена такой игривой, брызжущей весельем душой, которая редко оставалась совершенно спокойной и в чем-нибудь не проявлялась, подобно тому как неистощимый фонтан никогда не перестает брызгать и журчать своей игривой волной. Она обладала искусством петь до такой степени натуральным, что вам даже не пришло бы в голову спросить ее, где она приобрела его или у какого учителя училась, как вы не стали бы предлагать те же вопросы птичке, в тонком голоске который слышится нам голос Создателя так же ясно, как и

в самых громких раскатах его грома. Пока Фиби продолжала петь, она могла свободно расхаживать по дому. Клиффорд был равно доволен, раздавался ли ее сладкий, воздушно-легкий голос из верхних комнат, или из коридора, ведущего в лавочку, или пробивался сквозь листья груши из сада вместе с дрожащим светом солнца. Он сидел спокойно, с тихим удовольствием, сиявшим на его лице, то яснее, то опять слабее по мере того, как звуки песни раздавались возле него или приближались и отдалялись. Но, впрочем, он был еще довольнее, когда она сидела у его ног на низенькой скамейке.

Замечательно, что Фиби, при своем веселом характере, чаще выбирала патетические, чем веселые, мелодии. Но молодые и счастливые люди любят набрасывать на свою ярко сияющую жизнь прозрачную тень. Притом же глубочайший пафос голоса и песни Фиби проступал сквозь золотую ткань радостной души и получал от этого такое дивное свойство, что после слез, им вызванных, человек чувствовал на сердце облегчение. Прямая веселость в присутствии мрачного несчастья резко и неуважительно разнилась бы с торжественной симфонией, которая звучала своими низкими нотами в жизни Гефсибы и ее брата.

Поэтому Фиби попадала в тон, часто выбирая печальные темы, и этот тон не нарушался оттого, что ее арии переставали быть печальными, когда она их пела.

Привыкнув к ее сообществу, Клиффорд скоро доказал, что его натура была первоначально способна впитывать в себя со всех сторон пленительные цвета и веселое сияние. Он делался моложе, когда она сидела подле него. Красота — не вполне, конечно, вещественная, хотя бы даже в высшем своем проявлении, которую художник долго подмечает, чтоб схватить и прикрепить к своему полотну, и все-таки напрасно, — все же, однако, красота, бывшая не просто мечтою, иногда появлялась в нем и озаряла его лицо. Более нежели озаряла — она преображала это лицо выражением, которое можно было объяснить только сиянием избранной и счастливой души. Эти седые волосы и эти морщины со своею повестью о бесконечных горестях, так глубоко начертанные на его лбу и сдвинутые густо, как будто в напрасном усилии рассказать непонятную уму историю страданий, на минуту исчезали, и в эту минуту взгляд нежный и вместе с тем проницательный мог бы увидеть в Клиффорде некоторую тень того, кем он был когда-то.

Весьма вероятно, что Фиби понимала очень мало характер, на который она действовала такими благодетельными чарами. Ей не было и нужды понимать. Огонь озаряет радостным светом целый полукруг лиц перед камином, но какая ему надобность знать индивидуальность одного из них? Впрочем, в чертах Клиффорда было нечто до такой степени тонкое и деликатное, что девушка, существовавшая с таким удовольствием в сфере действительности, как Фиби, не могла вполне постигнуть этого невыразимого нечто. Между тем для Клиффорда действительность, простота и эта общежительность натуры молодой девушки были такими же сильными чарами, как и все другие.

Правда, ее красота — и красота почти совершенная в своем стиле — была необходимым их условием.

Если б Фиби имела грубые черты лица, грубый голос и неловкие манеры, то пускай бы под этой несчастной наружностью скрывались все богатейшие дарования человеческие, она бы тем более стесняла чувства Клиффорда недостатком красоты, что носила бы на себе образ женщины. Но ничего прекраснее — ничего, по крайней мере, прелестнее — никогда не являлось, как Фиби, и

потому для этого человека, которого все бледное и неосязаемое наслаждение бытием прежде, пока его сердце и фантазия еще не умирали, было только сон, в душе которого образы женщины теряли более и более своей теплоты и сущности и были, подобно картинам заключенных художников, доведены наконец до самой холодной идеальности, — для него этот маленький образ, выхваченный из веселой домашней жизни, был именно тем, что одно было способно возвратить его к дыханию мира. Люди, странствующие на чужбине или изгнанные с родины и удаленные от ее обыкновенного хода дел, если бы даже очутились посреди лучшего общественного устройства, ничего так не желают, как возвращения назад. Их пронимает дрожь в их одиночестве, где бы они ни находились — в вольных горах или в темнице. Присутствие Фиби делало вокруг нее то, что называется *дом*, то есть ту сферу, к которой инстинктивно стремятся изгнанник, узник, последний бездельник и самый лучший из людей. Она вся была действительность. Взяв ее за руку, вы бы почувствовали что-то особенное, что-то нежное — вместе вещество и теплоту, — и пока бы вы осязали ее руку, как бы она слабо к вам ни прикасалась, вы могли бы быть уверены,

что занимаете прекрасное место в целой симпатической цепи человеческой натуры. Мир для вас не был бы призраком.

Посмотрев несколько далее в этом направлении, мы можем найти объяснение часто представляющейся нам загадки: зачем поэты выбирают себе подруг не по сходству поэтического дарования, но по тем качествам, которые могут составить счастье грубого ремесленника так же, как и даровитейшего мыслителя? Вероятно, потому, что в своем высоком парении поэт не любит человеческого сообщества, но ему кажется ужасным спуститься на землю и быть чужим.

Было что-то прекрасное в отношениях, установившихся между этой четой людей, так тесно и постоянно льнувших друг к другу, несмотря на длинный ряд мрачных и таинственных лет, которые протекли от его до ее рождения. Со стороны Клиффорда это было чувство мужчины, который был одарен от природы живейшею чувствительностью к влиянию женщины, но никогда не испил чаши страстной любви и знал, что теперь уже слишком поздно. Он сознавал это с инстинктивной деликатностью, которая пережила его умственное разрушение. Таким образом, его чувство к Фиби, не будучи отеческим, было

не менее чисто, как если б она была его дочерью. Правда, он был мужчина и смотрел на нее как на женщину. Она была для него единственной представительницей женской половины человеческого рода. Он ясно понимал все прелести, составляющие принадлежность ее пола, для него не были потеряны ни зрелость ее уст, ни девственное развитие ее груди. Все ее маленькие женские проказы, обнаруживавшиеся в ней, как цветы на молодом плодовитом дереве, имели на него свое действие и иногда заставляли даже его сердце биться сильнейшим чувством удовольствия. В такие минуты — редко его оживление не было минутным — полунемой человек становился в Клиффорде полным гармонической жизни существом, подобно тому, как долго молчавшая арфа вдруг наполняется звуками, когда по ее струнам пробежит рука музыканта. Но при всем том в нем это было скорее понятие или симпатия, нежели чувство, принадлежащее ему индивидуально. Он читал Фиби, как читал бы приятную и простую историю; он слушал *ее,* как будто она была стихами на тему домашней жизни. Она была для него не действительный факт, но истолкование всего, чего он не вкусил на земле, тепло, проникнувшее в его понимание, так что этот простой символ,

это оживленное изображение доставляло ему почти удовольствие действительностью.

Но мы напрасно стараемся перевести эту идею в слова. В языке человеческом не существует никакого выражения, соответствующего красоте и глубокому пафосу, которым она на нас действует. Это существо, созданное только для счастья и до сих пор так горестно не допускаемое быть счастливым (его стремления так ужасно были остановлены, что, неизвестно как давно, нежные пружины его характера, никогда не бывшие нравственно или умственно сильными, ослабели, и он сделался бессмысленным), этот бедный, сбившийся с пути мореплаватель, покинувший Благословенные Острова, застигнутый на море бурею, в утлой барке брошен последнею, разбившею его судно волной на спокойный берег. Здесь в то время, как он лежал полумертвый, благоухание земной розы коснулось его обоняния и вызвало в нем воспоминания или видения всей живой, дышащей красоты, посреди которой он должен был бы иметь свое жилище, и со всею своею природной чуткостью к счастливым влияниям он вдыхает сладостный воздушный аромат в свою душу и умирает. Вот что был Клиффорд в своем перемежающемся отупении.

Как же Фиби смотрела на Клиффорда? Натура ее была не из тех, которых увлекает все странное и исключительное в человеческом характере. По ней всего бы лучше пришелся хорошо проложенный путь обыкновенной жизни; самые приятные для нее товарищи были бы те, которых можно встретить на каждом шагу. Таинственность, окружавшая Клиффорда, занимала ее мало и была больше предметом досады, нежели возбудительной прелестью, которую многие женщины могли бы найти в ней. Однако же природная ее доброта была сильно заинтересована — не мраком и живописностью его положения, не даже нежной грацией его характера, а просто воззванием его отчаянного сердца к ее полному живой симпатии сердцу. Она бросила на него взгляд любви потому, что он так нуждался в любви и, по-видимому, так мало получил ее в удел. С настоящим тактом, результатом вечно деятельной и здоровой чувствительности, она узнавала, что ему было нужно, и удовлетворяла его немощную душу. Она не знала, что именно было повреждено в его уме и сердце, и потому ее сношения с ним были для нее совершенно безвредны: она защищала себя чуждой осторожности, но руководимой небом свободой всех своих поступков. Больные умом

и, может быть, телом впадают в неизлечимую болезнь от отражения со всех сторон их недуга в поведении окружающих, они принуждены вдыхать яд собственного дыхания в бесконечном повторении. Фиби доставляла своему бедному пациенту чистейший воздух. Она наполняла этот воздух не запахом диких цветов, потому что дикость не была ни в каком случае ее чертою, но благоуханием садовых роз, гвоздик и других избранных цветов, которые природа и человек согласились возвращать от весны до весны и от столетия к столетию. Таким цветком была Фиби по отношению к Клиффорду, и такое наслаждение вдыхал он от ее присутствия.

Надобно, однако, сказать, что ее лепестки иногда несколько поникали от тяжелой атмосферы, которая окружала ее. Она сделалась задумчивее, чем прежде. Глядя сбоку на лицо Клиффорда, видя его тусклое, не удовлетворяющее его изящество и наблюдая ум этого бедного человека, почти угасший, она желала бы узнать, что такое была его жизнь. Всегда ли он был таков? Было ли на нем от самого его рождения это покрывало, под которым была скрыта большая часть его души и сквозь которое он различал неясно действительный мир, или же серая ткань этого покрывала была

соткана каким-то мрачным бедствием? Фиби не любила никаких загадок и желала бы выйти из затруднения в отношении к этой. Несмотря на это, ее размышления о характере Клиффорда были так для нее полезны, когда ее невольные догадки, вместе со стремлением каждого странного обстоятельства рассказать свою историю, сделали мало-помалу для нее ясным ужасное событие, оно не произвело на нее никакого потрясающего действия. Какое бы он ни совершил страшное преступление, по мнению света, она знала кузена Клиффорда так хорошо или, по крайней мере, думала, что знала, что не могла вздрагивать от прикосновения его тонких и нежных пальцев.

Через несколько дней после появления этой замечательного жильца однообразная рутина жизни установилась в описываемом нами старом доме. Утром, вскоре после завтрака, Клиффорд засыпал в своем кресле, и если что-нибудь случайно не нарушало тишины, то он до самого полудня оставался в густом облаке или в легких туманах сна, которые туда и сюда носились над его головой. В эти сонливые часы Гефсиба заботливо сидела подле брата, а Фиби брала на себя дела в лавочке; публика скоро все смекнула и продемонстрировала свое решительное предпо-

чтение молодой торговке старой множеством посещений во время ее управления лавочкой. После обеда Гефсиба бралась за свое рукоделье — она вязала длинные чулки из серой шерсти для брата на зимнее время — и, бросив со вздохом прощальный и, разумеется, нахмуренный взгляд на брата, а Фиби сделав поощрительный жест, уходила на свое место за конторкой. Тогда наступала очередь молодой девушки быть кормилицей, нянькой — или назовите ее как вам угодно — поседевшего человека.

Часть вторая

Глава X
Пинчоновский сад

Если бы Фиби не возбуждала Клиффорда к некоторой деятельности, то он под влиянием онемения, которое поразило все его жизненные силы, готов был бы лениво сидеть в своем старом кресле с утра до вечера. Она редко пропускала день, чтоб не предложить ему прогулки по саду, где дядя Веннер и Хоулгрейв так исправили крышу разрушенной беседки, что теперь уже в ней можно было найти достаточное убежище от солнечных лучей и случайного дождя. Хмель также начал роскошно расти по сторонам маленького строения и превратил его внутренность в лиственную пещеру со множеством отверстий в дикий уединенный сад, сквозь который пробивались играющие лучи солнца.

В этом зеленом приюте волнующегося дневного света Фиби иногда читала для Клиффорда, ее знакомый, дагеротипист, человек, как казалось, литературный, доставлял ей произведения

фантазии в журнальных книжках и некоторые стихотворные сочинения, вовсе не похожие ни слогом, ни вкусом на те, которые Гефсиба выбрала для услаждения слуха своего брата. Впрочем, книги сами по себе сделали бы немного, если бы чтение девушки не было в некоторой степени действительнее чтения старшей кузины. Голос Фиби всегда был музыкален и мог то оживлять Клиффорда своим блеском и веселостью тона, то успокаивать переливами, напоминающими плескание волны по камням или журчание ручья. Что же касается самого вымысла, который иногда глубоко увлекал деревенскую девушку, не привыкшую к такого рода чтению, то он интересовал ее странного слушателя очень мало или не интересовал вовсе. Картины жизни, страстные или чувствительные сцены, ум, юмор и пафос — все это было потеряно для Клиффорда, потому ли, что ему недоставало опытности, чтобы оценивать их верность, или потому, что его собственные горести были пробным камнем действительности, против которого устояли бы немногие из чувств, описываемых в романах. Если Фиби начинала весело хохотать над тем, что читала, он тоже по временам смеялся из чувства симпатии, но чаще отвечал на ее смех смущенным, вопросительным

взглядом. Если слеза — девическая светлая слеза, вызванная воображаемым бедствием, — падала на какую-нибудь печальную страницу, Клиффорд или принимал ее за признак действительного горя, или же делался сердитым и с досадой приказывал Фиби закрыть книгу. И умно делал! Как будто в жизни недостаточно печалей, чтобы тратить время на воображаемые горести.

Со стихотворениями было гораздо лучше. Клиффорда занимало мерное возвышение и понижение ритма стихов и счастливое созвучие рифм. Он, казалось, понимал поэзию — может быть, не все ее высоты и глубины, но определенно — то самое летучее и эфирное, что в ней есть. Невозможно было бы предсказать, какой стих подействует на него живительным очарованием; но если бы Фиби подняла глаза от страницы на лицо Клиффорда, то увидела бы по озаряющему его свету, что ум более тонкий, нежели ее, зажег это легкое пламя посредством ее чтения. Впрочем, подобное сияние всегда было предвестником нескольких мрачных часов, следовавших за ним, потому что, когда оно исчезало, Клиффорд, казалось, сознавал, что у него недостает смысла и душевной силы, и искал их ощупью и с таким видом, с каким бы слепец стал искать свое поте-

рянное зрение.

Он находил гораздо больше удовольствия в том, чтобы Фиби говорила с ним и оживляла для его ума повседневные явления своими описаниями и заметками. Садовая жизнь доставляла довольно предметов, которые лучше всего согласовывались с состоянием душевных сил Клиффорда. Он никогда не забывал спросить, какие цветы расцвели со вчерашнего дня. Чувство его к цветам сохранилось в особенной тонкости и было, по-видимому, делом не столько вкуса, сколько душевного влечения. Он любил сидеть с каким-нибудь цветком в руке, внимательно рассматривать его и переходить глазами от его лепестков на лицо Фиби, как будто садовый цветок принадлежал к одной семье с этой домовитой девушкой. Он наслаждался не одним только запахом цветка, не одной только его прекрасной формой и нежностью или яркостью его колорита, удовольствие его было неразлучно с созерцанием жизни, характера и индивидуальности, которое заставляло его любить эти садовые цветы так, как будто они были одарены чувством и умом. Такая привязанность и симпатия к цветам составляют почти исключительно черту характера женского. Мужчина если и бывает одарен этими

свойствами от природы, то скоро теряет, забывает и начинает пренебрегать ими, обращаясь с предметами гораздо жестче цветов. Клиффорд также давно позабыл эти чувства, но обрел их снова, медленно оправляясь от холодного онемения своей жизни.

Удивительно, сколько приятных происшествий постоянно случалось в этом заброшенном саду с тех пор, как Фиби начала в него заглядывать. Она видела или слышала здесь пчелу в первый день своего знакомства с местностью, и с того времени часто — почти беспрестанно — пчелы прилетали сюда бог знает зачем и из какого упорного желания собирать именно здесь соты, когда, без сомнения, было множество клеверовых полей и всевозможных садов гораздо ближе к их ульям. Несмотря на это, резвые пчелы прилетали сюда и набивались в глубину тыквенного цветка, как будто, летая целый день, не могли найти других тыквенных стеблей или как будто почва сада давала именно столько цветов, сколько было нужно этим трудолюбивым маленьким чародейкам для того, чтоб сообщить гиметский[1] запах целому

[1] Примечания: 1

Гимет, *Hymettus*, ныне Троло-Вуно, или Дели-Даг, гора в Аттике, недалеко к югу от Афин, славилась в древности своим превосходным молом и мраморными каменоломнями. — *Примеч. переводчика.*

улью новоанглийского меда. Когда Клиффорд слышал их веселое жужжанье в сердце больших желтых цветков, он смотрел на них с радостным, теплым чувством, смотрел на голубое небо, на зеленую траву и на вольный божий мир на всем его пространстве, от земли до неба. К чему же нам добиваться, зачем пчелы прилетают в этот единственный зеленый уголок посреди пыльного города? Бог посылает их сюда для Клиффорда. Они приносят с собой в сад роскошное лето взамен набираемого здесь меда.

Когда бобовые стебли зацвели на жердях, между ними оказалась одна особенная порода с ярко-красными цветками. Дагеротипист нашел эти бобы на чердаке одного из семи шпилей, где, вероятно, какой-нибудь садоводный предок Пинчонов спрятал их в старом комоде, надеясь, без сомнения, видеть их растущими в следующее лето, но сам скорее очутился на садовой гряде смерти. Чтоб испытать, осталось ли хоть одно живое зерно в таких старых семенах, Хоулгрейв посадил некоторые из них, и результатом этого опыта был великолепный ряд бобов, которые рано всползли на самую вершину жердей и убрали их от верху до низу спиральной зеленью со множеством красных цветков. Лишь только раз-

вернулась первая почка, вокруг нее появилось несколько колибри, так что теперь, по-видимому, на каждый из сотни цветков приходилось по одной крошечной птичке, комок блестящих перьев, толщиной в палец, порхающий и трепещущий вокруг жерди с бобами. Клиффорд с неописуемым интересом и более чем с детским восхищением наблюдал за этими медососами. Он потихоньку высовывал из беседки голову, чтоб лучше их видеть, а между тем кивал Фиби, чтоб она не шевелилась, и ловил на ее лице улыбку, как будто для того только, чтоб увеличить свое удовольствие ее прелестью. Он не только помолодел — он сделался опять ребенком.

Если Гефсибе случалось быть свидетельницей этого восторженного энтузиазма, то она качала головой, вместе с какою-то странной смесью выражения на лице чувства матери и сестры, удовольствия и грусти. Она говорила, что Клиффорд всегда — с самого своего детства — восхищался, когда, бывало, в сад налетали колибри, и что его восхищение этими птичками было одним из самых ранних признаков его любви к прекрасным вещам.

— Удивительный случай, — замечала добрая леди, — надобно же было моему жильцу посадить

эти бобы с красным цветом, который колибри так любят и которого сорок лет уже не видать в пинчоновском саду, в самое лето, когда воротиться Клиффорду!

При этих словах слезы показывались на глазах бедной Гефсибы, а иногда лились такими потоками, что она должна была скрывать свое волнение от Клиффорда в отдаленном углу сада. Все удовольствия этого периода жизни вызывали у нее слезы. Он наступил очень поздно и уподоблялся индийскому лету, самые солнечные, благоухающие дни которого отуманены испарениями и которое скрывает разрушение и смерть под блистательнейшими своими украшениями. Чем больше Клиффорд чувствовал, по-видимому, детское счастье, тем печальнее была истина, которую ему предстояло постигнуть. Таинственное и ужасное прошедшее уничтожило его память, будущее лежало перед ним каким-то белым пятном, у него оставалось только это мечтательное, неосязаемое настоящее, но оно, в сущности, было ничто, если только всмотреться в него ближе. Сам он, как видно было по многим признакам, чувствовал себя мрачной тенью позади своих удовольствий и знал, что это только ребяческая игра — он позабавился и сам же над ней смеется,

вместо того чтоб предаваться ей вполне. Всю свою жизнь он только учился, как быть несчастным, жалким созданием, подобно тому, как иной учится иностранным языкам, и теперь, со своим горьким уроком в сердце, он с трудом может постигать свое маленькое, летучее счастье. Часто в его глазах заметна была мрачная тень сомнения.

— Возьмите мою руку, Фиби, — говорил он, — и сожмите ее крепко-крепко! Дайте мне розу, я схвачу ее за шипы и попробую разбудить себя резкой болью!

Очевидно, он желал испытать это болезненное ощущение для того, чтоб удостовериться посредством наиболее знакомого ему ощущения, что и сад, и семь почернелых от непогоды старых шпилей, и нахмуренный взгляд Гефсибы, и улыбка Фиби были действительностью. Без этой удостоверенности он мог придавать им так же мало существенности, как и пустому движению воображаемых сцен, которыми он питал свою душу, пока и эта скудная пища истощилась.

Автор совершенно уверен в симпатии читателя, иначе он не решился бы рассказывать мелкие подробности и происшествия, по-видимому такие ничтожные, но необходимые для того, чтобы дать ему понятие о садовой жизни Клиффорда.

Это был эдем пораженного громом человека, который убежал сюда из страшной пустыни.

Одной из главнейших забав, которую Фиби умела сделать для Клиффорда чрезвычайно увлекательною, была пернатая семья кур, воспитание которых, как мы сказали, с незапамятных времен составляло обязанность живущих в доме Пинчонов. В угождение прихоти Клиффорда, которого тяготило их заключение, они были выпущены на волю и бегали теперь по саду, причиняя ему некоторый вред, но вырваться из него не позволяли им с трех сторон соседние строения, а с четвертой — деревянная решетка. Они проводили значительную часть своего времени на краю Моулова источника, где водился род улиток, составлявших, очевидно, их лакомство; даже солоноватая вода источника, неприятная для остального мира, так пришлась им по вкусу, что они беспрестанно ее отведывали, подняв кверху головы и чмокая клювами, совершенно как знатоки вин вокруг пробной бочки. Их вообще спокойное, но часто живое и беспрестанно изменяющееся на разные тоны квохтанье всех вместе или в одиночку — в то время, когда они выгребали червячков из жирного перегноя или клевали растения, которые приходились им по

вкусу, — имело домовитый тон. Все куры вообще достойны изучения из-за особенностей и необыкновенного разнообразия своих действий, но быть не может, чтобы существовали еще где-нибудь птицы такой странной наружности и поведения, как это странное поколение.

В самом деле, они имели странный вид! Сим Горлозвон (так называли петуха), несмотря на то что стоял, как на ходулях, на двух высоких ногах, с гордым выражением достоинства во всех своих движениях, был немного крупнее обыкновенной куропатки, а две его курицы сильно напоминали перепелок; что же касается единственного цыпленка, то он был так мал, что мог бы еще поместиться в яйце, но в то же время уже достаточно оперился, достаточно набрался опытности. С каким постоянством достойная наседка заботилась о его безопасности, раздувая свою небольшую особу до двойного объема и кидаясь каждому любопытному в лицо за то только, что он смотрел на ее исполненное надежд чадо. С каким усердием она рылась в земле, с какой бесцеремонностью вырывала какой-нибудь превосходный цветок или растение для того только, чтоб добыть у его корня жирного червяка. Каждую минуту слышны были то ее нервическое

квохтанье, когда цыпленок случайно исчезал в высокой траве или под тыквенным листом, то тихое карканье удовольствия, когда она удостоверялась в том, что он сидит под ее крыльями, то признаки плохо скрываемого страха или шумного вызова на бой, когда она замечала на заборе своего злейшего врага — соседнего кота, так что мало-помалу наблюдатель начинал принимать почти такое же сильное участие в этом птенце, как и сама его мать.

Когда Фиби хорошо познакомилась со старой курицей, она ей позволяла иногда брать своего цыпленка в руки, которые как раз соответствовали одному или двум кубическим вершкам его тела, и в то время, когда она с любопытством наблюдала его признаки — особенные крапинки на его перьях, забавный хохолок на голове и небольшой пучок перьев на каждой ножке, — маленькое двуногое, по ее уверению, прищуривалось на нее с видом проницательности.

Другая курица с самого приезда Фиби была в большом отчаянии, причиной которого, как потом оказалось, была ее неспособность нести яйца. Но однажды она обратила на себя общее внимание своим необыкновенно самодовольным видом. Повернув набок голову и глядя гордо

по сторонам, она бегала то в один, то в другой угол сада с невыразимо радостным клохтаньем. Все догадались, что эта, тоже редкая, курица, несмотря на то что ее ставили ниже другой, носила в себе что-то неоценимое. Через несколько минут поднялось страшное квохтанье и раздался поздравительный крик Горлозвона и всего его семейства, включая в то число и цыпленка, который, по-видимому, так же хорошо понимал дело, как и его отец, мать и тетка. В тот же день Фиби нашла миниатюрное яйцо, но не в обыкновенном гнезде, оно было хитро спрятано под кустом смородины на сухой прошлогодней траве. Гефсиба, выслушав ее донесение, овладела яйцом и предназначила его на завтрак Клиффорду, так как яйца ее домашних кур, по ее словам, всегда славились каким-то особым вкусом. Она хотела доставить своему брату хоть чайную ложку лакомого кушанья! Горлозвон почувствовал, кажется, глубоко нанесенную ему обиду, потому что на другой же день явился с матерью несостоявшегося птенца перед Фиби и Клиффордом и начал говорить им на своем языке речь, которая, может быть, была бы очень длинна, если б Фиби не пришла в голову веселая мысль пугнуть их прочь. Обиженный петух удалился на своих длинных

ножках в дальний конец сада и не показывался на глаза Фиби до тех пор, пока она не предложила ему в знак примирения кусочек пряного пирожка, который после улиток был чрезвычайно приятен для его утонченного вкуса.

Мы, без сомнения, остановились слишком надолго у скудного ручейка жизни, который протекал через сад Пинчонова дома. Но рассказ об этих мелких происшествиях и бедных радостях, надеемся, не вменят нам в вину, потому что они приносили видимую пользу Клиффорду. В них был земной запах, возвращавший ему здоровье и бодрость. Некоторые из его занятий действовали на него самым благодетельным образом. Например, он очень любил, наклонившись над Моуловым источником, наблюдать беспрестанно менявшуюся фантасмагорию фигур, образующихся от движения воды на мозаике разноцветного булыжника, которым выложено было его дно. Он говорил, что на него оттуда выглядывают какие-то лица, прелестные, очаровательно улыбающиеся, и каждое лицо такое розовое, и каждая улыбка такая ясная, что ему становилось грустно, когда они исчезали, и он нетерпеливо ждал появления этого неуловимого волшебства. Но иногда он вдруг вскрикивал: «Черное лицо на

меня смотрит!» — и после того целый день бывал расстроен. Фиби, наклонившись над источником подле Клиффорда, не видела ничего подобного — ни красоты, ни безобразия, — а только цветной булыжник, который как будто двигался и приходил в беспорядок от волнения ключа. Черное же лицо, смущавшее так Клиффорда, было не что иное, как тень от ветки дамасской сливы, разбиваемая внутренним блеском Моулова источника. Дело в том, что его фантазия, пробуждавшаяся всегда чаще и сильнее, чем воля и рассудок, творила иногда милые образы, символизировавшие его врожденный характер, а иногда суровые, ужасающие привидения, выражавшие судьбу его.

По воскресеньям, после того как Фиби возвращалась от вечерни — эта набожная девушка не была бы спокойна, пропусти она обедню или вечерню, — в саду непременно устраивался небольшой скромный праздник. Кроме Клиффорда, Гефсибы и Фиби, в нем участвовали еще два гостя. Один был дагеротипист Хоулгрейв, который, несмотря на свое знакомство с реформаторами и другие странные и загадочные поступки, продолжал занимать высокое место во мнении Гефсибы. Другой — нам почти совестно сказать — был почтенный дядя Веннер,

в чистой рубашке, во фраке из толстого сукна, гораздо более приличном, чем обыкновенная его одежда, тем более что он был тщательно залатан на локтях и мог считаться совершенно целым, если только не обращать внимания на несколько неодинаковую длину пол. Клиффорд обнаруживал иногда удовольствие при встрече с стариком: старик нравился ему приятным, веселым своим характером, напоминавшим сладкий вкус приморо женного яблока, которое иногда поднимаешь в декабре под деревом. Присутствие человека, стоящего на самой низкой ступени общества, гораздо удобнее и приятнее было для падшего джентльмена, чем было бы присутствие особы среднего состояния; кроме того, утратив мужественную молодость, Клиффорд радовался, чувствуя себя сравнительно молодым, в противоположность патриархальным летам дяди Веннера. В самом деле, было заметно, что Клиффорд умышленно таил от самого себя сознание, что он уже пожилой человек, и ласкал видения лежавшего еще перед ним земного будущего — видения, правда, столь неясные, что за ними не могло следовать разочарование, хотя, без сомнения, сердце его стеснялось, когда какое-нибудь случайное обстоятельство или воспоминание заставляло его

чувствовать себя увядшим листком.

Итак, это странно составленное маленькое общество собиралось в полуразвалившейся беседке. Гефсиба, торжественная, как всегда, не только не отступала ни на шаг от старинной своей важности, но и выражала ее яснее, чем когда-либо, в величавой снисходительности, и потому ничто ей не мешало быть самой радушной хозяйкой. Она разговаривала благосклонно с праздношатающимся дагеротипистом и выслушивала мудрые советы, не переставая быть леди, от философа в одежде в заплатках, знатока деревьев и поверенного по мелким делам каждого соседа. Со своей стороны, дядя Веннер, изучивший свет на перекрестках и в других местах, равно удобных для верных наблюдений, готов был изливать во всякую минуту свой ум, как городской насос изливает воду.

— Мисс Гефсиба, — сказал он однажды, — мне очень нравятся эти небольшие митинги по воскресеньям. Они очень похожи на то, чем я надеюсь наслаждаться, когда удалюсь на свою ферму.

— Дядя Веннер, — заметил Клиффорд сонливым, задумчивым тоном, — вечно толкует о своей ферме. Но у меня составляется для него мало-по-

малу лучший план. Погодите!

— Ах, мистер Клиффорд Пинчон, — сказал доморощенный философ, — вы можете строить для меня какие угодно планы, только я не отдам за них своего, хотя бы мне и никогда не удалось его исполнить. Мне кажется, что люди странно заблуждаются, накапливая богатства на богатства. Если б я вздумал это делать, то я бы, кажется, перестал верить в то, что Провидение властвует надо мною, или, по крайней мере, боялся, что город перестанет меня кормить. Я один из тех людей, которые думают, что свет довольно широк для всех нас, а вечность слишком длинна.

— Без сомнения, дядя Веннер, — заметила Фиби после некоторой паузы, которая нужна была ей на измерение глубины и верности этого изречения, — но для краткой нашей жизни надобно же обзавестись собственным домиком и хоть небольшим садом.

— Фиби, — сказала Гефсиба, перебивая разговор, — пора уже подавать смородину.

Между тем как великолепная желтизна заходящего солнца наполняла сад более и более, Фиби принесла хлеб и фарфоровое китайское блюдо со смородиной, только что собранной с кустов и пересыпанной сахаром. В этом состояло все

угощение, если не считать воды — разумеется, не из зловещего источника. Между тем Хоулгрейв, очевидно побуждаемый только своею добротой, старался сблизиться с Клиффордом, и, таким образом, это время было, может быть, самым веселым, какое только проводил или должен был проводить впоследствии бедный затворник. Несмотря на это, в глубоком, наполненном мыслью, наблюдательном взоре дагеротиписта мелькало иногда — нельзя сказать, что злое, но вопросительное выражение, как будто он принимал в Клиффорде совсем не то участие, какое можно было предполагать в постороннем человеке, юноше и чуждом семейных связей искателе приключений. Впрочем, обладая способностью легко переходить от одного к другому расположению духа, он не переставал забавлять общество и до того в этом преуспел, что даже на сумрачном лице Гефсибы исчез оттенок уныния, и она сделалась, сколько это было возможно, похожею на остальную компанию. «Как он умеет быть любезным!» — думала Фиби. Что касается дяди Веннера, то он, в знак своей дружбы и благосклонности, охотно позволил молодому человеку снять со своей почтенной особы дагеротипный портрет и выставить его у входа в мастерскую, так как эта

особа была очень хорошо известна всему городу.

Когда гости наслаждались таким образом своею скромной сходкой, Клиффорд мало-помалу оживился и сделался веселее всех, хотя трудно сказать, была ли это одна из колеблющихся вспышек души, к которым она способна и в своем исключительном состоянии, или же какой-то артист искусно коснулся какой-нибудь струны, издавшей музыкальные тоны. В самом деле, прекрасный летний вечер и участие этого небольшого кружка незлобивых душ могли естественно одушевить такую восприимчивую от природы натуру, как Клиффордова, и вызвать в ней ответ на то, что говорилось вокруг. Но он высказывал также и собственные мысли таким живым и причудливым языком, как будто они сверкали сквозь лиственный покров беседки и прятались в сети ветвей. Без сомнения, он бывал так же весел и с Фиби, но никогда не обнаруживал такого тонкого, хотя и сложенного особенным образом ума.

Но когда солнечный свет погас на всех шпилях, в глазах Клиффорда также потухло оживление. Он смотрел с каким-то неопределенно грустным выражением вокруг, как будто потерял что-то драгоценное, и тем горестнее для него была эта

потеря, что он даже не знал, что это именно было.

— Где же мое счастье? — проговорил он невнятно, едва слышно произнося слова. — Много, много лет я ждал его! Поздно! Поздно уже! Где же мое счастье?

Бедный Клиффорд! Ты стар и изнурен бедствиями, которые никогда не должны бы были тебя постигнуть. С одной стороны, ты дряхл, с другой — полоумен; ты живая развалина, ты воплощенная смерть, как почти каждый из нас, только некоторые из нас разрушились и умерли не в такой степени и не так явно! У судьбы нет для тебя в запасе никакого счастья, если только спокойная жизнь в старинном наследственном доме с верной Гефсибой, долгие летние дни с Фиби и эти воскресные праздники с дядей Веннером и дагеротипистом не заслуживают имени счастья! Почему же нет? Если это не само счастье, то оно удивительно на него похоже, и всего больше похоже этим эфирным, неосязаемым свойством, по которому оно тотчас исчезает, лишь только всмотришься в него больше. Прими же от судьбы этот удел, пока не поздно, не ропщи, не спрашивай, но воспользуйся им как можно лучше!

Глава XI
Полуциркульное окно

По своей инерции, или как бы мы ни назвали прозябательное расположение духа Клиффорда, он готов бы был проводить день за днем бесконечно — по крайней мере, в летнее время — так, как мы описали на предыдущих страницах. Но Фиби, полагая, что для него полезно разнообразие сцены, предлагала ему иногда посмотреть на уличную жизнь. Для этого они поднимались вместе по лестнице на второй этаж, где в конце коридора было полуциркульное окно необыкновенной величины, оттененное двумя занавесами. Оно выходило на улицу над самим порталом; некогда перед ним высовывался балкон, но перила его давно уже разрушились и были сняты. Отворив это окно и скрыв себя в тени посредством занавесей, Клиффорд мог наблюдать великое движение мира, сколько его обнаруживалось на уединенной улице не слишком многолюдного города. Но сам он вместе с Фиби представлял зрелище интереснее всякого, какое только мог представить город. Бледный, седой, старый,

печальный, но часто простодушно веселый, а иногда и поражающий умом, выглядывал он из-за полинялых красных занавесей, наблюдая монотонные повседневные явления уличной жизни с непонятным выражением живейшего интереса, и всякий раз, когда его чувство было чем-нибудь возбуждено, обращался за сочувствием к глазам блистающей молодостью девушки.

Как ни была скучна и уединенна Пинчонова улица, но Клиффорд по временам открывал в ней много предметов, на которые стоило посмотреть, и занимал, если не усиливал, свою наблюдательную способность. Вещи, знакомые маленькому ребенку, который глядит на них с самого рождения, казались странными Клиффорду. Вот, например, показывается кэб или ползет омнибус со своею многолюдной внутренностью, выпуская то в одном, то в другом месте пассажира, принимая на его место другого и, таким образом, представляя собой другую огромную колесницу — мир, который оканчивает свое путешествие везде и нигде; он жадно следил глазами за этими предметами, но забывал о них прежде, нежели оседала по следу их пыль, поднятая лошадьми и колесами. В отношении всего нового (а кэбы и омнибусы были для него новинками) ум его,

казалось, потерял свойственную ему цепкость и способность удерживать впечатления. Например, по Пинчоновой улице в самое жаркое время дня раза два или три проезжала поливальная бочка с водой, оставляя позади себя широкую полосу мокрой земли вместо серой пыли, которая поднималась даже от легкого прикосновения дамской ножки; это был как бы летний дождь, который заботливые люди поймали, обуздали и заставили, для общего удобства, действовать в соответствии с установленным порядком. Клиффорд никогда не мог освоиться с поливальной бочкой и всякий раз выражал одинаковое удивление. Она, по-видимому, производила сильное впечатление на него, но воспоминание об этой странствующей бочке исчезало в нем перед ее новым появлением, как исчезал ее мокрый след на пыльной улице. То же самое было и с паровозом на железной дороге. Клиффорду слышно было ржание этой адской кобылицы, а высунувшись немного из окна, он мог даже видеть, как в конце улицы через город пролетала цепь вагонов. Понятие об ужасной силе, поражавшей его таким образом, было для него во всяком случае понятием новым и, по-видимому, действовало на него так же неприятно и сопровождалось таким

же удивлением в сотый раз, как и в первый.

Ничто не заставляет нас так грустно чувствовать упадок умственных сил, как эта неспособность осваиваться с новыми предметами и удерживать в памяти поражающие нас явления. Это, должно быть, только остановка жизни. Постигнутые этим бедствием, мы становимся как бы привидениями.

Клиффорд дорожил всякой старинной приметой улицы, даже и такою, которая своей неуклюжестью должна была естественно тяготить его разборчивые чувства. Он любил старые, дребезжащие повозки, прежние колеи которых он все еще находил в своих давно погребенных воспоминаниях, подобно тому, как современный наблюдатель находит колеи древних колесниц в Геркулануме. Повозка мясника со своею белой покрышкой была для него приятным явлением, как и рыбачья тележка, о которой докладывал резкий свисток, как и деревенская тележка зеленщика, которую терпеливая лошадь возила от двери до двери и неподвижно дожидалась у каждого дома, пока ее хозяин торговался с говорливыми покупателями за свою репу, морковь, летние тыквы, низки бобов, зеленый горох и новый картофель. Тележка хлебника с резкой

музыкой своих колокольчиков производила на Клиффорда приятное впечатление потому, что эти колокольчики звенели совершенно так, как во времена оны. Подобное можно было сказать о весьма немногих предметах. Однажды после обеда точильщик остановился мимоходом под Пинчоновым вязом, против самого полуциркульного окна. Дети окружили его с ножницами своих матерей, с кухонными ножами или с отцовскими бритвами и с другими тупыми вещами, чтобы точильщик приложил каждую вещь к своему магическому колесу и возвратил в таком виде, как будто она только что куплена. Неутомимая машина, приводимая в движение его ногою, вертелась беспрестанно; сталь сверкала искрами, прикасаясь к твердому оселку, и производила пронзительный протяжный визг, подобный визгу сатаны в Пандемониуме. Это была отвратительная какофония свистящих звуков, какая только когда-либо поражала человеческое ухо, но Клиффорда она привела в величайшее восхищение. Эти неприятные звуки имели в себе движение жизни и вместе с кружком любопытных детей, следивших за миганием колеса, вносили в его душу живейшее чувство деятельного, шумного, озаренного солнцем существования, и ничто

не могло с этим сравниться. Но прелесть этого чувства заключалась главнейшим образом в прошедшем, потому что колесо точильщика точно так же визжало в его ушах во времена детства.

Иногда он печально жаловался, что теперь не ходят почтовые кареты, и спрашивал огорченным тоном, что сделалось со всеми этими четырехугольными телегами с крыльями по обеим сторонам, в которых приезжали в город жены и дочери фермеров с черникой и ежевикой. Их исчезновение заставляло его опасаться, не перестали ли расти эти ягоды на пастбищах и на тенистых деревенских полянах.

Но все, что только говорило чувству красоты, как бы смиренно оно ни проявлялось, не нуждалось для своего успеха в том, чтобы с ним связывались старые воспоминания. Это было замечено, когда один из итальянских мальчиков — новейшая черта наших улиц — появлялся со своим органом и останавливался под широкой и прохладной тенью вяза. Его изощренный профессией взгляд тотчас замечал два лица, наблюдавшие его из полуциркульного окна, и, открыв инструмент, он начинал разыгрывать свои мелодии. На плече у него обыкновенно сидела обезьяна, одетая в шотландский плащ, а

для довершения очарования, какое производил он своим появлением на публику, у него было собрание небольших фигурок, сфера которых ограничивалась ящиком его органа, а правила жизни основывались на музыке, извлекаемой итальянцем из этого инструмента. Можно сказать, что это счастливое маленькое общество при всем разнообразии своих занятий — тут были сапожник, кузнец, солдат, дама с веером, пьяница с бутылкою, молочница, присевшая под своей коровою, — наслаждалось истинно блаженным существованием и жило, приплясывая, и это в буквальном смысле слова. Каждый из этих маленьких индивидуумов двигался с необыкновенной живостью. Сапожник вытягивал обеими руками дратву; кузнец бил молотом; солдат размахивал блестящею саблею; леди охлаждала веером воздух; веселый пьяница тянул усердно из своей бутылки; ученый раскрывал книгу с нетерпеливой жаждой знаний и ворочал головой сюда и туда вдоль страниц; молочница энергично доила свою корову, а скупец пересчитывал деньги в огромном сундуке — и все это по одному и тому же повороту рукояти.

Вероятно, какой-нибудь художник, вместе веселый и едкий, хотел выразить в этой панто-

мимической сцене мысль, что мы, смертные, во всех своих делах и забавах, как бы они ни были серьезны или ничтожны, пляшем под одну дудку и, несмотря на свою смешную деятельность, не вносим ничего нового в прошедшее. Всего замечательнее в этом зрелище то, что лишь только останавливается музыка, и все вдруг окаменевают и из самой деятельной жизни переходят в самое мертвое оцепенение. У сапожника сапоги не закончены; у кузнеца железо не получило никакой формы; у пьяницы в бутылке не убавилось ни капли водки; у коровницы в подойнике не прибавилось ни капли молока; скупец не насчитал ни одной лишней монеты, а ученый не перевернул ни одной страницы в книге. Все осталось именно в том самом положении, в каком пребывало, пока этот народ не принимался трудиться, веселиться, копить золото и набираться мудрости.

Между тем обезьяна, виляя тонким хвостом под роскошными складками своего тартана, помещается у ног итальянца. Она поворачивает свою морщинистую, жалкую рожицу к каждому прохожему, обводит глазами кружок детей, которые уже окружили музыканта, посматривает на дверь лавочки Гефсибы и бросает взгляд

вверх к полуциркульному окну, откуда смотрят Фиби и Клиффорд. Она поминутно снимает свою шотландскую шапку, делает поклон и шаркает ножкой. Иногда, впрочем, она обращается непосредственно к стоящим вокруг зрителям, протягивая свою маленькую черную ладонь и выражая разными другими жестами свое искреннее желание получить что-нибудь из кармана любопытных. Странно похожее на человеческое выражение ее физиономии; умоляющий и коварный взгляд, обнаруживающий ее готовность погнаться за каждой жалкой выгодой; длинный хвост, такой длинный, что никак не мог спрятаться под плащом, — все эти черты вместе делают из обезьяны как нельзя более выразительную артистку. Маммона медных монет олицетворяет самую грубую любовь к деньгам. Не было никакой возможности насытить этого жадного чертика. Фиби бросила полную горсть мелкой меди. Обезьянка подобрала монеты с радостью, отдала спрятать итальянцу и тот же час начала опять свои пантомимические просьбы.

Без сомнения, не один новоанглийский житель — или все равно какой бы ни было нации человек, — проходя мимо, бросал взгляд на обезьяну и шел своим путем, не утомляя себя какими-либо

дальнейшими соображениями. Клиффорд был существо особого разряда. Он по-детски восхищался музыкой и смеялся, глядя на фигуры, которые она приводила в движение. Но, посмотрев некоторое время на долгохвостого чертенка, он так был поражен его ужасным безобразием, что начал не на шутку плакать — слабость, которой люди, одаренные только нежными чувствами и лишенные способности смеяться, с трудом могут противостоять, когда случайно им представится самое низкое явление жизни.

Пинчонова улица оживлялась иногда зрелищами гораздо более торжественными, чем описанное выше, и эти зрелища всегда влекли за собой толпу народа. Вместе с дрожью отвращения при мысли о личном соприкосновении со светом Клиффорд чувствовал сильное влечение к нему всякий раз, когда шум и говор собравшейся толпы доходили до его слуха. Это обнаружилось особенно ясно однажды, когда городская процессия, с сотнями развевающихся знамен, с барабанами, флейтами, трубами и кимвалами, гремящими между рядами домов, проходила по улице, производя ногами во всю ее длину глухой гул и нарушая всегдашнюю тишину Дома о Семи Шпилях необыкновенной смесью звуков. Как

предмет простого наблюдения, процессия в узкой улице слишком бедна живописными чертами. Когда зрителю видно монотонное выражение каждого лица, лоснящегося от пота и высказывающего тяжелое самодовольство, когда виден даже покрой панталон, видна даже жесткость или мягкость воротничков и даже пыль на спинах сановитых людей, тогда подобная картина покажется ему не более как детской игрой. Чтоб она представила зрелище величественное, надобно видеть ее с выгодного ракурса, когда она медленно двигается своею длинной массой через широкую равнину или красивую городскую площадь; тогда в отдалении все мелкие личности, из которых она состоит, сливаются в широкую картину бытия, в одну огромную жизнь, в одно собирательное тело, одушевленное однородным духом. Но, с другой стороны, если человек очень впечатлительный, стоя один, так сказать, на берегу такой движущейся картины, будет рассматривать ее не в ее атомах, но в ее агрегате, как широкую реку жизни, текущую в глубоком ложе, полную мрачных таинств и взывающую из своей глубины к его внутренней чувствующей глубине, тогда близость придаст ей еще больше эффекта. Она до такой степени его очарует, что

он только с трудом удержится, чтоб не броситься в волнующийся поток человеческих страстей.

Так было и с Клиффордом. Он начал дрожать; он побледнел; он бросил встревоженный взгляд на Гефсибу и Фиби, которые сидели рядом с ним у окна. Они не понимали ничего в его движениях и воображали, что он только взволнован непривычным шумом. Наконец, весь в трепете, он вскакивает, заносит ногу на окно — еще минута, и он был бы на неогражденном перилами балконе. Вся процессия могла видеть дикого, блуждающего глазами человека, его седые волосы, развевающиеся на ветру, который волновал ее знамена, — одинокое существо, отчужденное от своей породы, но чувствующее себя снова человеком, объектом непреодолимого инстинкта, который увлекал его. Если б Клиффорд выскочил на балкон, он, вероятно, бросился бы на улицу — под влиянием ли особенного ужаса, который иногда увлекает свою жертву в пропасть, от которой она отшатывается, или животного магнетизма, трудно решить. Оба побуждения могли действовать в нем одновременно.

Но его товарищи, испуганные его жестами, которые напоминали движения человека, увлекаемого против воли, схватили Клиффорда за

платье и удержали по эту сторону окна. Гефсиба вскрикнула. Фиби, на которую всякое безумие наводило ужас, начала плакать.

— Клиффорд, Клиффорд! Неужели вы потеряли рассудок? — воскликнула его сестра.

— Я едва понимаю, что делаю, Гефсиба, — сказал Клиффорд, тяжело дыша. — Не бойся, все прошло, но если б я бросился туда и остался жив, мне кажется, я бы был другим человеком.

Может быть, в некотором смысле Клиффорд говорил правду. Ему нужно было потрясение, или, может быть, ему нужно было погрузиться глубоко-глубоко в океан человеческой жизни, потонуть в нем, покрыться его глубиной и потом вынырнуть отрезвленным, выздоровевшим, возвращенным миру и самому себе. А может быть, ему нужно было только последнее лекарство — смерть!

Подобное желание восстановить разорванные связи выражалось у него иногда в более тихих порывах, а однажды оно было украшено религией, которая лежит в сердце человеческом еще глубже, нежели даже это чувство. В случае, о котором мы расскажем, высказалось со стороны Клиффорда трогательное сознание попечения и любви Божией к нему, к этому бедному, покинутому

человеку, который, если б это было возможно для какого-нибудь смертного, мог бы безгрешно считать себя отверженным, забытым.

Это было в одно воскресное утро, в одно из тех светлых, тихих воскресений, когда небеса как будто улыбаются над всем пространством земли торжественной улыбкой — торжественной и вместе приветливою. В такое воскресное утро, если б только мы были довольно чисты для того, чтоб быть его проводником, мы бы почувствовали, как естественное богопочитание восходит посредством нашего существа к небу, на каком бы месте мы ни стояли. Колокола — разнообразных тонов, но все согласованные между собой в гармонию — перекликались и отвечали друг другу:

«Воскресенье!» — «Воскресенье!» — «Да, сегодня воскресенье!»

По всему городу разносили они эти благословенные звуки, то тихо, то с живой радостью, то поодиночке, то все вместе, восклицая с восторгом:

«Воскресенье!»

И воздух далеко расширял их звон и смешивал его со звуками святого слова. Проникнутый ясным и нежным солнечным сиянием, он вливался посредством дыхания в сердца людей и выходил

оттуда облеченным в слова молитвы.

Клиффорд сидел у окна с Гефсибой, наблюдая за соседями, проходившими по улице. Все они, как бы ни были грубо вещественны в прочие дни, были преображены влиянием воскресенья, так что даже одежды их — был ли это приличный фрак пожилого человека, старательно вычищенный в тысячный раз, или первый пальто-мешок мальчика, оконченный только вчера иголкой матери, — носили на себе какой-то высший отпечаток. Фиби также вышла из-под портала старого дома со своим маленьким зеленым зонтиком и оглянулась с прощальной дружеской улыбкой на лица, глядевшие из полуциркульного окна. В ее наружности были теперь привычная радость и вместе с тем какое-то благоговейное чувство, так что мы могли с нею играть и вместе с тем уважать ее более, чем когда-либо. Она была подобна молитве, произносимой тем языком, которым самая лучшая мать разговаривает со своим ребенком. Фиби была свежа, воздушна и легка в своем уборе, как будто ничто из того, что на ней было — ни ее платье, ни ее легкая соломенная шляпка, ни ее маленький носовой платок, ни ее белоснежные чулки, — как будто ничто не было еще ни разу не надето, а если и было, то сделалось оттого еще

свежее и получило такой запах, точно как бы полежало между розами.

Девушка махнула рукой Гефсибе и Клиффорду и пошла вдоль улицы, она была олицетворенная вера, теплая, простая, искренняя, облеченная в вещество, способное жить на земле, и оживленная духом, достойным жизни на небесах.

— Гефсиба, — спросил Клиффорд, проводив Фиби глазами до самого угла улицы, — ты никогда не ходишь в церковь?

— Нет, Клиффорд, — отвечала она, — не хожу много-много уже лет!

— Если б я был там, — продолжал он, — то мне кажется, что я молился бы усерднее, когда бы вокруг меня молилось столько человеческих душ.

Она посмотрела ему в лицо и заметила на его глазах тихие, естественные слезы, потому что сердце его рвалось из груди и изливалось посредством глаз в восторженном богопочитании и теплой любви к ближним. Это душевное волнение сообщилось и Гефсибе. Она взяла его за руку, и они решились идти вместе преклонить колени — оба так долго отделенные от мира и, как Гефсиба теперь сознавала, едва оставшиеся друзьями Ему превышнему, — преклонить колени посреди народа и примириться разом с Богом и людьми.

— Милый брат, — сказала она с чувством, — пойдем! Мы никуда не причислены, у нас нет ни в одной церкви места для коленопреклонения, но пойдем в какое-нибудь место богослужения и поместимся хоть у входа. Мы бедные, оставленные всеми люди… может быть, для нас отворится какая-нибудь скамейка!

И вот Гефсиба и ее брат собрались как могли скорее, нарядились в лучшее свое, старого покроя платье, висевшее в шкафах или спрятанное в сундуки так давно, что оно покрылось бледностью и прониклось гнилым запахом старины, — нарядились в это полинялое платье и отправились в церковь. Они спустились вместе с лестницы — худощавая, пожелтевшая Гефсиба и бледный, истощенный, подавленный старостью Клиффорд. Они отворили наружную дверь, перешагнули через порог, и оба пришли в замешательство, как будто очутились в присутствии всего мира и все человечество устремило на них глаза. Небесный Отец их как будто отвратил от них в ту минуту свой взор и не послал им ободрения. Теплый, солнечный воздух улицы произвел в их теле дрожь. Сердца их также содрогнулись при мысли сделать еще один шаг.

— Это невозможно, Гефсиба! Слишком позд-

но! — сказал Клиффорд с глубокой горестью. — Мы привидения! Мы не можем смешиваться с людьми, не должны существовать нигде, как только в этом старом доме, в котором мы осуждены жить привидениями! Да кроме того, — продолжал он с нежною, характерной для него чувствительностью, — ничего не было бы в этом привлекательного. Неприятно и подумать, что я должен внушать ужас моим ближним и что дети станут прятаться за юбки своих матерей и глядеть на меня оттуда!

И они воротились в сумрак коридора и затворили дверь. Но, поднявшись снова по лестнице, они нашли всю внутренность дома в десять раз печальнее, а воздух в десять раз гуще и тяжелее против прежнего, и все от одного мига свободы, которая повеяла на них с улицы. Они не могли убежать из своего заключения: их тюремщик только ради шутки отворил перед ними дверь, спрятался за нею, подглядывая, как они станут в нее прокрадываться, и на пороге безжалостно остановил их. В самом деле, какая тюрьма может быть темнее собственного сердца? И какой тюремщик неумолимее к нам, чем мы сами?

Но мы бы представили неверное изображение состояния Клиффордова ума, изображая его по-

стоянно или преимущественно подавленным горем. Напротив, не было в городе другого человека — это мы смело будем утверждать — и вполовину моложе его, который бы насладился столькими светлыми и радостными минутами. На нем не лежало никакое бремя забот; он не знал никаких расчетов с будущим, которые прочие люди сводят и не оканчивают за всю жизнь только потому, что беспрестанно должны заботиться о средствах для своего физического и нравственного существования. В этом отношении он был ребенок — ребенок на весь остаток своей жизни, длинна или коротка она будет. В самом деле, жизнь его как будто остановилась на периоде немного позднее детства и сосредоточила все свои воспоминания на этой эпохе. Он был похож на человека, который оцепенел от сильного удара и возрождающееся сознание которого вынесло на поверхность из бездны забвения минуты, далеко предшествовавшие оглушившему его случаю. Он иногда рассказывал Фиби и Гефсибе свои сны, в которых он постоянно играл роль дитяти или очень молодого человека. Сны эти были так живы, что он однажды спорил со своей сестрой об особенном узоре ситца на утреннем платье, которое он видел на своей матери в предшество-

вавшую ночь. Гефсиба, не чуждая претензии на свойственное женщинам знание дела, утверждала, что узор этот немножко отличался от того, который он описывал, но когда вынула из старого сундука то самое платье, оказалось, что оно было именно таким, каким отразилось в его воспоминании. Если бы Клиффорд всякий раз, когда выплывал на поверхность похожей на сон жизни, подвергался мучению превращения из мальчика в старого, немощного человека, то ежедневное повторение этого удара было бы ему не по силам. Это превращение наполнило бы мучительной агонией весь его день, от утреннего полусвета до отхода ко сну, и даже тогда примешивало бы глухую, непонятную боль и бледный цвет несчастья в воображаемый юношеский цвет его сна. Но ночной свет луны, слившийся с утреннею мглой, набрасывал на него одежду, в которую он плотно закутывался, редко пропуская сквозь нее к своему сердцу действительность; он редко пробуждался совершенно, он спал с открытыми глазами и, может быть, даже воображал, что спит.

Пребывая, таким образом, душой в эпохе детства, он чувствовал к детям симпатию, и оттого сердце его постоянно освежалось, как резервуар воды, в который проведен ручеек невдалеке от

своего истока. Хотя тайное чувство приличия удерживало его от вмешательства в их общество, однако ж мало было занятий, которые бы доставляли ему столько удовольствия, как смотреть из полуциркульного окна на маленькую девочку, которая катала свой обруч по тротуару, или на мальчиков, игравших в мяч. Их голоса также были ему очень приятны, когда они доносились к нему издали, перемешанные между собой и жужжащие, как мухи на окне, озаренном солнцем.

Клиффорд, без сомнения, рад бы был разделять их игры. Однажды после обеда он почувствовал непреодолимое желание надувать мыльные пузыри. Любимая его забава с сестрой, когда они оба были детьми, как сообщила Гефсиба потихоньку Фиби. Но посмотрите на него в полуциркульном окне, с соломенной трубочкой во рту! Посмотрите на него, с его седыми волосами и вялым, ненатуральным смехом на лице, все еще не потерявшем этой прелестной грации, которую и злейший его враг должен признать неизгладимою, если она так долго сохранилась! Посмотрите, как он пускает мыльные пузыри из окна на улицу! Что такое эти воздушные шарики, если не маленькие, неосязаемые миры с отражением на их почти несуществующей поверхности

огромного мира в ярких цветах воображения? Любопытно было наблюдать, как прохожие смотрели на эти блистательные фантазии, когда они спускались вниз и превращали вокруг себя грубую атмосферу в легкую игру воображения. Некоторые останавливались, глядели несколько минут и, может быть, уносили прелестное воспоминание о мыльных пузырях до самого поворота на другую улицу; другие взглядывали с досадой вверх, как будто бедный Клиффорд обижал их, заставляя прекрасные видения летать так низко над пыльной дорогой. Многие поднимали палец или палку, чтобы пронзить мыльный пузырь, и злобно радовались, когда воздушный шарик, с изображенными на нем небом и землей, исчезал, как будто его никогда и не было.

Наконец, в то самое время, когда один пожилой джентльмен весьма почтенной наружности проходил мимо, большой мыльный пузырь спустился величественно вниз и лопнул как раз у него на носу. Он поднял глаза — сперва с суровым, острым взглядом, который в одно мгновение проник в темную глубину полуциркульного окна, потом с улыбкою, которая как будто разлила знойный воздух на расстоянии нескольких ярдов кругом.

— Ага, кузен Клиффорд! — вскричал судья Пинчон. — Как! Вы все еще надуваете мыльные пузыри?

Его голос, казалось, был предназначен произвести добродушные, ласковые звуки, но в нем высказалась едкость сарказма. Что касается Клиффорда, то его лицо покрылось смертной бледностью. Независимо от какой-нибудь определенной причины ужаса, которая могла скрываться в его опыте, добродетельный судья внушал ему этот врожденный и первоначальный страх, который свойственен слабым, нежным и чутким характерам в присутствии грубой силы.

Глава XII
Дагеротипист

Трудно предположить, чтобы жизнь особы, от природы такой деятельной, как Фиби, могла ограничиться тесными пределами старого Пинчонова дома. Потребности Клиффорда были удовлетворяемы ею в долгие летние дни значительно раньше захождения солнца. При всем спокойствии его дневного существования это существование истощало, однако, ресурсы, которыми он жил. Не физическое движение

утомляло его, потому что — за исключением короткой работы мотыгой, прогулки по саду или в дождливую погоду обхода пустых комнат — он чувствовал постоянную склонность оставаться в неподвижности относительно всякого труда членов и мускулов. Но или в нем таился тлеющий огонь, съедавший его жизненную энергию, или монотонность, которая бы произвела оцепеняющее действие на ум, организованный иначе, не была монотонностью для Клиффорда. Может быть, он был в состоянии вторичного развития и восстановления и черпал постоянную пищу из того, что поражало его зрение, слух или ум, тогда как для людей, более знакомых с миром, окружавшая его сфера казалась слишком обыкновенною. Как для неразвитого ума ребенка все, что на него действует, есть уже деятельность и напряжение, так оно, может быть, было и для ума, подвергшегося новому витку развития после его надолго остановленной жизни.

Как бы то ни было, только Клиффорд обыкновенно отходил ко сну совершенно истощенный, когда солнечные лучи еще пробивались сквозь его постельные занавески или отражались с последним блеском на стенах комнаты. И в то время, когда он таким образом засыпал рано,

подобно всем детям, и видел во сне детство, Фиби могла свободно предаваться влечению собственного вкуса в остаток дня и вечером.

Эта свобода была необходима для здоровья даже характера, так мало расположенного к болезненным влияниям, каков был характер Фиби. Старый дом, как мы уже сказали, проникнут был разрушительной гнилью ветхости; вредно было бы ей дышать только такой атмосферой. Гефсиба, несмотря на некоторые драгоценные черты, искупавшие ее недостатки, сделалась будто бы помешанной от долгого добровольного заключения в этом единственном месте, без всякого другого сообщества, кроме известного набора мыслей, кроме одной привязанности и одного горького чувства обиды. Клиффорд, как это легко понять, был так недеятелен, что не мог иметь нравственного влияния на своих собеседниц, несмотря на всю искренность и исключительность их соотношений. Но симпатия между человеческими существами разлита гораздо тоньше и повсеместное, чем мы думаем; она существует между различными классами органической жизни и сообщается от одного другому. Например, цветок, как заметила Фиби, скорее начинал увядать в руке Клиффорда или Гефси-

бы, чем в ее собственной. Вследствие того же закона эта цветущая девушка, обращая все свое дневное существование в цветочный аромат для этих двух больных душ, неизбежно должна была поникнуть, побледнеть скорее, чем если б она покоилась на более молодой и счастливой груди. Если б только она от времени до времени не предавалась увлечению своего живого характера и не дышала уличным воздухом в прогулках по предместью или прохладой океана, бродя вдоль морского берега; если б она не повиновалась иногда желанию, врожденному в новоанглийской девушке, прослушать метафизическую или философскую лекцию, или посмотреть семимильную панораму, или побывать в концерте; если б она не ходила по городским лавкам, закупая запас товаров для лавочки Гефсибы и увеличивая свой гардероб какою-нибудь лентой; если б она также не прочитывала Библии в своей комнате и не посвящала части своего времени на то, чтобы подумать о своей матери и родной деревне; если бы, словом, у нее не было всех этих нравственных лекарств, то мы скоро увидели бы свою бедную Фиби исхудалою, скоро бы лицо ее покрылось нездоровой бледностью — предвестницей старого девичества и безрадостного будущего.

Даже и теперь в ней заметна была перемена — перемена, достойная отчасти сожаления, хотя, уменьшив несколько ее веселую прелесть, она придала ей новую, драгоценнейшую. Фиби не была уже по-прежнему постоянно весела и начала задумываться, что вообще нравилось Клиффорду больше, чем прежняя фаза неизменной веселости, потому что она теперь понимала его лучше и деликатнее и иногда даже объясняла это ему самому. Глаза ее смотрели шире и сделались чернее и глубже; в них была такая глубина в иные молчаливые минуты, что они походили на артезианские колодцы: глубина, глубина, и так до бесконечности. Она уже была не до такой степени девушка, как при первом нашем с ней знакомстве, когда она спрыгнула со ступеньки омнибуса, — менее девушка, но более женщина.

Единственный юношеский ум, с которым Фиби имела частое общение, был ум дагеротиписта. Под влиянием уединенной жизни в старом доме они неизбежно должны были дойти до некоторой фамильярности. Если б эти молодые люди встретились при других обстоятельствах, то ни один из них не думал бы о другом долго, разве только чрезвычайное несходство их характеров было бы побуждением к взаимному их сближению. Прав-

да, оба они представляли характеры, созданные новоанглийской жизнью, и поэтому внешнее их развитие имело одно общее основание, но в глубине души каждый из них так был не похож на другого, как будто природные их натуры были разделены между собой целым миром. В первые дни своего знакомства с Хоулгрейвом Фиби держала себя в отношении к нему осторожнее, чем было свойственно ее обыкновенно открытому и простому обхождению, и Хоулгрейв тоже не очень заметно продвигался вперед. До сих пор она не могла сказать, чтоб она хорошо его знала, хотя они встречались ежедневно и беседовали дружески и даже как бы фамильярно.

Дагеротипист сообщил Фиби отрывками кое-что из истории своей жизни. Хотя он был еще молод и достиг только части своей карьеры, его жизнь была уже так богата приключениями, что из нее вышел бы очень любопытный томик автобиографии. Роман, написанный по плану «Жиль Бласа»[2] в применении к американскому обще-

[2] Примечания: 2

«*Похождения Жиль Бласа из Сантильяны*» — плутовской роман Алена Рене Лесажа (1668–1747). Главный герой любого плутовского романа — жулик и проходимец. Как правило, преступником этого человека делают обстоятельства, окружение и т. д., и в этом — основная остросоциальная проблематика этого жанра литературы. — *Примеч. редактора.*

ству и нравам, перестал бы быть романом. Между нами много есть индивидуумов, приключения которых, считающиеся едва стоящими рассказа, сравнялись бы по своей занимательности с превратностями ранней молодости испанца, а окончательное их развитие или цель, к которой они стремятся, могут быть несравненно выше, чем что-либо, выдуманное автором «Жиль Бласа» для своего героя. Хоулгрейв не мог похвалиться знатностью своего происхождения: он был сын темных и убогих родителей; что же касается его воспитания, то оно ограничивалось только несколькими зимними месяцами учения в деревенской школе. Предоставленный рано собственному произволу, он еще мальчиком должен был сам себе искать средства к существованию, и это было положение самое выгодное для развития его врожденной силы воли. Хотя он успел прожить еще только двадцать два года (без нескольких месяцев, которые равны годам в такой жизни), однако ж занимал уже должность учителя в деревенской школе, был приказчиком в деревенском магазине и в то же время или позднее редактором деревенской газеты, потом он путешествовал по Новой Англии и центральным штатам в качестве разносчика от коннектикут-

ской фабрики одеколона и других эссенций. В виде эпизода он изучал в теории и на практике стоматологию и весьма успешно практиковал, особенно в промышленных городах вдоль наших внутренних рек. Записавшись сверх штата в какую-то должность на пакетботе, он посетил Европу и нашел средства — еще до возвращения в отечество — видеть Италию и часть Франции и Германии. Недавно еще он читал публичные лекции о месмеризме, к которому имел замечательную способность (как сам он уверял Фиби).

Настоящая его деятельность в роли дагеротиписта имела в его глазах не более цены и не обещала большого постоянства, как и все предшествовавшие занятия. Он принялся за этот промысел с беззаботной скоростью искателя приключений, которому надобно чем-нибудь добывать хлеб, и готов был бросить его с такой же беззаботностью, если б только нашел другой, более приятный для себя способ. Но что было особенно замечательно в молодом человеке и обнаруживало в нем необыкновенное равновесие нравственных сил, так это то, что он, при всех превратностях своей судьбы, остался верен самому себе. Несмотря на свою бездомность, несмотря на то что он вечно переменял свое местопребывание и, следовательно, не был

ответственен ни перед общественным мнением, ни перед индивидуумами, несмотря на то что часто оставлял одну личину и принимал другую, готовый тотчас переодеться в третью, он никогда не насиловал своего внутреннего человека и всегда пребывал с ним в душевном мире. Невозможно было знать Хоулгрейва и не заметить в нем этого свойства. Гефсиба понимала его.

Фиби, тоже лишь только увидела молодого человека, как тотчас почувствовала к нему доверчивость, которую всегда внушает такой характер. Правда, он поражал ее и иногда даже отталкивал, но это происходило не оттого, чтобы она сомневалась в его правилах, каковы бы они ни были, но оттого, что его правила, как это она чувствовала, отличаются от ее.

Ей было с ним как-то неловко: он как будто все вокруг нее приводил в беспорядок недостатком почтения к тому, что она считала непоколебимо верным и неизменным. Кроме того, она не вполне была уверена в том, чтобы его натура была способна к привязанности. Для этого он был слишком спокойным и холодным наблюдателем. Он принимал некоторое участие в Гефсибе и ее брате, да и в самой Фиби. Он изучал их внимательно, и от него не ускользало ни малейшее

обстоятельство в их характерах. Он был готов сделать для них всякое одолжение, но при всем том никогда не соглашался с ними вполне и не обнаруживал никакого желания привязаться к ним больше по мере того, как узнавал их. В своих с ними отношениях он, казалось, искал пищи для ума, но не для сердца, и Фиби не могла постигнуть, что интересовало его так сильно в ее друзьях и в ней самой по части ума, если в самом деле он не чувствовал к ним вовсе — или чувствовал сравнительно очень мало — сердечной привязанности.

В свои свидания с Фиби дагеротипист всегда расспрашивал обстоятельно, весел ли Клиффорд, кроме праздников и воскресений, когда он видел его сам.

— Он все по-прежнему кажется счастливым? — спросил он однажды.

— Так счастлив, как ребенок, — ответила Фиби, — но так же, как ребенок, легко бывает и встревожен.

— Чем же? — спросил Хоулгрейв. — Внешними или внутренними причинами?

— Я не могу видеть его мыслей! Как бы я могла их видеть? — ответила Фиби с простодушной колкостью. — Очень часто расположение души

его переменяется без всякой видимой причины, точно как на солнце набегает вдруг облако. В последнее время, когда я начала узнавать его лучше, мне как-то тяжело, как-то совестно вглядываться в его душу. Он пережил какую-то великую горесть. Когда он весел — когда солнце освещает ум его, — я позволяю себе заглянуть туда до той глубины, до которой достают солнечные лучи, но не дальше. Что покрыто в нем мраком, то для меня земля свята.

— Как прекрасно выразили вы свое чувство! — сказал дагеротипист. — Я не умею так чувствовать, но понимаю вас. Будь я на вашем месте, меня ничто не остановило бы измерить глубину души Клиффорда во всю длину моего лота.

— Странно, что вы этого так желаете! — заметила Фиби невольно. — Что такое кузен Клиффорд для вас?

— О, ничего, конечно, ничего! — отвечал Хоулгрейв со смехом. — Только странен и непостижим этот мир! Чем больше я в него всматриваюсь, тем больше он меня озадачивает, и я начинаю думать, что заблуждение человека есть мера его ума. Мужчины, женщины и дети — такие странные создания, что невозможно наконец быть уверенным, что знаешь их действительно, и уга-

дать, чем они были, а не чем они кажутся. Судья Пинчон, Клиффорд — что за запутанная загадка! Запутанность запутанностей и всяческая запутанность! Чтоб разрешить ее, для этого нужна такая созерцательная симпатия, какой одарена только молодая девушка. Я простой наблюдатель, я никогда не обладал созерцательностью, я только пронырлив и зорок и потому совершенно уверен, что заблуждаюсь.

Вслед за тем дагеротипист переменил разговор и перешел к темам менее мрачным. Фиби и он были молоды. В испытаниях своей прошедшей жизни он не совсем растерял этот прекрасный дух юности, который, изливаясь из сердца и фантазии, разносится по всему миру и делает его таким блистательным, каким он был в первый день творения. Он рассуждал премудро о старости мира, но в самом деле чувствовал совсем иное — он все-таки был молодой человек и потому смотрел на мир как на нежного юношу, который не перестает подавать надежды на дальнейшее усовершенствование. В нем было это чувство, это внутреннее предвидение, без которого молодому человеку лучше вовсе не рождаться, а возмужалому лучше умереть, чем потерять его, — чувство, что мы не осуждены вечно тащиться по старой,

дурной дороге, что мы совершенствуемся, идем к лучшему. Хоулгрейву казалось, как, без сомнения, казалось полному надежд юноше каждого столетия, что в его век, более чем когда-либо, человечество освобождается от своих немощей и начинает жизнь заново.

Относительно главного пункта своих убеждений — что наступят для человеческого рода лучшие столетия, — дагеротипист, конечно, был прав. Ошибка его состояла в предположении, что его век способнее всякого — из прошедших или будущих — переменить изношенную одежду древности на новый костюм разом, вместо того чтобы постепенно подновлять ее заплатками, состояла в том, что он краткий момент своего существования считал достаточным для свершения бесконечно долгого дела, и всего больше в том, что он воображал, что без его участия *за* или *против* не могло совершиться ничего, ведущего к великим последствиям. Этот энтузиазм, проступающий сквозь наружное спокойствие его характера и принимающий, таким образом, вид основательного суждения и ума, сохранял в чистоте его юношеский пыл и придавал величие его стремлениям; а когда с летами неизбежная опытность изменит мысли, это совершится без

потрясающего, внезапного переворота его чувств. Он сохранит веру в высокое предназначение человека и, может быть, будет любить его тем сильнее, что убедится в его бессилии, а высокомерная уверенность, с которой начал он жизнь, без труда перейдет в более смиренное, соседнее с нею убеждение, что самые лучшие усилия человека выстраивают какой-то сон и что один Бог творит действительность.

Хоулгрейв читал очень мало, и то только проездом по пути жизни, когда мистический язык его книг обязательно смешивался с болтовней толпы, так что тот и другая готовы были потерять для него всякий собственный смысл. Он считал себя мыслителем и в самом деле имел способности мыслителя, но, будучи принужден прокладывать сам себе дорогу, он еще только-только достиг того пункта, с которого человек образованный начинает мыслить. Истинное достоинство его характера состояло в этом глубоком осознании внутренней силы, при котором все бывшие превратности его судьбы казались только переменой костюмов; в этом энтузиазме, столь спокойном, что он едва подозревал его в себе, но который сообщал теплоту всему, за что он принимался; в этом честолюбии, скрытом от его собственного,

как и от всякого постороннего, наблюдения; в его более благородных побуждениях, но во всем этом проглядывало нечто такое, что было бы способно возвести его от степени теоретика в степень практика в каком-нибудь насушном предприятии. В своей образованности и недостаточности образованности, в своей необработанной, дикой и мистической философии и практической жизни, которая противодействовала некоторым из его стремлений, в своем великодушном рвении к благосостоянию во всем, что он имел и чего ему недоставало, дагеротипист мог бы служить достойным представителем множества своих земляков.

Трудно было бы предначертать его карьеру. В Хоулгрейве проявлялись такие качества, с которыми он — при счастливом случае — легко мог бы получить один из призов мира. Но это ожидание было неверно до смешного. Почти на каждом шагу встречаем мы в жизни молодых людей возраста Хоулгрейва и пророчим им в душе чудное будущее, но потом, даже после многократных и старательных осведомлений, мы не слышим о них ничего подобного. Кипение юности и страсти и свежий лоск ума сообщают им ложный блеск, который дурачит их самих и других людей. Подоб-

но некоторым ситцам, коленкорам и гингамам, они блестят и играют цветами, пока новы, но не могут выносить солнца и дождя и превращаются в линялые тряпки, когда их выстирают.

Но пускай Хоулгрейв останется для нас таким, каким мы видим его в это замечательное послеобеденное время в садовой беседке. Приятно смотреть на молодого человека, столь полного веры в себя, одаренного, по-видимому, столь удивительными способностями и столь мало затронутого множеством испытаний, которым он подвергался. Приятно наблюдать за его дружескими отношениями с нашей Фиби. Едва ли она была права, называя его в душе холодным человеком; если же и была, то теперь он сделался теплее. Без всякого намерения с ее стороны и бессознательно для него самого, она превратила для него Дом о Семи Шпилях в родное жилище и сделала сад любимым его местом. Считая себя человеком чрезвычайно проницательным, он думал, что он в состоянии видеть насквозь Фиби и все ее окружающее и читать девушку, как детскую повесть. Но такие прозрачные натуры часто бывают обманчивы в глубине своей — булыжник на дне источника гораздо дальше от нас, чем мы думаем. Поэтому дагеротипист, что бы ни

думал он о способностях своей собеседницы, был увлекаем какою-то молчаливой ее прелестью и высказывал ей свободно, что мечтал он совершить в мире. Он изливал перед ней свою душу, как бы перед самим собой. Весьма быть может, что он забывал о Фиби, говоря с нею, что он был побуждаем только неизбежным стремлением мысли, которую энтузиазм и волнение делали симпатичною, и изливал ее в первый резервуар, достойный принять ее. Но если б вы посмотрели на них сквозь решетку садовой ограды, одушевленные движения и играющий румянец молодого человека заставили бы вас предполагать, что он влюблен в молодую девушку.

Наконец какое-то выражение Хоулгрейва дало Фиби случай спросить, что заставило его познакомиться с ее кузиной Гефсибой и зачем ему вздумалось поселиться в печальном старом доме. Не отвечая прямо на ее вопрос, он оставил будущее, которое до сих пор было темой его речи, и начал говорить о влиянии прошедшего как отражении будущего.

— Неужели мы никогда не отделаемся от влияния прошедшего? — воскликнул он воодушевленным тоном предшествовавшего разговора. — Оно лежит на настоящем, как труп какого-то вели-

кана!

— Я этого совсем не вижу, — заметила Фиби.

— Как же не видеть? — сказал Хоулгрейв. — Мы во всем зависим от людей несуществующих. Мы читаем книги мертвых людей; мы смеемся над шутками мертвых людей и плачем от их пафоса; мы больны болезнями мертвых людей, физическими и нравственными. Что бы мы ни вздумали делать по своему произволу, ледяная рука мертвого человека вмешивается в наше дело. Посмотрите, куда хотите, вы встретите везде бледное, неумолимое лицо мертвеца, от которого леденеет ваше сердце. И сами мы должны сделаться мертвыми, прежде чем проявится наше действительное влияние на мир, который уже не будет нашим миром, а будет миром другого поколения, с которым мы не сможем общаться. Я должен сказать также, что мы живем в домах мертвых людей, как, например, вот в Доме о Семи Шпилях!

— А почему же нам не жить, — сказала Фиби, — пока нам здесь удобно?

— Какое удобно! — воскликнул Хоулгрейв. — Разве здорово жить в этой куче почернелых бревен, на которых от сырости проступил зеленый мох? В этих мрачных, низких комнатах? В

этих грязных стенах, на которых как будто остался осадок дыхания тех, кто жил и умер здесь в недовольстве судьбой и горестях? Этот дом следует очистить…

— Зачем же вы живете в нем? — спросила Фиби с некоторой колкостью.

— О, я занимаюсь здесь своей наукою, — отвечал Хоулгрейв. — Не по книгам, впрочем. Дом этот в моих глазах выражает для меня прошедшее со всеми его влияниями, против которого я сейчас ораторствовал. Я живу в нем временно, чтоб еще больше узнать его. Кстати, слыхали ли вы когда-нибудь историю колдуна Моула и что произошло между ним и вашим предком?

— Да, слыхала, — сказала Фиби, — очень давно, еще от моего отца, а раза два от кузины Гефсибы в этот месяц, что я живу здесь. Она, кажется, думает, что все бедствия Пинчонов произошли от этой ссоры с колдуном, как вы его называете. Да и вы, мистер Хоулгрейв, тоже как будто так думаете. Странно, что вы верите в такую нелепость, а отвергаете многое, что гораздо достойнее доверия.

— Да, я верю этому, — отвечал дагеротипист серьезно, — впрочем, не суеверно, но на основании несомненных фактов, и я вижу в этом явлении осуществление одной нравственной идеи. В са-

мом деле, под этими семью шпилями, на которые мы теперь смотрим и которые старый полковник Пинчон предназначал быть наследственным домом для своих счастливых потомков в течение нескольких столетий, под этой кровлей с самого ее основания не было конца угрызениям совести, постоянно обманываемым надеждам, родственной вражде, разного рода страданиям, странным смертям, мрачным подозрениям, невыразимым несчастьям, — и все эти бедствия или большую часть их я мог бы документально произвести от одного безумного желания старого пуританина основать свое благосостояние неправыми средствами.

— Вы говорите слишком бесцеремонно о моих предках, — сказала Фиби, сама не зная, обижаться ли ей или нет.

— Я говорю здравые мысли здравому уму! — отвечал Хоулгрейв с жаром, которого Фиби не замечала в нем прежде. — Оно так именно и есть, как я говорю! Первоначальный виновник бедствия вашей родни словно до сих пор бродит по улицам — по крайней мере, бродит верный портрет его в душе и теле — со своею жалкой мечтой. Вы не забыли моего дагеротипа и его сходства со старым портретом?

— Как вы в самом деле странны! — воскликнула Фиби, глядя на него с удивлением и смущением, отчасти испуганная, отчасти рассмешенная.

— Да, я все-таки порядочно странный, я и сам это вижу, — сказал дагеротипист. — Но виноваты в том ваши предки. История их отложилась в моем уме с непостижимой для меня силой с того времени, как я живу в этом старом шпиле. Чтоб как-нибудь от нее освободиться, я обратил в легенду одно происшествие в роду Пинчонов, которое узнал случайно, и намерен напечатать его в журнале.

— А вы пишете для журналов? — спросила Фиби.

— Неужели вы до сих пор не знали? — сказал Хоулгрейв. — Вот какова литературная слава! Да, мисс Фиби Пинчон, в числе множества моих удивительных талантов я обладаю и талантом писать повести, и могу уверить вас, что мое имя красуется на обертках Грагама и Годнея для моих глаз не хуже прославленных имен, с которыми оно стоит рядом. В юмористическом роде я подвизаюсь на славу, что же касается чего-то трогательного, то мое перо не уступит луку. Но не хотите ли послушать меня?

— Охотно, если ваша легенда не очень длин-

на, — ответила Фиби и потом прибавила, смеясь: — И не очень скучна.

Так как дагеротипист не мог решить этого последнего вопроса сам, он вынул из кармана свою рукопись и начал читать под последними лучами солнца, золотившими семь шпилей, следующее.

Глава XIII
Алиса Пинчон

Однажды достопочтенный Гервасий Пинчон прислал слугу к молодому плотнику Мэтью Моулу, чтоб он немедленно явился в Дом о Семи Шпилях.

— На что я понадобился твоему господину? — сказал плотник черному слуге мистера Пинчона. — Разве в доме есть какая починка? Это может быть, только мой отец не виноват: он хорошо сработал дом. Я читал надпись на памятнике старого полковника не далее как в прошлую субботу и рассчитал, что дом стоит уже тридцать семь лет. Немудрено, что нужно починить где-нибудь кровлю.

— Не знаю, что господину нужно, — отвечал негр Сципион. — Дом очень хороший… видно, так думал и старый полковник Пинчон, а то зачем

бы старику бродить да пугать бедного негра?

— Добро, добро, приятель Сципион, скажи своему господину, что я иду, — сказал плотник, смеясь. — Для починки не найти ему лучшего мастера. Так в доме нечисто? Надобно взять мастера побойчее меня, чтоб выжить привидения из семи шпилей. Если б даже и полковник присмирел, — прибавил он, бормоча сквозь зубы, — так мой старый дед, колдун, точно не оставит в покое Пинчонов, пока будут стоять стены этого дома.

— Что ты ворчишь себе там под нос, Мэтью Моул? — спросил Сципион. — И зачем ты смотришь на меня так косо?

— Ничего, черняк, — отвечал плотник. — Ты разве думаешь, что на тебя никто не должен косо глядеть? Ступай, скажи своему господину, что я иду, а если встретишь мистрис Алису, его дочь, так передай ей от Мэтью Моула низкий поклон. Она вывезла из Италии смазливое личико — смазливое, нежное и гордое, — эта Алиса Пинчон.

— Он говорит о мистрис Алисе! — воскликнул Сципион, вернувшись. — Ничтожный плотник! У него нет больше дела, как только таращить на нее глаза!

Надобно знать, что этот молодой плотник Мэтью Моул был мало понимаем и не слиш-

ком многими любим в этом доме — не потому, впрочем, чтобы что-нибудь было известно о нем предосудительное или чтоб он считался плохим и ленивым мастером в своем ремесле. Отвращение (именно отвращение), с которым многие на него смотрели, было отчасти следствием его собственного характера и поведения, а отчасти перешло к нему по наследству.

Он был внуком Мэтью Моула, одного из первых поселенцев города, прославившегося страшным колдовством. Этот старик пострадал вместе с другими, подобными ему. Несмотря, однако, на то, суеверный страх остался в памяти народа неразрывно связанным с именами пострадавших за ужасное преступление — колдовство, и многие были уверены, что могилы не в состоянии были удерживать этих мертвецов, брошенных наскоро в землю. В особенности же толковали о старом Мэтью Моуле, который будто бы так же мало затруднялся подняться из своей могилы, как обыкновенный человек встать с постели, и был видим так часто в полночь, как живые люди среди белого дня. Этот злокачественный чародей (которого виселица, по-видимому, вовсе не исправила) по старой привычке бродит привидением по дому, называемому Домом о Семи Шпилях,

на хозяина которого он имел неосновательную претензию за поземельный доход. Дух, как видите, с упорством, которое было отличительным свойством живого Мэтью Моула, настаивал на том, что он был законный владетель места, на котором был построен дом. Он требовал, чтобы упомянутый поземельный доход с того самого дня, когда начали рыть погреб, был выплачен ему сполна или же отдан сам дом, в противном случае он, мертвец-кредитор, будет вмешиваться во все дела Пинчонов и причинять вред им на каждом шагу, хоть бы прошла тысяча лет по его смерти. История, пожалуй, нелепая, но она не казалась невероятной тем, кто помнил, какой непоколебимый упрямец был этот старчуган Мэтью Моул.

Внук колдуна, молодой Мэтью Моул, по общему мнению, наследовал некоторые из подозрительных свойств своего предка. Странно сказать, сколько нелепых толков ходило в народе об этом молодом человеке. Говорили, например, что он обладает чудной силой вмешиваться в человеческие сновидения и располагаться в них по своей прихоти, совершенно как дирижер в театре. Много было рассказов между соседями, особенно же между соседками, о том, что они называли

волшебным глазом Моулов. Некоторые говорили, что он может проникать в человеческий ум; другие — что чудесной силой своего зрения он может заставить, кого захочет, думать по-своему или, если ему угодно, послать человека к своему деду на тот свет; еще некоторые уверяли, что у него так называемый недобрый глаз и что он может повредить урожаю хлебов и высушить ребенка, как египетскую мумию. Но всего больше вредили молодому плотнику в общем мнении, во-первых, осторожность и суровость врожденного его характера, а во-вторых, то, что он удалился от церкви и навлек на себя подозрения в еретических мнениях относительно религии.

Получив требование мистера Пинчона, плотник окончил только небольшую работу, которая была у него в руках на ту пору, и отправился в Дом о Семи Шпилях. Это замечательное здание, несмотря на несколько устаревшую архитектуру, было все еще одним из лучших городских домов. Настоящий владелец его, Гервасий Пинчон, говорят, не любил, однако, его вследствие тяжелого впечатления, произведенного на него в детстве внезапной смертью его деда: подбежав однажды к полковнику, чтобы взобраться к нему на колени, мальчик вдруг заметил, что старый

пуританин был мертв. Достигнув возмужалости, мистер Пинчон посетил Англию, женился там на богатой леди и потом провел несколько лет отчасти на родине своей матери, а отчасти в разных городах европейского материка. В течение этого периода наследственный дом его был предоставлен в распоряжение одного родственника, которому вменено было в обязанность поддерживать его в первоначальном виде. Этот договор был выполняем в такой точности, что теперь, когда плотник приближался к дому, опытный глаз его не мог открыть в нем никаких признаков повреждения. Пики семи шпилей остроконечно стремились кверху, гонтовая крыша была непроницаема для дождя, и блестящая штукатурка покрывала сплошь наружные стены и сверкала в лучах октябрьского солнца так, как будто она была сделана только неделю назад.

Дом был полон жизни и напоминал своим привлекательным видом веселое выражение на человеческом лице. С первого взгляда было заметно, что его населяет большое шумное семейство. В ворота проехал на задний двор большой воз дубовых дров; дородный повар — а может быть, и дворецкий — стоял у боковой двери и торговался с поселянином за несколько

привезенных в город на продажу индеек и кур. Время от времени горничная, чисто одетая, а иногда и лоснящееся черное лицо невольника выглядывали в окно из нижнего этажа. В одном открытом окне, во втором этаже, наклонялась над горшками прелестных и нежных цветов — чужеземных, но которые никогда не знали более приветливого солнца, как осеннее солнце Новой Англии, — молодая леди, тоже чужеземная, как цветы, и столь же прелестная, столь же нежная, как они, и ее присутствие сообщало невыразимую грацию и что-то обворожительное всему зданию. Сам по себе это был только крепкий, весело глядящий дом, и он казался предназначенным в качестве жилища хозяину, который мог устроить свою главную квартиру в переднем шпиле, а остальные распределить между своими шестью сыновьями; огромная же труба посредине должна была выражать символически гостеприимное сердце старика, которое согревает всех детей и делает одно великое целое из семи небольших меньших сердец.

На переднем шпиле находились солнечные часы, и плотник, подойдя к нему, поднял голову и заметил, который час.

— Три часа! — сказал он сам себе. — Отец мой

говорил, что эти часы поставлены были только за час до смерти полковника. Как верно показывают они время тридцать семь лет! Тень ползет да ползет себе и все смотрит через плечо солнечному свету!

Ремесленнику вроде Мэтью Моула приличнее было бы явиться по зову джентльмена на задний двор, где обыкновенно принимали слуг и рабочих, или, по крайней мере, пройти в боковую дверь, куда являлся лучший класс торговцев, но в натуре плотника было много гордости и грубости, а в эту минуту, сверх того, его сердце горько чувствовало наследственную обиду, потому что, по его мнению, огромный Пинчонов дом стоял на почве, которая должна была бы принадлежать ему. На этом самом месте, подле ключа свежей, прекрасной воды, его дед повалил несколько сосен и срубил себе хижину, в которой родились его дети, и полковник Пинчон вырвал у него право на владение этой землей только из окостеневших рук. Итак, молодой Моул подошел прямо к главному входу, под порталом из резного дуба, и застучал так громко железным молотком, как будто сам старый колдун стоял у порога.

Черный Сципион поспешил на стук впопыхах и с изумлением вытаращил белки своих глаз,

увидя перед собой плотника.

— Боже, помилуй нас! Что за важная персона этот плотник! — проворчал про себя негр. — Можно подумать, что он колотит в дверь своим самым большим молотком!

— Ну, вот я! — сказал сурово Моул. — В какую комнату идти к твоему господину?

Когда он вошел в дом, из одной комнаты второго этажа вдоль коридора неслась приятная меланхолическая музыка. То были слышны клавикорды, которые Алиса Пинчон привезла с собой из-за моря. Прелестная Алиса посвящала большую часть своего девичьего досуга цветам и музыке, хотя цветы, как всегда, скоро увядали, а ее мелодии часто бывали печальны. Она была воспитана в иностранных государствах и не могла любить новоанглийского образа жизни, который никогда еще не развил ничего прекрасного.

Так как мистер Пинчон ожидал Моула с нетерпением, Сципион, не теряя времени, провел к нему плотника. Комната, в которой сидел этот джентльмен, была так называемая разговорная умеренной величины, обращенная в сад, который оттенял отчасти ее окна ветвями плодовых дерев. Эта особенная комната мистера Пинчона была убрана щегольской и дорогой мебелью, вы-

везенной преимущественно из Парижа; пол был покрыт ковром — роскошь в то время необыкновенная! — так искусно и богато вытканным, как будто он состоял из живых цветов. В одном углу стояла мраморная женщина, которой собственная красота служила единственным и достаточным украшением. Несколько портретов, казавшихся старыми и отличавшихся мягким тоном своего колорита, висело на стенах. Подле камина стоял большой прекрасный шкаф красного дерева, выложенный по углам слоновой костью, — старинная вещь, купленная мистером Пинчоном в Венеции. В этом шкафу хранил он медали, древние монеты и разные мелкие и дорогие редкости, собранные им во время путешествия. Сквозь все, однако, эти разнообразные украшения видны были первоначальные характерные черты комнаты — ее низкий потолок с перекладинами и печка со старинными голландскими изразцами. Это была эмблема ума, заботливо снабженного иноземными идеями и искусственно утонченного, но не сделавшегося оттого ни шире, ни даже изящнее.

Два предмета казались всего больше не на своем месте в этой прекрасно убранной комнате. Один — большая карта, или землемерский план

земель и лесов, начерченный, по-видимому, уже довольно давно, почерневший от дыма и засаленный кое-где пальцами. Другой предмет был портретом сурового старика в пуританском костюме, написанном грубою, но смелой кистью и с замечательно сильным выражением характера в лице.

У маленького столика, перед горящими английскими морскими углями, сидел мистер Пинчон и пил кофе, к которому он приобрел привычку во Франции. Это был очень красивый мужчина средних лет, в парике, спускавшемся локонами на плечи. Кафтан его был из синего бархата, с галунами по обшлагам и вокруг петель, а длинный его камзол сверкал в отсвете горевшего в камине огня своим золотым шитьем. При входе Сципиона, который ввел к нему плотника, мистер Пинчон немного повернулся, но потом принял свое прежнее положение и продолжал медленно допивать чашку кофе, не обращая внимания на гостя, за которым он посылал. Он не намерен был выказать грубости — он покраснел бы от такого поступка, — но ему не приходило в голову, чтобы человек в положении Моула имел претензию на его учтивость или сколько-нибудь о ней заботился.

Плотник, однако, подошел прямо к камину и встал так, чтоб смотреть в лицо мистеру Пинчону.

— Вы за мной присылали, — сказал он, — не угодно ли вам объяснить, в чем ваша нужда: мне нельзя терять времени.

— Я виноват, — сказал спокойно мистер Пинчон. — Я не намерен был отнимать у тебя время без вознаграждения. Тебя зовут, я думаю, Моул — Томас или Мэтью Моул. Ты сын или внук мастера, который строил этот дом?

— Мэтью Моул, — отвечал плотник, — сын того, который построил этот дом, внук настоящего владельца земли.

— Я знаю тяжбу, на которую ты намекаешь, — заметил мистер Пинчон с невозмутимым равнодушием. — Я очень хорошо знаю, что мой дед был принужден прибегнуть к помощи закона для поддержания своего права на землю, на которой построено это здание. Не станем возобновлять спора по этому предмету. Дело это было решено в свое время — решено справедливо, разумеется, и, во всяком случае, невозвратно. Но хотя это довольно странно, есть тут одно обстоятельство, о котором я хочу с тобой поговорить; и эта старая вражда — говорю не в обиду тебе, — эта раздра-

жительность, которую ты сейчас обнаружил, также не совсем чужда делу.

— Если вам на что-нибудь нужно, мистер Пинчон, — сказал плотник, — мое естественное чувство обиды, так извольте, пользуйтесь им.

— Ловлю тебя на слове, приятель Моул, — подхватил владетель семи шпилей с улыбкою, — твоя наследственная досада, прав ты или нет, может иметь влияние на мои дела. Ты, я думаю, слыхал, что род Пинчонов со времен моего деда до сих пор еще доказывает непризнанное право на обширные земли на востоке?

— Часто слыхал, — отвечал Моул, и при этом, говорят, на его лице мелькнула улыбка. — Часто слыхал от отца.

— Это право, — продолжал мистер Пинчон, помолчав с минуту, как будто размышляя, что бы такое значил смех плотника, — это право готово было уже быть признано перед смертью моего дедушки. Люди, знакомые с ним близко, знали, что он не такой был человек, который бы затянул дело, встретив какое-нибудь затруднение. Напротив, полковник Пинчон был вполне человек практический, очень хорошо знакомый с общественными и частными делами и не мог обольщать себя неосновательными надеждами или

решиться на план, который было бы невозможно исполнить. Поэтому надобно полагать, что у него были основания, неизвестные его наследникам, добиваться с такой уверенностью успеха в притязании на восточные земли. Словом, я уверен — и мои советники-юристы соглашаются с моим мнением, подтверждаемым притом до некоторой степени и фамильными нашими преданиями, — я уверен, что дед мой владел каким-то актом, необходимым для решения этого дела, но этот акт исчез с того времени.

— Весьма быть может, — сказал Мэтью Моул, и опять, говорят, на лице его мелькнула мрачная улыбка, — но что общего может иметь плотник с великими делами дома Пинчонов?

— Может быть, ничего, — отвечал мистер Пинчон, — а может быть, и много общего!

Тут они долго толковали между собой о предмете, интересовавшем владельца Дома о Семи Шпилях. Народное предание уверяет (хотя мистер Пинчон несколько затруднялся относительно рассказов, по-видимому, столь нелепых), что будто бы между родом Моула и этими обширными, недоступными еще для Пинчонов восточными землями существовали какая-то связь и взаимная зависимость. Говорили обыкновенно, что

старый колдун, несмотря на то что был повешен, в борьбе с полковником Пинчоном взял над ним перевес, потому что взамен одного или двух акров земли он захватил в свои руки право на обширные восточные земли. Одна очень старая женщина, умершая недавно, часто употребляла метафорическое выражение во время вечерних посиделок, что множество миль пинчоновских земель похоронено в могиле старого Моула, хотя эта могила занимала маленький уголок между двух скал у вершины Висельного Холма. Кроме того, когда юристы разыскивали след потерянного документа, в народе пошли толки, что этот документ найдут только в руке колдуна, давно превратившегося в скелет. Этой нелепости проницательные юристы придали такую важность (впрочем, мистер Пинчон не сообщил об этом плотнику), что решились отрыть потихоньку могилу старого Моула, но ничего не было найдено, увидели только, что правой руки скелет не имел вовсе.

Замечательны, однако, были в народных толках намеки — впрочем, сомнительные и неопределенные — на участие в пропаже документа сына колдуна Моула, отца молодого плотника. В этом случае сам мистер Пинчон мог подтвердить от-

части факт собственным свидетельством. Он был в то время еще ребенком, однако помнил — или ему казалось, что он помнит, — что отец Мэтью Моула в день смерти полковника что-то чинил в той самой комнате, в которой он теперь разговаривал с плотником. Он даже ясно припоминал, что некоторые бумаги, принадлежавшие полковнику, были разбросаны в это время по столу.

Мэтью Моул понял высказанное этим воспоминанием подозрение.

— Отец мой, — сказал он, но все-таки с загадочной, мрачной улыбкой на лице, — отец мой был человек честный! Он не унес бы ни одной из этих бумаг, даже если б этим мог возвратить свои утраченные права!

— Я не стану перебрасываться с тобой словами, — заметил воспитанный за границей мистер Пинчон с надменным спокойствием, — мне не пристало сердиться на тебя за какую-нибудь грубость в отношении к моему деду или ко мне. Джентльмен, желая иметь дело с человеком твоего звания и образованности, должен наперед рассчитать, стоит ли цель неприятностей. В настоящем случае она стоит.

Вслед за тем он возобновил разговор и предлагал плотнику значительные суммы денег, если

он даст ему объяснения, которые помогут отыскать документ, с которым связано обладание восточными землями. Мэтью Моул долго, говорят, выслушивал равнодушно эти предложения, но наконец странно как-то засмеялся и спросил, согласен ли будет мистер Пинчон отдать ему за этот столь важный документ землю, принадлежавшую старому колдуну, со стоящим на ней теперь Домом о Семи Шпилях.

Здесь странное прикаминное предание, которого я придерживаюсь в своем рассказе, не передавая всех его причудливостей, говорит о весьма странном поведении портрета полковника Пинчона. Портрет этот, надобно вам знать, был, по общему мнению, так тесно связан с судьбой дома и просто-таки магически прикреплен к стене, что если б его снять, то в ту же самую минуту все здание рухнуло бы и превратилось в кучу пыльных развалин. Во время предшествовавшего разговора между мистером Пинчоном и плотником он хмурился, сжимал кулак и подавал другие подобные знаки чрезвычайного раздражения, не обращая на себя внимания ни одного из собеседников. Наконец при дерзком предложении Мэтью Моула уступить ему семишпильный дом он потерял всякое терпение и выразил яв-

ную готовность выскочить из рамы. Но о таких невероятных приключениях говорится только в прикаминных сказках.

— Отдать дом! — воскликнул мистер Пинчон, будучи в изумлении от такого предложения. — Если б я это сделал, то мой дед не лежал бы спокойно в своем гробу!

— Да он и без того не лежит, если правду толкуют в народе, — заметил спокойно плотник. — Но это дело касается более его внука, чем Мэтью Моула. Других условий у меня нет.

Хотя мистер Пинчон находил сперва невозможным согласиться на предложение Моула, однако, подумав о нем с минуту, согласился, что об этом можно по крайней мере рассуждать. Сам он не питал особенной привязанности к дому, и проведенное здесь детство не было для него соединено с приятными воспоминаниями. Напротив, по истечении тридцати семи лет присутствие его покойного деда все еще как будто омрачало стены дома, как в то утро, когда он, будучи мальчиком, с ужасом увидел нахмуренного старика, сидящего в кресле мертвым. Сверх того, долгое пребывание мистера Пинчона в иностранных государствах и знакомство со многими наследственными замками и палатами в Англии и с мраморными

итальянскими дворцами заставили его смотреть с пренебрежением на Дом о Семи Шпилях, как в отношении великолепия, так и в отношении удобства. Это был дом, совершенно не соответствовавший образу жизни, какой должен был вести мистер Пинчон, получив свои поземельные права.

Управитель его мог снизойти до того, чтобы здесь поселиться, но ни в каком случае сам владелец огромного имения. Он намерен был в случае успеха вернуться в Англию, даже, правду сказать, и теперь он не решился бы жить в Доме о Семи Шпилях, если бы его собственное состояние и состояние его покойной жены не начали подавать признаков истощения. Удайся тяжба по поводу восточных земель, доведенная некогда почти до окончательного выигрыша, тогда бы владения мистера Пинчона (которые надо было бы мерить не акрами, а милями) сравнялись бы с иным графством и дали бы ему право ходатайствовать о титуле. Лорд Пинчон или граф Вальдо! Каким бы образом мог такой человек заключить себя в жалком пространстве старого дома?

Словом, когда мистер Пинчон бросил на дело более обширный взгляд, условия плотника показались ему настолько умеренными, что он едва

мог удержаться от смеху. Ему было даже стыдно после предыдущих размышлений предлагать какое-нибудь сокращение столь умеренной награды за огромную услугу, которую брались ему оказать.

— Хорошо, я согласен на твое предложение, Моул, — сказал он. — Доставь мне документ, который поможет мне выиграть тяжбу, и Дом о Семи Шпилях твой!

По одним сказаниям об этом происшествии, между мистером Пинчоном и внуком колдуна был составлен юристом формальный контракт и подписан ими в присутствии свидетелей. Другие говорят, что Мэтью Моул удовольствовался частным письменным обязательством, в котором мистер Пинчон ручался своею честью и добрым именем исполнить заключенное между ними условие. После этого хозяин дома велел подать вина и выпил по рюмке со своим гостем в подтверждение сделки.

В продолжение всего предшествовавшего разговора портрет старого пуританина продолжал обнаруживать знаки своего неудовольствия, но без всякого действия на присутствовавших, кроме разве того, что, когда мистер Пинчон ставил на стол пустую рюмку, ему показалось, что его

дед нахмурился.

— Этот херес для меня слишком крепок; он всегда действует на мою голову, — сказал он, посмотрев с некоторым удивлением на картину. — Когда вернусь в Европу, я ограничусь самыми хорошими итальянскими и французскими винами; лучшие из них не терпят перевозки.

— Милорд Пинчон может тогда пить какое угодно вино и везде, где ему вздумается, — отвечал плотник, как будто он был советником в делах мистера Пинчона. — Но, во-первых, сэр, если вы желаете получить известия об этом потерянном документе, то я должен просить у вас позволения поговорить немного с вашей прелестной дочерью Алисою.

— Ты с ума сошел, Моул! — вскричал мистер Пинчон надменно, и теперь уже гнев примешался к его гордости. — Что может иметь общего моя дочь с таким делом?

Действительно, эта новая просьба плотника поразила владельца семи шпилей сильнее даже, нежели спокойное предложение уступить ему дом. Для первого желания плотник, по крайней мере, имел очень легко объяснимое побуждение, но для второго, казалось, у него не было вовсе никакого повода. Несмотря на это, Мэтью Моул

упорно настаивал, чтобы привели к нему молодую леди, и даже дал понять ее отцу таинственным намеком, который сделал дело значительно темнее прежнего, что получить путное сведение можно единственно только чрез посредство такого чистого девственного ума, каким обладала прелестная Алиса. Не станем распространяться о затруднениях мистера Пинчона по отношению к его совести, гордости или отеческой любви. Скажем только, что он наконец велел просить к себе дочь. Он знал, что она находится в своей комнате и занята делом, которое не могло быть тотчас отложено в сторону, потому что в ту самую минуту, когда было произнесено имя Алисы, ее отец и плотник услышали печальную и сладостную музыку ее клавикордов и меланхолическое звучание ее нежного голоса. Но Алиса Пинчон явилась к отцу немедленно.

Говорят, что портрет этой молодой леди, написанный одним венецианским художником и оставленный ее отцом в Англии, достался нынешнему герцогу Девонширскому и теперь хранится в Чествортe, и не потому, что оригинал его имел какое-нибудь особенное значение, но по совершенству самой живописи и высокому достоинству изображенной на нем красоты. Если

когда-либо была рождена леди и отделена от толпы обыкновенных людей какою-то нежной и холодной величавостью, так это Алиса Пинчон. Но в ней было много чисто женского; в ней было много нежности или, по крайней мере, много нежных побуждений. Ради этих вознаграждающих достоинств великодушный человек простил бы ей всю ее гордость; мало того, он, может быть, готов был бы лечь на пути ее и позволил бы легкой ножке Алисы наступить на его сердце, и за это самопожертвование он пожелал бы от нее, может быть, только простого признания, что он в самом деле мужчина и создан из той же самой, что и она, плоти.

Когда Алиса вошла в комнату, ее взгляд упал прежде всего на плотника, который стоял посреди комнаты в своей зеленой шерстяной жакетке, в широких штанах, открытых на коленях, и с глубоким карманом для плотничьего аршина, конец которого торчал наружу. Он носил на себе такие же ясные признаки своего ремесла, как и мистер Пинчон — своего джентльменского достоинства. На лице Алисы Пинчон блеснуло чувство легкого одобрения. Она была поражена удивлением, которого нисколько не скрывала, вызванным пригожим видом, силой и энергией, которыми

отличалась наружность Моу-ла. Но плотник никогда не смог простить ей этого удивленного взгляда, хотя много нашлось бы людей, которые бы всю жизнь хранили о нем сладкое воспоминание. Видно, сам нечистый сделал мысли Мэтью Моула изощренными и помог ему проникнуть в настоящее выражение ее глаз.

«Что она смотрит на меня, как будто я какое-нибудь дикое растение? — подумал он, стиснув зубы. — Пусть узнает же она, есть ли во мне душа, и горе ей, если она встретит во мне душу сильнее собственной!»

— Батюшка, вы присылали за мной, — сказала Алиса голосом, сладким, как звуки клавикордов. — Но если вы чем-нибудь заняты с этим молодым парнем, так позвольте мне удалиться. Вы знаете, что я не люблю этой комнаты, хоть вы и украсили ее Клодом Лорреном, чтоб будить в ней приятные воспоминания.

— Погодите, пожалуйста, минутку, молодая леди, — сказал Мэтью Моул. — Я окончил дело с вашим отцом; теперь надо начать с вами.

Алиса посмотрела на своего отца с вопросительным удивлением.

— Да, Алиса, — сказал мистер Пинчон с некоторым смущением. — Этот молодой парень — его

зовут Мэтью Моул — говорит, насколько я его понимаю, что он может через твое посредство добыть известную бумагу, это пергамен, который был потерян задолго до твоего рождения. Важность этого документа заставляет меня не пренебрегать никаким возможным, кроме самых невероятных, средством отыскать его. Поэтому ты меня обяжешь, милая моя Алиса, если согласишься ответить на вопросы этого человека по мере того, как они будут относиться к делу. Так как я остаюсь с тобой в комнате, ты не подвергнешься никакому грубому вопросу со стороны молодого человека, и по твоему малейшему желанию следствие — или как бы мы ни назвали этот разговор — будет тотчас же закончено.

— Мистрис Алиса Пинчон, — заметил Мэтью Моул с величайшим почтением, но с полускрытым сарказмом во взгляде и в выражении голоса, — без сомнения, будет чувствовать себя совершенно безопасной в присутствии своего отца и под его покровительством.

— Разумеется, я не могу чувствовать никакого опасения подле моего батюшки, — сказала Алиса с достоинством. — Я даже не понимаю, как может леди, верная самой себе, чувствовать страх от кого-либо или в каких-либо обстоятельствах.

Бедная Алиса! Какое несчастное побуждение заставило тебя противопоставить себя таким образом — в смысле вызова на борьбу — силе, которой ты не в состоянии была постигнуть?

— В таком случае, мистрис Алиса, — сказал Мэтью Моул, подавая ей кресло довольно грациозно для ремесленника, — не угодно ли будет вам только сесть и сделать мне одолжение, хоть я и не заслуживаю этой чести, вперить свои глаза в мои?

Алиса на это согласилась. Она была очень горда. Не говоря обо всех преимуществах ее звания, прелестная девушка сознавала в себе силу, состоявшую в красоте, незапятнанной непорочности и предохранительном чувстве женственности, — силу, которая должна была сделать ее сферу непроницаемою, если только она не изменит самой себе в глубине души. Она, может быть, знала инстинктивно, что какая-то злая сила стремится вторгнуться в ее ограду, и не уклонялась от борьбы с нею. Алиса противопоставила таким образом могущество женщины могуществу мужчины — сравнение не всегда в пользу женщин.

Между тем ее отец отвернулся в сторону и, казалось, был погружен в созерцание пейзажа Клода Лоррена, на котором мглистая, проникнутая

солнцем даль углублялась так далеко в старый лес, что ничего не было бы удивительного, если бы его фантазия потерялась в чарующих извилинах глубины картины. Но на самом деле картина занимала его так же мало в эту минуту, как и почерневшая стена, на которой она висела. Ум его был наполнен множеством странных рассказов, которые он слышал в детстве и которые приписывали таинственные дарования этим Моулам, из которых один находился теперь перед ним. Долгое пребывание мистера Пинчона в чужих краях и отношения с умными и модными людьми — придворными, светскими и мыслящими — довольно поизгладили в нем грубых пуританских суеверий, от которых не мог быть свободен никто, родившийся в Новой Англии в тот ранний период ее существования. Но, с другой стороны, разве не все пуританское общество думало, что дед Моула был колдун? Разве не была доказана его виновность? Разве колдун не был казнен за нее? Разве он не завещал ненависти к Пинчонам своему единственному внуку, который в эту минуту готов был оказать таинственное влияние на дочь неприятеля его дома? И не было ли это влияние тем, что называют волшебством?

Повернувшись наполовину, он охватил одним

взглядом фигуру Моула в зеркале. Плотник, стоя в нескольких шагах от Алисы, с поднятыми на воздух руками, делал такой жест, как будто направлял на девушку медленно двигающуюся, огромную и невидимую тяжесть.

— Остановись, Моул! — воскликнул мистер Пинчон, подойдя к нему. — Я запрещаю тебе продолжать!

— Пожалуйста, батюшка, не мешайте молодому человеку, — сказала Алиса, не переменив своего положения. — Его усилия, уверяю вас, совсем безвредны.

Мистер Пинчон опять обратил глаза к Клоду Лоррену. Дочь, в противность его предосторожности, сама желает подвергнуться таинственному опыту: он только согласился, но не неволил ее. И не для нее ли преимущественно он желает успеха в своем предприятии? Если только отыщется потерянный пергамен, то прелестная Алиса Пинчон, с прекрасным приданым, которое он ей назначит, может выйти за английского герцога или за германского владетельного князя вместо какого-нибудь новоанглийского духовного лица или юриста. Эта мысль заставила честолюбивого отца согласиться в душе, что если волшебная сила необходима для исполнения этого дела, то

пускай Моул вызовет ее. Чистота Алисы будет ее охраною.

В то время, когда ум его был наполнены воображаемым великолепием, он услышал полупроизнесенное восклицание дочери. Оно было так слабо и неясно, что казалось только полужеланием произнести несколько слов, причем в таком неопределенном смысле, что невозможно было бы понять их. Все же, однако, это был зов на помощь! Он никогда в этом не сомневался. И хотя это был только шепот для его слуха, но этот шепот отдался громким, болезненным и много раз повторившимся эхом в его сердце. При всем том на этот раз отец не обернулся к дочери.

После некоторой паузы Моул первый прервал молчание.

— Посмотрите на свою дочь! — сказал он.

Мистер Пинчон быстро бросился вперед. Плотник стоял, выпрямившись против кресла Алисы, и указывал пальцем на девушку. Алиса пребывала в положении глубокого сна, с длинными, черными ресницами, опущенными на глаза.

— Вот она вам! — сказал плотник. — Говорите с ней.

— Алиса! Дочь моя! — воскликнул мистер Пинчон. — О, моя Алиса!

Она не двигалась.

— Громче! — сказал Моул с усмешкой.

— Алиса! Проснись! — вскричал отец. — Мне страшно видеть тебя в таком состоянии. Проснись!

Он говорил громко, с выражением ужаса в голосе, и говорил возле этого нежного уха, которое всегда было так чувствительно ко всякой дисгармонии. Но крик его, очевидно, не касался слуха дочери. Невозможно описать, какое чувство отдаленного, мглистого, недосягаемого пространства между ним и Алисой сжало душу отца, когда он увидел невозможность достигнуть ее сознания своим голосом.

— Прикоснитесь лучше к ней! — сказал Моул. — Потрясите ее, да хорошенько! Мои руки слишком огрубели от обращения с топором, пилой и рубанком, а не то я помог бы вам.

Мистер Пинчон взял дочь за руку и пожал ее с живостью взволнованного чувства. Он поцеловал ее с таким сердечным жаром, что ему казалось невозможным, чтоб она не почувствовала этого поцелуя. Потом, в какой-то досаде на ее бесчувственность, он потряс ее тело с такой силой, что через минуту боялся вспомнить об этом. Он отнял обнимавшие ее руки, и Алиса, тело которой,

при всей своей гибкости, было бесчувственно, приняла опять тоже положение, какое сохраняла прежде его попыток пробудить ее. В это время Моул переменил свою позицию, и лицо девушки повернулось к нему — слегка, правда, но так, как будто сон ее зависел от его власти.

Ужасно было видеть, как человек столь приличный, как мистер Пинчон, осторожный и величавый джентльмен, забыл свое достоинство; как его шитый золотом камзол дрожал и сверкал в блеске огня от конвульсивного раздражения, от ужаса и горя, терзавших прикрытое им сердце.

— Негодяй! — вскричал мистер Пинчон, грозя кулаком Моулу. — Ты вместе с дьяволом отнял у меня дочь мою! Отдай мне ее, исчадие старого колдуна, или тебя потащим на Висельный Холм, по следам твоего деда!

— Потише, мистер Пинчон, — сказал плотник спокойно. — Потише. Разве я виноват, что вы позвали сюда свою дочь в надежде добыть лист пожелтевшего пергамена? Перед вами вот сонная мистрис Алиса, позвольте же теперь попробовать Мэтью Моулу испытать, так ли она будет покорна мне, как вам.

Он обратился к ней, и Алиса отвечала ему тихим, покорным голосом, склонив к нему голову,

как пламя факела, указывающее направление ветра. Он махнул ей рукой, и Алиса, встав с кресла, наобум, но без всякой нерешимости, как бы стремясь к своему неизбежному центру тяготения, подошла к нему. Он махнул ей назад, и Алиса, отступая от него, упала в свое кресло.

— Дело сделано, — сказал Мэтью Моул. — Узнать мы ничего не можем.

Сказка о чарах плотника — если только их можно так назвать, — употребленных им для открытия потерянного документа, продолжается странным и по временам ужасным рассказом. В продолжение своего усыпления Алиса описала три образа, которые представлялись ее взору. Один был пожилой джентльмен с выражением достоинства в осанке и с суровым лицом, одетый, как бы по какому-то торжественному случаю, в костюм из темной, дорогой материи, но с большим кровавым пятном на богато вышитом воротнике. Другой был тоже пожилой человек, одетый просто, с мрачной и злобной физиономией и с порванной веревкой на шее. Третий — человек моложе первых двоих, но старше средних лет; он носил толстую шерстяную тунику, кожаные штаны, и плотничий аршин торчал из его бокового кармана. Эти три привидения знали

взаимно, где находится потерянный документ. Один из них — тот, что с кровавым пятном на воротнике, — казалось, если только не обманывали его движения, имел документ в своем непосредственном хранении, но два таинственных его товарища не давали ему освободиться от своей обязанности. Наконец, когда он обнаружил намерение объявить свою тайну так громко, чтобы быть услышанным в мире смертных, товарищи его стали бороться с ним и закрывать ему руками рот, и тогда на его воротнике показывалось свежее кровавое пятно. После этого две просто одетые фигуры смеялись и подшучивали над пристыженным старым джентльменом, указывая на пятно пальцами.

Тут Моул обратился к мистеру Пинчону.

— Он никогда не будет открыт, — сказал он. — Хранение этой тайны, которая, будучи объявлена, обогатила бы потомство вашего деда, составляет часть его наказания за гробом. Он должен таиться с нею до тех пор, пока она потеряет всякую цену, поэтому Дом о Семи Шпилях остается при вас. Это наследство куплено так дорого, что его опасно принять от полковникова потомства.

Мистер Пинчон пытался что-то сказать, но — от страха и потрясения чувств! — в горле его

послышалось только какое-то урчанье. Плотник засмеялся.

— Ага, почтенный господин! Это вы пьете кровь старого Моула! — сказал он насмешливо.

— Колдун! Зачем ты овладел моей дочерью? — вскричал Пинчон, получив способность говорить. — Отдай мне ее назад и ступай себе своей дорогою, и чтоб мы никогда больше не встречались!

— Ваша дочь! — сказал Мэтью Моул. — Да она также и моя. Чтобы не быть слишком грубым с прелестной мистрис Алисой, я предоставляю ее вашей опеке; впрочем, не буду уверять вас, что она не будет иметь больше случая вспомнить о плотнике Моуле.

Прелестная Алиса Пинчон очнулась от своего странного обморока. Она не сохранила ни малейшего воспоминания о своих видениях; она как будто забылась только в минутном мечтании и возвратилась к сознанию действительной жизни почти в такое же короткое время, в какое потухающий пламень в камине вспыхивает с прежнею живостью после мгновенного угасания. Узнав Мэтью Моула, она приняла вид несколько холодного, но кроткого достоинства, тем более что на лице плотника остался какой-то особенный смех,

который подавлял природную гордость Алисы. Так кончились на этот раз поиски документа на восточные пинчоновские земли, и хотя часто они возобновлялись впоследствии, но ни одному еще Пинчону не удалось бросить взгляд на драгоценный пергамен.

А между тем прелестная, нежная Алиса сильно от них пострадала. Сила, которая никогда ей и не снилось, жестко коснулась ее. Отец пожертвовал своим бедным дитятей из одного желания мерить свои земли милями вместо акров. Алиса до конца своей жизни была покорна воле Моула. Она чувствовала себя униженной как нельзя более.

В один вечер, во время свадебного пиршества (но не ее, потому что, потеряв над собой власть, она считала бы грехом выйти замуж), бедная Алиса была принуждена идти по улице в своем белом кисейном платье и атласных башмачках к убогому жилищу ремесленника. В доме слышались смех и веселый говор, потому что в эту ночь Мэтью Моул женился на дочери другого ремесленника и призвал гордую Алису Пинчон в подружки к своей невесте. Она повиновалась ему, и когда кончилось испытание, Алиса очнулась от своего заколдованного сна. Но она не была уже гордая леди: смиренно, с улыбкой, в которой

выражалась горесть, она поцеловала жену Моула и отправилась домой. Ночь была ненастная, юго-восточный ветер бил ей прямо в легко прикрытую грудь смесью снега и дождя, атласные башмачки ее совсем промокли, когда она бежала по мокрым тротуарам. На другой день она почувствовала простуду, скоро открылся постоянный кашель, она вдруг исхудала, и ее сухощавая чахоточная фигура, сидя за клавикордами, наполняла, бывало, дом печальной музыкой — музыкой, в которой слышались голоса небесных хористов.

Пинчоны похоронили Алису великолепно. На похоронах была вся городская знать. Но последним в процессии шел Мэтью Моул. Это был самый мрачный человек, какой только когда-либо провожал гроб.

Глава XIV
Прощанье Фиби

Хоулгрейв, увлекшись своим чтением с жаром, свойственным молодому автору, значительную часть действия своих лиц представлял, как это было всего удобнее, телодвижениями. Дочитав до конца, он заметил, что какое-то усыпление (вовсе не похожее на то, к которому, может быть,

чувствует себя расположенным в эту минуту читатель) овладело чувствами его слушательницы.

— Вы меня просто огорчаете, милая мисс Фиби! — воскликнул он, смеясь отчасти саркастически. — Моя бедная история — это очевидно! — никогда не будет принята Годеем и Грагамом! Уснуть над тем, что, по моему мнению, газетные критики должны бы были провозгласить самым блистательным, изящным, патетическим и оригинальным! Нечего делать, пускай эта рукопись идет на зажигалки для ламп. Пропитанная моею тупостью, она не будет так быстро гореть, как обыкновенная бумага.

— Я уснула! Как вы можете так говорить? — отвечала Фиби. — Нет, нет! Я была очень внимательна, и хотя не могу припомнить ясно всех обстоятельств, но в моем уме осталась идея о великих страданиях и бедствиях, а потому ваша повесть непременно должна быть для всех занимательною.

Между тем солнце зашло и окрашивало облака этими яркими цветами, которые появляются на них только через некоторое время после заката, когда горизонт потеряет весь свой роскошный блеск. Месяц также, долго пересиливаемый солнечным светом и терявшийся до сих пор в

небесной лазури, начал ярко сиять на половине ночного своего пути. Серебристые лучи его были так сильны, что могли уже изменить характер остающегося дневного полусвета. Они смягчили и скрасили вид старого дома, хотя тень сгустилась сильнее прежнего в углах шпилей и лежала непроницаемой массой под выступом верхнего этажа и в пространстве полуотворенной двери. С каждым мгновением сад делался живописнее; плодовые деревья, кустарники и купы цветов наполнились в своих промежутках темнотою. Обыкновенные черты сада, набросанные, по-видимому, в течение столетия бестолковой жизни, были преобразованы теперь романтическим очарованием. Сотня таинственных лет шептала между листьями всякий раз, когда между ними проникал легкий морской ветерок. Лунный свет пробивался там и сям сквозь лиственный покров беседки и падал серебристо-белыми пятнами на ее темный пол, на стол и на окружающие его скамейки, беспрестанно меняя формы этих пятен по мере того, как скважины между листьями то открывались, то снова закрывались.

Воздух был так приятно холоден после жаркого дня, что летний вечер казался потоком росы и лунных лучей, перемешанных с ледяными

искрами, — потоком, льющимся из серебряной вазы. Там и сям несколько капель этой свежести падало на человеческое сердце и возвращало ему его молодость и симпатию к вечной красоте природы. Одним из таких сердец было сердце нашего дагеротиписта. Живительное влияние лунного и свежего вечера дало ему почувствовать, как он еще молод, о чем он часто почти забывал.

— Мне кажется, — сказал он, — что я никогда еще не видел наступления такого прекрасного вечера и никогда еще не чувствовал ничего столь похожего на счастье, как в эту минуту. Что ни говори, а в каком добром живем мы мире! В каком добром и прекрасном! Как он еще молод! Этот старый дом, например, иногда решительно подавлял мою душу запахом гниющих бревен, а в этом саду чернозем всегда так лип к моему заступу, как будто я землекоп, роющий могилу на кладбище. Но если б я сохранил навсегда чувство, которое теперь овладело мною, то сад каждый день представлялся бы мне девственной почвой и запах его бобов и тыкв говорил бы мне о свежести земли. А дом! Он бы казался мне беседкой в эдеме, цветущею первыми розами, созданными Богом. Лунный свет и чувство человеческого сердца, ему соответственное, — величайшие возобновители

и преобразователи.

— Я прежде была счастливее теперешнего, по крайней мере, гораздо веселее, — сказала задумчиво Фиби, — но и я чувствую прелесть этого тихого сияния. Я люблю наблюдать, как неохотно удаляется на покой усталый день и как ему досадно, что он должен подняться завтра так рано. Я прежде никогда не обращала большого внимания на солнечный свет и удивляюсь, что в нем сегодня такого привлекательного!

— И вы никогда прежде не чувствовали этого? — спросил дагеротипист, глядя пристально на девушку сквозь сумерки.

— Никогда, — отвечала Фиби, — и сама жизнь кажется мне теперь иною, когда я так сильно ее чувствую. Мне кажется, как будто до сих пор я на все смотрела при дневном свете… или, лучше, при ярком свете веселого очага, вспыхивающем и танцующем по комнате. Бедняжка! — прибавила она со смехом, в котором сквозила меланхолия. — Я никогда уже не буду так весела, как в то время, когда я не знала еще кузины Гефсибы и бедного кузена Клиффорда. В это короткое время я сильно постарела. Постарела и, я думаю, сделалась умнее… и не то чтобы печальнее, но уже нет и половины прежней светлости в моей душе.

Я отдала им свой солнечный свет и очень рада, что отдала его, но все же я не могу и отдать и сохранить его. Несмотря на это, я очень рада, что с ними сблизилась.

— Вы, Фиби, не потеряли ничего, что стоит хранить или что возможно сохранить, — сказал Хоулгрейв после некоторой паузы. — Первой нашей молодости мы не сознаем до тех пор, пока она минет. Но иногда — я думаю, даже всегда, если только кто-нибудь уж не очень несчастлив, — мы приобретаем чувство второй молодости, вырывающееся из сердца в пору любви; или, может быть, оно приходит к нам для того, чтобы украсить какой-нибудь другой великий праздник жизни, если только он есть. Это сожаление — как вот ваше теперь — о прежней беспечной веселости миновавшей юности и это глубокое счастье от сознания юности приобретенной, столь несравненно более сильной и роскошной, чем та, которой мы лишились, необходимы для развития человеческой души. В некоторых случаях оба эти состояния наступают почти одновременно и смешивают грусть и восторг в одно таинственное волнение.

— Я едва ли понимаю вас, — сказала Фиби.

— Немудрено, — отвечал, смеясь, Хоулгрейв, —

потому что я высказал вам тайну, которую только что сам начал уразумевать. Помните ее, однако, и когда истина слов моих сделается ясна для вас, вспомните тогда об этой лунной картине.

— Уже все небо озарено лунным сиянием, кроме этого небольшого кусочка слабого красного света на западе, между этими строениями, — заметила Фиби. — Я должна вернуться в дом. Кузина Гефсиба не слишком сильна в арифметике и очень будет затрудняться дневным счетом, если я не помогу ей.

Но Хоулгрейв удержал ее еще немножко.

— Мисс Гефсиба сказала мне, что вы через несколько дней вернетесь в деревню.

— Да, но только на короткое время, — отвечала Фиби, — потому что я этот дом считаю теперь своим домом. Я еду устроить кое-какие дела и проститься не так торопливо, как прежде, с матерью и друзьями. Приятно там жить, где нас более желают и более находят в нас пользы, а я думаю, что здесь я и желанная, и полезная гостья.

— Вы совершенно можете быть в этом уверены; только вы не знаете, до какой степени вы здесь необходимы, — сказал дагеротипист. — Если только здоровье, удобство и естественный порядок жизни существуют в доме, то все это

олицетворено в вашей особе. Благословенные Божьи дары нисходят на этот дом вместе с вами и оставят его, лишь только вы переступите через его порог. Мисс Гефсиба своим отчуждением от общества потеряла всякое истинное отношение к нему и решительно как бы умерла заживо, хотя она воспроизводит в себе подобие жизни и стоит за конторкой, хмурясь на свет с самым неумолимым видом. Ваш бедный кузен Клиффорд — тоже усопший и давно погребенный человек. Я нисколько не удивился бы, если бы он в одно прекрасное утро после вашего приезда рухнул на землю и превратился в кучу праха. По крайней мере, мисс Гефсиба потеряет и тот остаток гибкости, который она теперь имеет. Они оба существуют вами.

— Мне было бы очень грустно так думать, — отвечала Фиби. — Но это правда, что небольшие мои способности составляют именно то, что для них нужно, и я принимаю сильное участие в их благоденствии; я питаю к ним какое-то странное материнское чувство, над которым, надеюсь, вы не будете смеяться. Позвольте мне говорить с вами откровенно, мистер Хоулгрейв, мне иногда очень хочется знать, желаете ли вы им добра или зла.

— Без сомнения, — отвечал дагеротипист, — я принимаю участие в этой устаревшей, подавленной бедностью старой леди и в этом униженном, сокрушенном страданиями джентльмене — этом, так сказать, неудавшемся любителе прекрасного; я нежно интересуюсь этими старыми, беспомощными детьми. Но вы не имеете понятия, как мое сердце непохоже на ваше. В отношении к этим людям я не чувствую побуждения ни помогать им, ни препятствовать; мне хочется только смотреть на них, анализировать их, объяснять самому себе предмет и постигать драму, которая почти в течение двухсот лет совершалась медленно на том поприще, на котором мы теперь действуем. Если только позволено заглядывать за чужую ограду, то я, глядя на них, извлекаю для себя нравственное наслаждение, что бы с ними ни произошло. Во мне есть убеждение, что конец драмы близок. Но хотя Провидение посылает вас сюда для помощи, а меня только в качестве случайного наблюдателя, однако ж я готов оказать этим несчастным существам какую только в состоянии помощь.

— Я желала бы, чтобы вы говорили проще, — сказала Фиби в смущении и недовольстве, — и еще сильнее желала бы, чтобы вы чувствовали

более по-человечески. Как возможно видеть людей в несчастье и не желать сильнее, нежели чего-нибудь другого, успокоить и утешить их? Вы говорите так, как будто этот старый дом — театр, и, по-видимому, смотрите на бедствия Гефсибы и Клиффорда и на бедствия предшествовавших им поколений как на трагедию, которую у нас в деревне представляли в трактирной зале, только здешняя трагедия в ваших глазах играется как будто исключительно для забавы. Это мне не нравится. Представление стоит актерам слишком дорого, а зрители слишком несимпатичны.

— Вы слишком строги ко мне, — сказал Хоулгрейв, принужденный признаться, что в этом колком рассуждении о его душе есть много истины.

— И потом, — продолжала Фиби, — что вы хотите сказать вашим убеждением, о котором вы мне говорили, — что конец пьесы близок? Разве вам что-нибудь известно о каком-нибудь новом горе, которое угрожает моим бедным родственникам? Если известно, то сообщите мне, и я не оставлю их.

— Простите мне, Фиби! — сказал дагеротипист, протягивая ей руку, на что и она принуждена была отвечать тем же. — Я немножко загадочен, в

этом должен сознаться. В моей крови есть что-то, что в старые добрые времена как раз привело бы меня на Висельный Холм. Верьте мне, что если б я знал тайну, полезную для ваших друзей — которые и для меня тоже друзья, — то открыл бы вам ее до вашего отъезда. Но я ничего подобного не знаю.

— У вас, однако, есть какая-то тайна! — сказала Фиби.

— Никакой, кроме моей собственной, — отвечал Хоулгрейв. — Правда, я вижу, что судья Пинчон постоянно следит за Клиффордом, несчастью которого он много способствовал; но его побуждения и намерения остаются для меня тайною. Он решительный и неумолимый человек, настоящий инквизитор, и если б только находил какую-нибудь выгоду в том, чтобы сделать Клиффорду какой-нибудь вред, то он готов бы был разобрать его по суставам. Но, будучи таким богачом, будучи так силен сам по себе и влиятелен в обществе, чего судья Пинчон может бояться со стороны полоумного, полумертвого Клиффорда?

— Вы, однако, говорили так, как будто ему угрожает какое-то новое бедствие, — настаивала на своем Фиби.

— Это потому, что я болен, — отвечал дагероти-

пист. — В моем уме есть своя язва, как и во всяком, кроме вашего. Сверх того для меня так странно очутиться жильцом этого старого Пинчонова дома и работать в этом старом саду — слушайте, как журчит Моулов источник! — что уже по одному этому я не могу удержаться от мысли, что Судьба определила пятый акт для катастрофы здешней драмы.

— Опять! — вскричала Фиби с возвратившимся негодованием, потому что она по своей природе была так враждебна таинственности, как солнечный свет темноте. — Вы смущаете меня более, чем когда-либо.

— Так расстанемся же друзьями, — сказал Хоулгрейв, пожимая ей руку, — или если не друзьями, то разойдемся прежде, нежели вы окончательно меня возненавидите — вы, которая любит всех прочих людей!

— Прощайте же, — сказала своим свободным тоном Фиби. — Не думаю, чтоб я сердилась на вас долго, и мне бы очень было жаль, если б вы это думали. Вот кузина Гефсиба стоит уже с четверть часа в тени двери. Она думает, что я слишком долго остаюсь в росистом саду, а потому спокойной ночи и прощайте!

На другое утро Фиби, в своей соломенной

шляпке, с шалью на одной руке и с небольшим дорожным мешком — на другой, прощалась с Гефсибой и Клиффордом. Она готова была занять место на железной дороге в первом поезде, который повезет ее миль за двенадцать, к ее родной деревне.

Глаза Фиби были полны слез, и улыбка, смешанная с выражением горести прощания, играла на ее устах. Она дивилась, как это так сделалось, что, прожив несколько недель в этом старом доме с тяжелой трубою, она так привязалась к нему и так прониклась его интересами, что теперь он сделался для нее гораздо более важным центром воспоминаний, чем всякое другое место. Как могла Гефсиба, угрюмая, молчаливая и безответная на избыток ее дружественных чувств, внушить ей столько к себе любви? Каким образом Клиффорд, в своем нравственном разрушении, с тайной лежавшего на нем ужасного преступления и с тяжелым тюремным воздухом, веявшим еще в его дыхании, — как он преобразился для нее в простодушного ребенка, за которым она считала себя обязанной смотреть, о котором она должна была иметь попечение в минуты его бессознательного состояния? Все это при разлуке живо представилось ее уму. Куда бы она ни посмотре-

ла, к чему бы ни прикоснулась рукой, каждый предмет отвечал душе ее, как будто в нем билось живое сердце.

Она взглянула из окна в сад и почувствовала гораздо больше сожаления, что оставляет этот кусок чернозема, покрытый древними растениями, чем радости, что опять увидит свои сосновые леса и далеко зеленеющие луга. Она позвала Горлозвона, обеих его кур и цыпленка и бросила им горсть крошек, оставшихся на столе после завтрака. Куры поспешно поклевали их, а цыпленок распустил свои крылья, взлетел к Фиби на окно и, глядя важно в ее глаза, выразил свои чувства чириканьем. Фиби просила его быть в ее отсутствие добрым цыпленком и обещала привезти ему небольшой мешочек гречихи.

— Ах, Фиби! — сказала Гефсиба. — Ты уже не смеешься так от души, как в то время, когда ко мне приехала! Тогда смех сам собой у тебя вырывался, а теперь ты смеешься им, когда захочешь. Хорошо, что ты едешь на время подышать родным своим воздухом. Здесь все слишком тяжело действует на твою душу. Дом наш слишком мрачен и пуст, лавочка очень беспокойна, что же касается меня, то я вовсе не знаю, как что-нибудь представить в более светлом виде, нежели оно

есть в действительности. Милый Клиффорд был единственной твоей отрадой.

— Подойдите сюда, Фиби! — вскричал вдруг ее кузен Клиффорд, который говорил очень мало в это утро. — Ближе, ближе! И посмотрите мне в лицо.

Фиби оперлась руками на ручки его кресла и наклонилась к нему лицом, так что она могла рассматривать его как нельзя удобнее. Вероятно, тайное волнение предстоявшей ему разлуки оживило в некоторой степени его отупевшие и ослабевшие способности, только Фиби скоро почувствовала, что он проникает в ее сердце своим взглядом с чувством, непохожим на деликатное любопытство. Минуту назад она не знала за собой ничего, что бы она желала от него скрыть, теперь как будто мысль его напомнила ей самой что-то тайное, и она готова была потупить свои глаза перед Клиффордом. Лицо ее начало покрываться румянцем, который сделался еще ярче от ее усилия подавить его, и наконец выступил у нее даже на лбу.

— Довольно, Фиби, — сказал Клиффорд, с меланхолической улыбкой. — Когда я увидел вас впервые, вы были прелестнейшая в мире молоденькая девушка, теперь вы расцвели до полной

красоты. Девичество перешло в женственность: цветочная почка сделалась цветком. Подите же, теперь я более одинок, чем прежде.

Фиби простилась с печальными своими родственниками и прошла через лавочку, сжимая веки, чтобы стряхнуть выступившие на глазах слезы, потому что, соображая, как коротко будет ее отсутствие и не следует из-за него предаваться горю, она не считала своих слез стоящими того, чтоб отирать их платком. На ступеньке двери она встретила мальчугана, удивительные гастрономические подвиги которого были описаны нами в первой части нашей повести. Она достала с окна какой-то предмет из естественной истории (глаза ее были так отуманены слезами, что она не могла рассмотреть, был ли то кролик или гиппопотам), отдала мальчику в знак прощания и продолжала свой путь. В это самое время дядя Веннер вышел из своей двери, с деревянными козлами для пиленья дров и с пилой на плечах, и нимало не поцеремонился проводить Фиби по улице, пока им предстояла одна дорога, а она со своей стороны, несмотря на его заплатанный фрак, порыжелую шляпу и полотняные штаны, нисколько не стеснялась его общества.

— Вот уж вас и не будет с нами после обеда в

следующее воскресенье! — сказал уличный философ. — Непостижимо, как мало надобно иному времени, чтобы человек так привык к нему, как к собственному дыханию, а, с позволения вашего, мисс Фиби — хотя старик может сказать вам это без всякой обиды, — я именно так привык к вам. Мои годы считаются уже очень давно, а ваша жизнь только что начинается, и, однако, вы для меня сделались такой привычной особою, как будто я нашел вас в доме моей матери и вы с того времени, как гибкая виноградная лоза, процветали по всему моему жизненному пути. Возвращайтесь к нам поскорее, это я удалюсь на свою ферму, потому что эти деревянные козлы начинают делаться тяжелыми для моей спины.

— Очень скоро вернусь, дядя Веннер, — сказала Фиби.

— А еще поспешите скорее ради тех вон бедных людей, — продолжал ее спутник. — Теперь не совладать им без вас, решительно не совладать, Фиби, все равно как если бы Божий ангел жил до сих пор с ними и делал печальный дом их веселым и покойным. Что, вы думаете, почувствовали бы они, если бы в такое прекрасное осеннее утро, как сегодняшнее, он распустил свои крылья и улетел от них туда, откуда явился? Именно это

они будут теперь чувствовать, когда вы уедете по железной дороге. Они этого не вынесут, мисс Фиби, и потому поспешите назад.

— Я не ангел, дядя Веннер, — отвечала Фиби, подавая ему с улыбкой руку на повороте на другую улицу, — но думаю, что люди никогда не бывают так похожи на ангелов, как в то время, когда они делают для ближнего то, что в состоянии. Я непременно вернусь сюда.

Так расстался дряхлый старик с прекрасной девушкой, и Фиби полетела по железной дороге с такой быстротою, как будто была одарена крыльями воздушного существа, с которым дядя Веннер так грациозно ее сравнивал.

Глава XV
Нахмуренные брови и улыбка

Под семью шпилями было довольно тяжело и холодно несколько дней. Чтоб не приписывать всей мрачности неба и земли одному отсутствию Фиби, скажем, что в это время поднялась с востока буря и бушевала неутомимо, чтобы сообщить почерневшей кровле и стенам старого дома более мрачный вид, нежели тот, какой они имели когда-либо. Но внутренность его была мрачнее

самой наружности. Бедный Клиффорд лишился вдруг всех слабых своих ресурсов радости. Фиби не было, а солнечный свет не играл на полу. Сад — со своею грязной природой и оцепенелыми листьями — наводил на него дрожь, ничто не цвело в холодной, влажной, безжалостной атмосфере, трепетавшей от порывов морского ветра, зеленели только мшистые пятна на гонтовой крыше и густые кусты камыша, страдавшие недавно от засухи, в углу между двух шпилей.

Что касается Гефсибы, то она не только поддалась влиянию восточного ветра, — она своей личностью олицетворяла только другую фазу этой серой, угрюмой непогоды, — она сама была настоящий восточный ветер, резкий и унылый, в толстом шелковом платье, с тучею складок тюрбана на голове. Торговля в лавочке упала, потому что пронеслась молва, будто бы Гефсиба окисляла своими нахмуренными взглядами пиво и разные съестные припасы. Покупатели, пожалуй, были и правы, жалуясь на ее поведение, но в отношении к Клиффорду она не была ни брюзглива, ни сурова, и в сердце ее было столько же теплоты к нему, как и прежде, если бы только эта теплота могла его коснуться. Но безуспешность лучших ее стараний парализовала бедную старую леди. Она не

могла придумать ничего лучше, как сидеть молча в углу комнаты и увеличивать бессознательно своим грустным видом сумрак комнаты, которая и без того в полдень от хлещущих в маленькие окна ветвей напоминала вечерние сумерки. Гефсиба в этом была не виновата. Все в доме, даже старые кресла и столы, знакомые с непогодой в три раза больше, чем она, смотрели так мрачно и холодно, как будто настоящая буря была более жестокой, чем все, которым они подвергались ранее. Портрет пуританского полковника дрожал на стене. Сам дом болезненно сжимался весь, от своих семи шпилей до огромного кухонного очага, который лучше всего занимал место сердца этого здания, потому что, построенный для тепла, он был теперь так холоден и пуст.

Гефсиба пробовала поправить дело, разведя огонь в доме. Но буря сторожила камин, и, когда пламя вспыхнуло, он погнал дым назад, наполнив закоптелое горло камина собственным дыханием. Несмотря на это, в продолжение четырех дней этой скучной непогоды Клиффорд занимал свое всегдашнее кресло, закутавшись в старый плащ. Утром на пятый день, когда сестра позвала его к завтраку, он отвечал только болезненным ворчаньем, выражавшим решительное

его намерение не покидать постели. Гефсиба и не пыталась переменить его решимость. При всей своей любви к нему она едва была в состоянии исполнять при нем долее свою грустную обязанность, столь несоразмерную с ее ограниченными и грубыми способностями, то есть искать забавы для чувствительного, но поврежденного ума, критического и капризного, но лишенного силы и определенного стремления. В этот день, по крайней мере, она чувствовала что-то немного легче полного отчаяния, потому что могла сидеть и дрожать от холода одна и не терпеть беспрестанно возобновляющиеся горести и напрасные муки угрызений совести при всяком беспокойном взгляде товарища ее страданий.

Но Клиффорд, несмотря на то что не выходил из своей комнаты на верхнем этаже, все-таки силился приискать себе какую-нибудь забаву. В течение послеобеденного времени Гефсиба услышала звуки музыки, которая, так как в доме не было больше никакого инструмента, должна была происходить из клавикордов Алисы Пинчон. Она знала, что Клиффорд в молодости имел отличный вкус в музыке и значительное искусство исполнять ее; но все-таки трудно было понять, как мог он сохранить это искусство, для

которого необходимо постоянное упражнение, в такой мере, чтобы производить эти сладкие, воздушные и нежные, хотя очень печальные тоны, которые доходили теперь до ее слуха. Не менее было удивительно и то, что долго абсолютно безмолвный инструмент был способен к такой мелодии. Гефсиба невольно подумала о непонятной музыке, которая всякий раз слышалась перед чьею-нибудь смертью в семействе и которую приписывали прославленной легендами Алисе. Но доказательством, что умелые пальцы сейчас играли на клавикордах, могло служить то обстоятельство, что струны, издав несколько гармонических звуков, вдруг как бы порвались и музыка умолкла.

За таинственными нотами музыки последовали более жесткие звуки; этому ненастному дню не суждено было миновать без приключения, которое для Гефсибы и Клиффорда отравило бы самый благоуханный воздух, какой только когда-либо приносил с собой блестящих колибри. Последние отголоски музыки Алисы Пинчон (или Клиффорда, если мы можем приписать ему эту музыку) были прерваны самой обыкновенной дисгармониею, именно звоном лавочного колокольчика. На пороге лавочки послышался

шорох сапог, и потом кто-то тяжело зашагал по полу. Гефсиба промедлила с минуту, чтобы закутаться в полинялую шаль, которая служила ей защитными латами против восточного ветра в продолжение сорока лет. Но характерный, знакомый ей звук — не кашель и не кряканье, но что-то вроде спазматического ворчанья в чьей-то широкой груди — заставил ее броситься вперед с тем видом свирепого испуга, столь свойственного женщине в случаях крайней опасности. Немногие представительницы ее пола в таких обстоятельствах смотрели так ужасно, как наша бедная, нахмуренная Гефсиба. Но посетитель спокойно затворил за собой дверь, положил свою шляпу на конторку и встретил с самым благосклонным выражением лица ужас и гнев, вызванные его появлением.

Предчувствие Гефсибы не обмануло ее. Перед ней стоял не кто иной, как судья Пинчон, который, попытавшись без успеха пройти в дом через парадную дверь, решился проникнуть в него посредством лавочки.

— Как вы поживаете, кузина Гефсиба? И как переносит эту ужасную погоду наш бедный Клиффорд? — начал судья, и, хотя это покажется странным, восточная буря была пристыжена

или по крайней мере немножко присмирела от кроткой благосклонности его улыбки. — Я не мог удержаться, чтоб не спросить вас в другой раз, не могу ли я чем-нибудь служить для его или для вашего спокойствия.

— Вы ничего не можете для него сделать, — отвечала Гефсиба, подавляя свое волнение по мере возможности. — Я сама позабочусь о Клиффорде. Он имеет все, что для него необходимо в его положении.

— Но позвольте мне сказать вам, милая кузина, — возразил судья, — что вы ошибаетесь, при всей вашей любви и нежности, конечно, и с самыми лучшими намерениями, но все-таки вы ошибаетесь, держа своего брата взаперти. Зачем удалять его таким образом от всякого сочувствия и нежности? Клиффорд, увы, и без того прожил слишком долго в уединении. Предоставьте ему теперь сблизиться с обществом — с обществом родных и старых приятелей. Позвольте, например, хоть только мне видеть Клиффорда, и я вас заверяю, что наше свидание произведет на него приятное впечатление.

— Вам нельзя видеть его, — отвечала Гефсиба. — Клиффорд со вчерашнего дня не оставлял постели.

— Как?! Что?! Он болен? — воскликнул Пинчон, пораженный, как казалось, досадой и испугом, потому что в то время, когда он говорил, как будто нахмуренный взгляд самого пуританина-полковника омрачил комнату. — О, в таком случае я должен, я хочу видеть его! Что, если он умрет?

— Ему нечего опасаться смерти, — сказала Гефсиба и прибавила с колкостью, которой она не могла дольше подавлять в себе: — Если только его не будут преследовать и осуждать на смерть по милости человека, который когда-то давно этим озаботился!

— Кузина Гефсиба, — сказал судья с выражением чувствительности в своих движениях, доведенной почти до слезного пафоса в продолжение его монолога, — неужели вы не понимаете, как несправедливы, как враждебны, как немилосердны вы ко мне в своем постоянном против меня ожесточении за то, что я принужден был делать по своему долгу и по совести, по силе закона и с опасностью для себя? Как могли бы вы, сестра его, оказать ему больше любви в этом случае? И неужели вы думаете, кузина, что это не стоило мне никакого мучения? Что это не оставило в моей груди никакой горести с того дня до нынешнего, посреди всего благоденствия,

которым благословило меня небо? Или что я бы не радовался, если б это было согласно с долгом справедливости и с благосостоянием общества, чтобы наш милый родственник, друг моей юности, эта натура, созданная так нежно и прекрасно, этот человек столь несчастный и — должно сказать! — столь преступный, чтоб, одним словом, наш Клиффорд был возвращен жизни и наслаждениям ею? Ах, вы меня мало знаете, кузина Гефсиба! Вы мало знаете это сердце! Оно трепещет теперь при мысли встретить его! Нет на свете другого человека, исключая вас, да и вы не превзошли в этом меня, который бы пролил столько слез о бедствии Клиффорда. Вы видите и теперь их. Никто так не восхищался бы его счастьем! Испытайте меня, Гефсиба! Испытайте меня, кузина! Испытайте человека, которого вы почитали врагом своим и врагом Клиффорда! Испытайте Джеффри Пинчона, и вы найдете его верным до самой глубины его сердца!

— Во имя неба, — вскричала Гефсиба, в которой этот поток нежностей со стороны человека, в высшей степени жесткого, возбудил только сильное негодование, — ради самого неба, которое вы оскорбляете и которое изумляет меня своим долготерпением, оставьте эти уверения в

привязанности к вашей жертве! Вы ненавидите Клиффорда! Скажите это прямо, как мужчина! В эту самую минуту вы питаете против него в вашем сердце какой-нибудь мрачный замысел! Выскажите его сразу! Или, если вы надеетесь преуспеть в нем вернее, скройте его до тех пор, пока восторжествуете! Но не говорите никогда опять о вашей любви к моему бедному брату! Я не могу выносить этого! Это заставит меня позабыть границы всякого приличия! Это сведет меня с ума! Удержитесь! Ни слова более! Иначе я брошусь на вас!

На этот раз гнев Гефсибы придал ей смелости, и она высказала свои чувства. Но было ли это непобедимое недоверие к прекраснодушию судьи Пинчона и это, по-видимому, уже излишне решительное отвержение в нем всякой человеческой симпатии? Были ли чувства Гефсибы основаны на справедливом понимании его характера или же это были только следствия женских предубеждений, ни на чем не основанных?

Судья, без всякого спора, был человек высокопочтенный. Никто не отвергал этого. Во всей весьма обширной сфере людей, знавших его в качестве должностного или частного человека, не было никого — кроме Гефсибы да какого-ни-

будь чудака вроде нашего дагеротиписта, — кто бы мечтал о серьезном оспаривании его права на высокое и почетное место, какое он занимал во мнении света. Да и сам судья Пинчон (надобно отдать ему справедливость) не слишком часто сомневался в том, что его завидная репутация не согласовывается с его заслугами. Поэтому совесть его, почитаемая всегда лучшим свидетелем человеческой честности, говорила согласно с одобрительным голосом света постоянно, кроме разве небольшого промежутка пяти минут в двадцать четыре часа или изредка в один какой-нибудь черный день из целого года. Однако, как ни сильно, по-видимому, это свидетельство, мы не решаемся подвергнуть опасности нашу собственную совесть, утверждая, что судья и согласный с ним свет были правы и что бедная Гефсиба со своими предрассудками ошибалась. Весьма быть может, что в нем скрывалось какое-нибудь злое и отвратительное намерение, невидимое людям, забытое им самим или погребенное так глубоко под великолепными столбами его тщеславных подвигов, что было совсем незаметно для повседневной его жизни. Мы решаемся даже сказать, что он мог ежедневно совершать дурное дело, что он мог возобновлять его беспрестанно.

Люди сильного ума, твердого характера и развитой чувствительности способны впадать в ошибки подобного рода. Это обыкновенно те люди, для которых формы всего важнее. Поле их действия лежит в области внешних явлений жизни. Они обладают отличным искусством схватить, устроить и обратить в свою собственность такие грубые, тяжелые, крепкие признаки достояния, как золото, земли и тому подобное. Из этих материалов и из благовидных дел, совершенных перед глазами света, существо такой породы обыкновенно строит высокое и величественное здание, которое в глазах других людей и окончательно в его собственных есть не что иное, как характер человека или сам человек. И что за чудное это здание! Роскошные залы его и ряды просторных комнат вымощены мозаикой из дорогих сортов мрамора, окна во всю высоту комнат пропускают солнечный свет сквозь самые прозрачные зеркальные стекла, высокие карнизы позолочены, потолки великолепно расписаны, а возвышенный купол, сквозь стеклянную середину которого видно небо, как бы вовсе не отделенное от вас никакой преградой, венчает все. Какой лучшей и благороднейшей эмблемой может кто бы то ни было пожелать выразить

свой характер? Но увы! В каком-нибудь низком и темном углу, в каком-нибудь узком промежутке нижней настилки пола или в стоячей луже воды, прикрытой сверху изящнейшею мозаикой, может лежать полусгнивший и продолжающий гнить труп и наполнять все здание своим мертвенным запахом. Обитатель великолепного дома не будет замечать этого запаха, потому что он долго дышал им повседневно. Не заметят его и гости, потому что будут обонять только драгоценные ароматы, которыми хозяин соблазнительно наполнит свои комнаты. Изредка только случится быть в этом доме глубоко зрящему человеку, перед одаренными печальным даром глазами которого все здание растает в воздухе, оставив после себя только скрытый угол, задвинутую засовами конуру с паутиной, висящею фестонами на ее позабытой двери, или безобразную ямку под помостом и гниющий в ней труп. Здесь-то мы должны искать истинную основу характера человека и его дела, которая придает настоящую действительность его жизни; а эта лужа стоячей воды, прикрытая мраморным полом, зараженная нечистотой и, может быть, орошенная некогда кровью, — это его жалкая душа!

Применим эти замечания несколько ближе

к Пинчону. Мы можем сказать (вовсе не обвиняя в преступлении эту почтенную особу), что в его жизни было довольно блестящего мусора, чтобы завалить и парализовать гораздо более деятельную и чувствительную совесть, чем какая когда-либо тревожила его. Чистота его судейских действий во время заседаний; верность его общественной службе; преданность его своей партии и строгая точность, с какой он соблюдал ее правила, или, по крайней мере, согласовывался с ее организованными движениями; замечательная его ревность в качестве председателя одного человеколюбивого общества, его неукоризненная честность как казначея вдовьей и сиротской суммы пожертвований; заслуги его в садоводстве, для которого он вырастил два особенных сорта груш, и в сельском хозяйстве, посредством выведения известного пинчоновского быка; чистота его поведения в течение многих лет жизни; суровость, с которой он журил и наконец отверг распутного сына; его заботы об успехах общества воздержания; ограничение себя с того времени, как у него обнаружилась подагра, пятью только рюмками в день старого хереса; снежная белизна его белья; лак его сапог, красота его палки с золотым набалдашником; просторный покрой его

фрака и тонкость его материи и вообще изысканная опрятность его костюма; скрупулезность, с которой он соблюдал правила учтивости на улицах, кланяясь, снимая шляпу, кивая головой или делая приветствие рукой всем своим знакомым, как богатым, так и бедным; сиявшая в его лице благосклонность, которой он постоянно старался радовать весь свет, — вот черты характера судьи, по мнению света, и можно ли найти место для черных красок в портрете, составленном из таких черт? Пинчон видел в зеркале ежедневно свою светлую физиономию и постоянно сознавал свою удивительно устроенную жизнь. Мог ли он не считать себя результатом и суммой всех итогов ее и не говорить мысленно самому себе и обществу: «Вот каков судья Пинчон!»

И если предположить, что он много-много тому лет назад, в своей ранней и беззаботной молодости, совершил какое-нибудь темное дело или даже что и теперь неизбежная сила обстоятельств могла бы заставить его совершить одно преступное дело между тысячью похвальных или, по крайней мере, непредосудительных дел, то неужели вы стали бы определять характер судьи Пинчона по одному этому делу, по этому полузабытому преступлению, и из-за него не ува-

жали бы прекрасного течения всей его жизни? Что в злом деле столь тяжелого, чтобы гнет его перевесил всю массу незлых дел, которые будут положены на другую чашку весов? Эта система равновесия в большом ходу у людей Пинчонова сорта. Жесткий и холодный человек, поставленный в несчастное положение нашего судьи, глядящий изредка или никогда не глядящий внутрь себя и с решимостью составляющий о себе понятие по отражению своей личности в зеркале общественного мнения, — такой человек редко может прийти к самопознанию другим путем, кроме случайной потери богатства и репутации. Болезнь не всегда еще бывает в состоянии образумить его, да и не всегда самый час смерти.

Но мы имеем теперь дело собственно с судьей Пинчоном, который стоит непоколебимо против ярости гнева Гефсибы. К собственному своему удивлению, вовсе непреднамеренно, она вдруг высказала ему всю закоренелую ненависть, которую она питала к нему в продолжение тридцати лет.

До сих пор лицо судьи выражало кроткое терпение, важный и почти нежный упрек кузине за ее неистовство, добровольное прощение обиды, наносимой ему ее словами. Но когда эти сло-

ва были произнесены невозвратимо, взор его принял выражение строгости, сознания силы и непреклонной решимости, и вся эта перемена совершилась так естественно и незаметно, что казалось, как будто железный человек стоял на этом месте с самого начала, а мягкого человека не было вовсе. Впечатление, производимое судьей Пинчоном, было таково, как будто туманные облака со своими нежными цветами вдруг слетели с каменного чела крутой горы и оставили ее нахмуренною; вы глядите и с первого взгляда чувствуете, что она хмурилась и будет хмуриться вечно. Гефсиба почти готова была допустить безумную мысль, что перед ней стоит ее предок, старый пуританин, а не современный ей судья, на которого она только что излила всю злобу своего сердца. Никогда еще человек не представлял сильнейшего доказательства приписываемого ему родства, как судья Пинчон в этом случае, своим разительным сходством с портретом, висевшим в разговорной.

— Кузина Гефсиба, — сказал он очень спокойно, — пора уж это бросить.

— От всего сердца, — отвечала она. — Почему же вы не перестаете нас преследовать? Оставьте в покое бедного Клиффорда и меня. Никто из нас

не желает от вас ничего больше.

— Я намерен видеть Клиффорда прежде, чем выйду из этого дома, — продолжал судья. — Перестаньте вести себя как помешанная, Гефсиба! Я единственный его друг. Неужели вы так слепы, что не видите, что не только без моего согласия, но и без моих стараний, без моих представлений, без всего моего политического, официального и личного влияния Клиффорд никогда не был бы, как вы это называете, свободным? Неужели вы почитаете его освобождение из тюрьмы торжеством надо мной? Вовсе нет, добрая моя кузина, вовсе нет, ни в каком случае! Это было исполнение давнишнего моего намерения. Я возвратил ему свободу!

— Вы! — отвечала Гефсиба. — Я никогда этому не поверю! Он обязан вам только своим пребыванием в темнице, а своей свободой — Провидению Божию!

— Я возвратил ему свободу! — повторил судья Пинчон с величайшим спокойствием. — И я явился сюда решить, должен ли он продолжать ею пользоваться. Это будет зависеть от него самого. Вот для чего я хочу его видеть.

— Никогда! Это бы свело его с ума! — воскликнула Гефсиба, но уже с нерешительностью,

достаточно заметной для проницательных глаз судьи, потому что, совсем не веря в его добрые намерения, она не знала, что опаснее — уступить или сопротивляться. — И зачем вам видеть этого жалкого, разрушенного несчастьями человека, который едва удержал часть своего ума и хочет скрывать даже и этот остаток от людей, которые не любят его?

— Он увидит во мне достаточно любви, если только он в ней нуждается! — сказал судья с испытанной уверенностью в благосклонности своего взгляда. — Но, кузина Гефсиба, вы признаетесь в важном обстоятельстве, и как раз кстати. Выслушайте же меня: я хочу вам объяснить прямо причины, заставляющие меня настаивать на этом свидании. Тридцать лет тому назад, по смерти нашего дяди Джеффри, оказалось — я не знаю, обратили ли вы внимание на это обстоятельство посреди более печальных интересов, соединившихся вокруг него, — только оказалось, что его имущество всякого рода было гораздо меньше, чем все вообще полагали. Он слыл чрезвычайно богатым человеком. Никто не сомневался в том, что он принадлежал к числу первых капиталистов своего времени. Но одной из его странностей — если не глупостей — было

желание скрывать настоящее количество своей собственности посредством отдаленных заграничных банковских билетов — может быть, даже написанных не на его имя — и разными другими средствами, хорошо известными капиталистам, но о которых нет надобности теперь распространяться. По духовному завещанию дяди Джеффри, как вы знаете, все его имущество перешло ко мне, с единственным исключением — чтобы вам был предоставлен в пожизненное владение этот старый дом и небольшой участок наследственной земли, к нему принадлежащий.

— И неужели вы хотите лишить нас и этого? — спросила Гефсиба, не в силах подавить горького упрека. — Так вот цена, за которую вы готовы перестать преследовать бедного Клиффорда?

— Разумеется, нет, милая моя кузина, — отвечал судья с благосклонной улыбкой. — Напротив, вы и сами должны отдать мне справедливость, я постоянно выражал готовность удвоить или утроить ваши средства, если только вы решитесь принять этот знак любви от вашего родственника. Нет, нет! Дело вот в чем. Из несомненно огромного состояния моего дяди, как я вам сказал, не осталось после его смерти и половины. Куда там! Даже трети, как я вполне убедился в этом.

Теперь я имею весьма основательные причины думать, что брат ваш Клиффорд может дать мне ключ к отысканию остального.

— Клиффорд!.. Клиффорд знает о скрытом богатстве? От Клиффорда зависит обогатить вас? — вскричала старая леди, пораженная странностью этой идеи. — Это невозможно! Вы заблуждаетесь! Над этим стоит только посмеяться.

— Это так же верно, как то, что я стою на этом месте, — сказал судья Пинчон, ударив своею тростью с золотым набалдашником об пол и в то же время топнув ногой, как бы для того, чтобы выразить еще сильнее свое убеждение. — Клиффорд говорил мне сам об этом!

— Нет, быть не может! — воскликнула недоверчиво Гефсиба. — Это вам пригрезилось, кузен Джеффри.

— Я не принадлежу к грезящему разряду людей, — сказал судья спокойно. — За несколько месяцев перед смертью моего дяди Клиффорд хвастался мне, что он владеет тайной о несметном богатстве. Он хотел этим пошутить надо мной и подстрекнуть мое любопытство. Я это хорошо понимаю. Но, припоминая ясно некоторые обстоятельства нашего разговора, я совершенно точно убеждаюсь, что в его словах была часть

истины. Теперь, если угодно Клиффорду — а ему должно быть угодно, — он может объявить мне, где найти список, документы или другие признаки, в какой бы форме они ни существовали, по которым бы можно было отыскать огромное утерянное богатство дяди Джеффри. Он знает тайну. Он не напрасно хвастался. В его словах были прямота, убедительность и что-то такое, по чему я заключаю, что под таинственностью его выражений скрывалась определенная мысль.

— Но зачем бы Клиффорду скрывать ее так долго? — спросила Гефсиба.

— Это было одно из побуждений его падшей натуры, — отвечал судья, подняв кверху глаза. — Он смотрел на меня как на своего врага. Он считал меня виновником своего ужасного бедствия, своей смертельной опасности, своих невозвратимых потерь. Поэтому невероятно было, чтобы он объявил мне в тюрьме тайну, которая возвела бы меня еще выше по ступеням благоденствия. Но теперь наступило наконец время, когда он должен открыть мне этот секрет.

— А что, если он не захочет? — спросила Гефсиба. — Или, как я в этом и уверена, если он совсем ничего не знает об исчезнувшем богатстве?

— Милая моя кузина, — сказал судья Пинчон

со спокойствием, которое в нем было ужаснее исступления, — с самого возвращения вашего брата я взял за правило предосторожность — очень естественную в близком родственнике и натуральном опекуне человека в таком положении — наблюдать постоянно и внимательно за его поведением и привычками. Соседи ваши были свидетелями того, что происходило в саду. Мясник, хлебник, продавец рыбы, некоторые из покупателей вашей лавочки и многие старые богомолки рассказывали мне разные тайны вашей домашней жизни. Еще больший круг людей, и сам я в том числе, может засвидетельствовать о его дурачествах в полуциркульном окне. Тысячи людей видели его неделю или две назад, готового броситься на мостовую. Из всех этих показаний я вывожу заключение — с отвращением и глубокой грустью, конечно, — что несчастья Клиффорда так подействовали на его рассудок, никогда не отличавшийся силой, что он не может безопасно жить на свободе. Следовательно, вы сами можете судить, что — впрочем, это будет зависеть от того, какое я приму решение об этом предмете, — его ожидает заключение, может быть, на весь остаток его жизни в публичном приюте для людей, находящихся в его несчастном состоянии ума.

— Не может быть, чтоб у вас был такой умысел! — вскричала Гефсиба.

— Если мой кузен Клиффорд, — продолжал Пинчон с совершенным спокойствием, — просто от злости и ненависти к человеку, интересы которого должны быть для него дороги — уже одна эта страсть так же часто, как и всякая другая, показывает умственный недуг, — если, говорю, он откажется сообщить мне столь важное для меня сведение, которым он, без сомнения, обладает, то для меня достаточно будет самого ничтожного свидетельства, чтобы убедиться в его помешательстве. А чуть только совесть моя будет успокоена насчет моих намерений, то вы знаете меня так хорошо, кузина Гефсиба, что не можете сомневаться в моей решимости.

— О, Джеффри, кузен Джеффри! — вскричала Гефсиба горестно, но уже без раздражения. — Вы сами больны умом, а не Клиффорд! Вы позабыли, что ваша мать была женщина, что у вас были сестры, братья и дети! Вы позабыли, что между человеком и человеком существует привязанность, что один человек имеет жалость к другому в этом горестном мире! Иначе как бы вы могли подумать даже о таком поступке? Вы уже немолоды, кузен Джеффри! Нет, вы уже не в средних

летах, вы — старик! На голове у вас уже поседели волосы! Сколько лет надеетесь вы еще прожить? Неужели вы недостаточно богаты на это недолгое время? Неужели вы будете терпеть голод? Неужели вы будете нуждаться в одежде или в приюте между нынешним днем и смертью? О, с половиной только того, чем вы владеете, вы можете пресыщаться драгоценнейшими яствами и винами, построить дом вдвое великолепнее того, в котором вы теперь живете, являться несравненно блистательнее пред глазами света — и все-таки вы оставите своему единственному сыну такое богатство, что он будет благословлять свою судьбу. Зачем же вам совершать это жестокое, страшно жестокое дело, такое безумное дело, что я даже не знаю, называть ли его злодейством?!

— Образумьтесь, Гефсиба, ради самого неба! — воскликнул судья с нетерпением, свойственным рассудительному человеку, который слушает нелепость вроде предыдущей в разговоре о делах. — Я объявил вам свое решение. Я не в состоянии переменить его. Клиффорд должен открыть мне тайну или подвергнуться всем следствиям своего запирательства. Пускай же он решается немедленно, потому что у меня есть разные дела на сегодняшнее утро и еще предстоит важный

обед с друзьями по политике.

— Клиффорд не знает никакой тайны! — отвечала Гефсиба. — И Господь не допустит вас исполнить ваш умысел.

— Посмотрим, — сказал непоколебимый судья. — Между тем решайтесь, что вам делать: позвать ли Клиффорда и устроить дружелюбно дело свиданием между двумя родственниками или принудить меня к более суровым мерам, от которых бы я с радостью отказался, если б только совесть моя была спокойна. Но ответственность за это пред Богом падет на вас.

— Вы сильнее меня, — сказала Гефсиба после краткого размышления, — и в вашей силе нет никакой жалости. Клиффорд сегодня болен, а свидание, которого вы домогаетесь, расстроит его еще больше. Несмотря на это, зная вас очень хорошо, я предоставляю вам удостовериться самому в невероятности того, чтобы он знал какую-нибудь важную тайну. Я позову Клиффорда. Будьте милосердны в вашем обращении с ним! Будьте гораздо более милосердны, чем сколько внушит вам ваше сердце, потому что очи небесные обращены на вас, Джеффри Пинчон!

Судья последовал за своею кузиной из лавочки, в которой происходил предыдущий разговор, в

ее дом и бросился тяжело в старое кресло. Много индивидуумов из рода Пинчонов отдыхало в этом просторном кресле: розовощекие дети после своих игр; молодые люди, мечтавшие о любви; совершеннолетние, обремененные заботами; старики, согбенные летами. Они задумывались, спали здесь и засыпали еще более глубоким сном. Существовало старинное предание, хотя сомнительное, что это было то самое кресло, сидя в котором первый из новоанглийских предков судьи, тот самый, портрет которого до сих пор висел на стене, принял в виде молчаливого и нахмуренного мертвеца своих знатных гостей. Может быть, с того зловещего часа до настоящей минуты — мы не знаем тайны сердца судьи Пинчона — не один более усталый и печальный человек не опускался в это кресло, как этот самый судья Пинчон, которого мы постоянно видели таким неумолимым и решительным. Без всякого сомнения, ему недешево стоила эта железная броня, которой он оковал свою душу. Такое спокойствие есть следствие гораздо более трудных душевных потрясений, чем исступление более слабого человека. И притом же ему предстояло еще тяжкое дело. Малость ли это, такое ли это ничтожное обстоятельство, к которому можно

приготовиться в одну минуту и позабыть в другую, что он должен теперь, через тридцать лет, встретиться с родственником, вставшим из могилы, и вынудить у него тайну или же осудить его снова на погребение заживо?

— Вы что-то говорите? — спросила Гефсиба, оглянувшись на него с порога, потому что ей показалось, будто бы судья издал какие-то звуки, которые она рада была истолковать отсрочкой свидания. — Я думала, что вы зовете меня назад.

— Нет, нет! — отвечал сердито судья Пинчон, нахмурив сурово брови, между тем как его лоб покрывался почти черным багрянцем в полусвете комнаты. — Зачем бы звал я вас назад? Время летит! Просите ко мне Клиффорда!

Судья достал часы из кармана своего жилета и держал их в руке, измеряя время, которое должно пройти до появления Клиффорда.

Глава XVI
Комната Клиффорда

Никогда еще старый дом не казался таким печальным бедной Гефсибе, как в то время, когда она исполняла это горестное посольство. Он принял какой-то странный вид, когда она

проходила по вытертым ногами половицам коридоров и отворяла одну обветшалую дверь за другою, поднимаясь по скрипучей лестнице, и с ужасом оглядывалась по сторонам. Ничего нет удивительного, если ее возбужденному уму представлялся позади или подле нее сбоку шорох платьев покойников или мелькали бледные лица, ожидавшие ее на площадке вверху лестницы. Нервы ее были потрясены предшествовавшею сценой раздражения и ужаса. Разговор ее с судьею Пинчоном, который так живо напоминал наружность и все свойства основателя фамилии Пинчонов, вызвал из забвения страшное прошедшее, и оно всей тяжестью легло ей на душу. Все истории, какие только она слышала от легендохранительниц — теток и бабушек относительно счастливых и несчастных обстоятельств Пинчонов, — эти истории, яркость которых поддерживалась в ее воспоминании огнем камина, у которого они рассказывались, — пришли теперь ей на память, мрачные, страшные, холодные, как большею частью была вся летопись рода Пинчонов, и все вместе они казались ей только чередой бедствий, повторявшихся в каждом последующем поколении, имевших один и тот же колорит и мало чем разнообразившихся, кроме

очертаний. Но Гефсиба чувствовала теперь, как будто судья, Клиффорд и сама она — все трое вместе — были готовы внести новое событие в фамильную летопись, с более ярким рельефом злодейства и горести, что и должно было отделить это событие от предшествовавших. Она не могла освободиться от предчувствия чего-то еще небывалого, совершавшегося в эту минуту и долженствовавшего скоро исполниться. Нервы ее были расстроены. Инстинктивно она остановилась у полуциркульного окна и смотрела на улицу, чтобы схватить неизменные предметы ее своим умом и таким образом устоять против колебаний, которые наполняли ее. Она была поражена, увидев все в том же виде, как было и днем раньше, и в бесчисленные предшествовавшие дни, исключая небольшой промежуток времени между ясной погодой и бурей. Глаза ее бродили вдоль улицы от двери до двери, она смотрела на мокрые тротуары с ведрами там и сям по впадинам, которые были вовсе незаметны, пока не наполнились водою. Она зажмурила свои мутные глаза, чтоб изощрить зрительный орган и рассмотреть с некоторой определенностью известное ей окно, в котором она полувидела-полуотгадывала портниху, сидевшую за работою.

Гефсиба примкнула к сообществу этой незнакомой женщины даже на таком расстоянии. Потом она была привлечена быстро проезжавшею каретой и следила за ее мокрой и блестящею верхушкой и за ее брызжущими колесами, пока она не повернула за угол и отказалась везти далее ее праздношатающийся, испуганный и подавленный ум. Когда карета исчезла, она прицепилась еще к одному предмету: на улице показалась фигура доброго дяди Веннера; он плелся кое-как с одного конца улицы на другой, сражаясь со своим ревматизмом, который был навеян на него восточным ветром. Гефсиба желала, чтоб он шел еще медленнее, спасая ее от ее трепетного одиночества. Все, что могло удалить ее на время от горестного настоящего и поместить человеческое существо между ею и тем, что было к ней так близко, все, что отсрочивало на минуту неизбежное посольство, которое она принуждена была исполнить, — все такие препятствия были для нее отрадны.

Гефсиба мало имела смелости встречать собственные страдания; как же ей должно было быть тяжело предать на страдание Клиффорда! Столь нежный по природе и претерпевший столько бедствий, он мог пасть окончательно, сойдясь

лицом к лицу с жестким, безжалостным человеком, который всю жизнь был его злым гением. Если бы даже между ними не было никакого горького воспоминания и никакого враждебного интереса, то одно естественное отвращение по преимуществу духовной натуры к натуре массивной, тяжелой и невпечатлительной могло бы само по себе быть бедственно для первой. Это все равно как если бы фарфоровая ваза, уже и без того надколотая, столкнулась с гранитной колонной. Никогда еще Гефсиба не определяла так верно сильного характера своего кузена Джеффри — сильного рассудком, энергией воли, долгой привычкой действовать в человеческом обществе и, как она думала, безразборчивостью, с которой он стремился к эгоистическим своим целям дурными средствами. Он был тем ужаснее для Гефсибы, что находился в заблуждении касательно тайны, которой будто бы обладал Клиффорд. Люди с его твердостью намерений и смышленостью в обыкновенных делах, если случается им забрать в голову ложное мнение о каком-нибудь предмете практической жизни, загоняют это мнение как клин между предметами, хорошо им известными, так что вырвать его из их ума едва ли легче, чем дуб из земли, в которую он

впился корнями. Поэтому так как судья требовал от Клиффорда невозможного, Клиффорд, не будучи в состоянии удовлетворить его, должен был неизбежно погибнуть. В самом деле, что сделается с мягкою, поэтической натурой Клиффорда, которая не должна знать более упорного дела, как перекладывать прекрасные наслаждения жизни на текучие волны музыкальных размеров, что сделается с нею в руках такого человека? Она будет сокрушена, раздавлена и скоро совершенно уничтожена!

В уме Гефсибы явилась на минуту мысль, не знает ли в самом деле чего-нибудь Клиффорд об исчезнувшем богатстве покойного его дяди, как полагал судья. Она припомнила некоторые неопределенные намеки со стороны своего брата, которые, если только это предположение не совсем нелепо, могли быть истолкованы таким образом. У него появлялись иногда планы путешествий в чужих краях, он грезил о блистательной жизни на родине и строил великолепные воздушные замки, которые для своего осуществления требовали несметных сокровищ. Если б эти сокровища были в ее руках, с какой бы радостью предоставила их Гефсиба своему бездушному родственнику, чтоб купить Клиф-

форду свободу и жизнь в этом старом печальном доме! Но она была уверена, что планы ее брата так же мало основывались на действительности, как намерения ребенка о его будущей жизни, которые он высказывает, сидя в маленьком кресле подле своей матери. Клиффорд имел в своем распоряжении только фантастическое богатство, а оно было ни на что не нужно судье Пинчону!

Неужели же не было для них никакой помощи в их крайности? Странно, как быть столь беспомощными посреди города? Гефсиба могла бы тотчас отворить окно и позвать на помощь. Каждый поспешил бы принять участие, хорошо поняв, что этот страшный крик есть крик души человеческой, находящейся в каком-то ужасном отчаянии. «Но как это дико, как это почти смешно… и как, однако, такие случаи постоянно являются в смутном бреду людей света, — думала Гефсиба, — что, кто бы и с какими бы видами ни явился на помощь, можно сказать наверное, что помощь будет оказана сильнейшей стороне!» Судья Пинчон, человек почтенный в глазах света, обладающий огромным состоянием, причастный ко всему, что дает человеку хорошую репутацию, явится в этом случае таким импонирующим лицом и в таком свете, что сама Гефсиба почти

готова будет отказаться от своих заключений относительно его показной честности. Судья на одной стороне, кто же на другой? Преступный Клиффорд, совершитель неясно припоминаемого злодейства!

Несмотря, однако, на убеждение, что судья Пинчон задействует все земные средства в свою помощь, Гефсиба до такой степени была неспособна действовать сама по себе, что самый ничтожный совет мог заставить ее уклониться от действия. Маленькая Фиби озарила бы тотчас перед нею всю сцену если не каким-нибудь полезным внушением, то просто теплой живостью своего характера. В ее отсутствие в уме Гефсибы мелькнула мысль о дагеротиписте. Несмотря на его молодость и неизвестность, несмотря на то что он был простой искатель приключений, она чувствовала, что он одарен силой для борьбы в решительную минуту. С этой мыслью она отворила дверь, увешенную паутиной и давно уже не отворявшуюся, но которая в старые времена служила путем сообщения между ее комнатами и нынешнею квартирой жильца. Его не было на ту пору дома. Опрокинутая корешком кверху книга на столе, рукописный сверток бумаги, полуисписанный лист, газета, некоторые ин-

струменты нынешнего его ремесла и несколько неудавшихся дагеротипных портретов произвели на посетительницу такое впечатление, как будто он был здесь же рядом. Но в эту пору дня, как Гефсиба могла догадываться, дагеротипист должен был находиться в своей мастерской. По внушению праздного любопытства, которое как-то странно примешалось к ее тяжелым мыслям, она посмотрела на один из дагеротипов и увидела судью Пинчона, хмуро смотрящего на нее. Судьба заглянула ей в лицо. Она вернулась из своих бесполезных поисков с отчаянным чувством неудачи. В продолжение всего долгого ее затворничества она никогда еще не чувствовала так, как теперь, что значит быть одинокою. Ей казалось, как будто дом ее стоял среди пустыни или каким-то колдовством был невидим тем, кто жил кругом или проходил мимо, так что в нем может произойти какое угодно несчастье, горестное приключение или преступление, и никто не будет иметь возможности помочь. В своем горе и раненой гордости Гефсиба провела всю жизнь, чуждаясь друзей; она добровольно отвергла помощь, которую Господь заповедал, чтобы его создания оказывали одно другому, и в наказание за то теперь Клиффорд и она сделались

легкими жертвами своего родственного врага.

Вернувшись к полуциркульному окну, бедняжка близорукая Гефсиба подняла глаза к небу, хмурясь и на него, как на все в мире, хотя она желала своим отчаянным взором послать молитву к небесам сквозь густой покров облаков. Эти облака скопились на небе, как бы символизируя огромную массу человеческих треволнений, замешательств и холодного равнодушия, лежащую между землей и лучшими мирами. Отчаяние ее было так сильно, что она не могла вознести к небесам своей молитвы; молитва падала назад на ее сердце свинцовым бременем и приводила ее в ужас. Провидение разливает свое правосудие и благость, как солнечный свет, по всему миру. Но Гефсиба не знала, что как теплые солнечные лучи светят в окно каждой хижины, так и лучи попечения и милосердия Божия проливаются для каждой отдельной нужды.

Наконец, не находя более никакого предлога откладывать мучение, на которое она должна была предать Клиффорда, и чувствуя непреодолимое отвращение услышать из нижнего этажа голос судьи, понуждающий ее поторопиться, она поплелась, как бледное, убитое горем привидение, как жалкая тень женщины, почти с

окостенелыми суставами, к двери комнаты брата и постучалась.

Ответа не было.

И каким бы образом был он? Рука ее, дрожащая от ужасного намерения, которое управляло ею, толкала так слабо дверь, что даже снаружи едва был слышен ее стук. Она постучала опять. Опять никакого ответа! Но и это не было удивительно. Она стучала со всею силой биения ее сердца, сообщив собственный ужас своему зову. Клиффорд должен был уткнуться лицом в подушку и закутать голову в одеяло, как испуганный ребенок в полночь. Она постучала в третий раз тремя правильными ударами, тихо, но совершенно ясно. Клиффорд не дал никакого ответа.

— Клиффорд! милый брат! — сказала Гефсиба. — Могу ли я войти?

Молчание.

Три, четыре и больше раз повторила Гефсиба его имя без всякого успеха. Наконец, думая, что брат ее спит очень глубоким сном, она отворила дверь и, войдя в комнату, нашла ее пустою. Каким образом мог он выйти, да и куда, так, чтобы она не заметила? Возможно ли, чтобы, несмотря на ненастный день, и притом запершись в своей комнате, он вздумал сделать обыкновенную

свою прогулку по саду и теперь дрожал там под печальным лиственным покровом беседки? Она торопливо отворила окно, выставила свою тюрбаноносную голову и половину своей худощавой фигуры и озирала весь сад так тщательно, как только позволяла это ей близорукость. Она могла видеть внутренность беседки и кружок ее скамеек, весь мокрый от дождевых капель, пробивавшихся сквозь крышку. Никого в беседке не было. Не было видно также Клиффорда и нигде в другом месте, разве он спрятался, как это представилось на одну минуту Гефсибе, в мокрую массу тыквенных ветвей, взбежавших беспорядочно вверх по какой-то деревянной лесенке, приставленной случайно наискось к стене. Но этого быть не может, его там и не было, потому что старая кошка страннаго вида осторожно вышла из-под этого навеса и начала пробираться через сад. Дважды она останавливалась понюхать воздух и потом продолжала подходить к окошку приемной. За то ли, что эта кошка со свойственной ее породе уловкой намерена была украдкой рассмотреть, что там за комната, или, может быть, она обнаружила какое-нибудь более зловредное покушение, только старая леди, несмотря на свое беспокойство, почувствовала желание пугнуть

ее и бросила в нее оконной подпоркой. Кошка вытаращила на нее глаза, как обнаруженный вор или разбойник, и тотчас обратилась в бегство. Никакого живого существа не видно было больше в саду. Горлозвон и его семейство не покинули еще своего насеста, упав духом от бесконечного дождя, или, может быть, распорядились гораздо умнее — подкрепились пищей и возвратились в свое затишье.

Гефсиба затворила окно.

Где же был Клиффорд? Неужели, узнав о том, что его ожидает, он пробрался потихоньку по лестнице, когда судья Пинчон разговаривал с Гефсибой в лавочке, отодвинул задвижки наружной двери и убежал на улицу? Она уже видела в воображении его серую, изнуренную, почти ребяческую фигуру в старомодном платье, которое он носил дома. Этот призрак бродил по городу, обращая на себя всеобщее внимание, изумляя и отталкивая от себя всех, как дух, тем более страшный, что явился среди белого дня. Он возбуждал насмешки молодых людей, которые не знали Клиффорда; подвергался суровому презрению и негодованию немногих стариков, которым некогда были знакомы черты его; делался игрушкой мальчишек, которые в том возрасте, когда

получают способность бегать по городу, так же мало чувствуют почтения к тому, что прекрасно и свято, как и жалости к тому, что печально. Они колят Клиффорда своими насмешками, своим резким криком, своим жестоким хохотом, оскорбляют грязным названием, которое дал ему свет и которым они везде его провожают, или даже, как это тоже может быть, если и никто не оскорбляет его ничем, кроме необдуманного слова, но он будет поражен странностью своего положения, то что мудреного в том, если ему придет в голову какая-нибудь странная затея, которую истолкуют как помешательство? Таким образом враждебный план судьи осуществится сам собой.

Потом Гефсибе пришла в голову мысль, что город был почти со всех сторон окружен водой. Каналы, проходящие к гавани, в эту бурную погоду были покинуты обыкновенно суетившеюся здесь толпой купцов, поденщиков и матросов; вдоль их мглистых линий чернели только суда со своими стемами и веслами. Что, если ее брат направил бессмысленное свое бегство к этому месту и, наклонившись над черной глубиной воды, подумал, что это одно доступное для него убежище и что одним движением он может спастись навеки от преследования своего родственника?

Это последнее опасение наполнило новым ужасом душу бедной Гефсибы. Даже Джеффри Пинчон может теперь помочь ей! Она поспешила спуститься с лестницы с криком:

— Клиффорд убежал! Я не нашла брата! Помогите, Джеффри Пинчон! С ним случится какое-нибудь несчастье!

Она отворила дверь дома. Но древесные ветви, закрывавшие отчасти окна, закоптелый от дыма потолок и темные, обложенные лубом стены производили в ней такую темноту, что близорукая Гефсиба не могла ясно видеть фигуру судьи. Она, однако, была уверена, что видит, как он сидит в старом кресле почти посреди комнаты и, повернувшись к ней немного боком, смотрит в окно. Нервная система людей Пинчонова склада так тверда и спокойна, что судья пошевельнулся, может быть, один только раз с того времени, как оставила его Гефсиба, но в грубом спокойствии своего темперамента сохранил ту же самую позу, которую принял случайно.

— Я говорю вам, Джеффри! — вскричала нетерпеливо Гефсиба, поворачиваясь от двери, чтобы продолжить поиски в других комнатах. — Брата нет в его комнате! Помогите мне отыскать его!

Но судья Пинчон был не такой человек, чтобы

вскочить с мягкого кресла с торопливостью, вовсе не соответствовавшею как достоинству его характера, так и величественным размерам его особы, потому только, что истеричная женщина подняла крик. Впрочем, если принять в соображение его собственный интерес в этом деле, то, казалось, он должен был выразить некоторое беспокойство.

— Слышите ли вы меня, Джеффри Пинчон? — вскричала Гефсиба, опять приближаясь к двери приемной своей комнаты после безуспешных исканий. — Клиффорд ушел!

В эту минуту на пороге показался, выйдя из соседней комнаты, сам Клиффорд. Лицо его было необыкновенно бледно, так мертвенно-бледно, что Гефсиба могла различить его черты сквозь всю густоту полусвета коридора, как будто свет падал на одно это лицо. Живое и дикое выражение его, казалось, само по себе было достаточно для того, чтобы озарить его таким светом, это было выражение презрения и насмешки, сопровождаемое внутренним волнением, которое он выражал своими жестами. Стоя на пороге и обернувшись немного назад, он указал пальцем в приемную и сделал им такое движение, как будто призывал не одну Гефсибу, но целый свет посмотреть на

что-то непостижимо смешное. Этот поступок, столь несогласный с обстоятельствами, столь странный и сопровождаемый притом взглядом, который выражал чувство, более похожее на радость, чем на какое-нибудь другое возбужденное состояние души, заставил Гефсибу опасаться, что зловещее посещение ее родственника решительно свело с ума Клиффорда. Она не могла также объяснить себе иначе спокойствия судьи, как предположив, что он коварно наблюдает за тем, как Клиффорд обнаруживает признаки своего поврежденного ума.

— Успокойся, Клиффорд! — шепнула ему сестра, подавая ему рукой знак осторожности. — О, ради бога, успокойся!

— Пускай уж он теперь успокоится! Ему больше нечего делать, — отвечал Клиффорд еще с более диким жестом, указывая в комнату, которую он только что оставил. — Что же касается нас, Гефсиба, то мы теперь можем танцевать, мы можем петь, смеяться, играть и делать все что угодно. Тяжесть исчезла, Гефсиба! Этот старый мир оставил нас, и мы можем теперь быть так веселы, как и сама маленькая Фиби!

И в подтверждение своих слов он начал хохотать, продолжая все-таки указывать пальцем на

предмет, невидимый для Гефсибы, в приемной. Тут ее вдруг поразила мысль о каком-нибудь ужасном происшествии, случившемся в ее комнате. Она проскользнула туда мимо Клиффорда, но почти в ту же минуту вернулась с криком, который застрял в ее горле. Бросив на своего брата испуганно-вопросительный взгляд, она увидела, что он весь в тревоге и трепете от головы до ног, но в этом смятении чувств все еще выражалась восторженная радость.

— Боже мой! Что теперь с нами будет? — возопила Гефсиба.

— Пойдем! — сказал Клиффорд тоном быстрой решимости, вовсе не свойственной обыкновенному его поведению. — Мы остаемся здесь слишком долго! Оставим старый дом нашему кузену Джеффри! Он о нем позаботится!

Только теперь заметила Гефсиба, что Клиффорд был в плаще — старинном, очень старинном, — в который он обыкновенно закутывался в продолжение последних бурных дней. Он махнул рукой, выражая мысль, насколько Гефсиба могла понять его жест, что они должны уйти вместе из дому. Есть такие хаотические, смутные, головокружительные минуты в жизни людей, у которых недостает действительной силы характера, минуты

испытания, в которые вдруг может обнаружиться в высокой степени смелость, но в которые эти люди, предоставленные самим себе, стремятся без цели вперед или следуют доверчиво за всяким случайным вожатым, хотя бы то был ребенок. Они не обращают внимания на нелепость или безумие своего поступка, они хватаются слепо за сделанное им предложение. Гефсиба была теперь в таком состоянии. Непривычная к самостоятельному действию или отчетливости в своих поступках, приведенная в ужас представившимся ей зрелищем и боясь спрашивать, боясь даже воображать, как это могло случиться, будучи поражена предопределением судьбы, которая, по-видимому, преследовала ее брата, сбитая с толку мутною, густою, удушающею атмосферой страха, который наполнил дом как бы запахом смерти и затемнил в ее голове всякую определенность мысли, она повиновалась без всякого вопроса и в ту же минуту воле, выраженной Клиффордом. Сама по себе она чувствовала себя как бы во сне, до такой степени была подавлена ее собственная воля. Клиффорд, обыкновенно лишенный этой способности, обрел ее в напряжении сил, произведенном в нем необыкновенным зрелищем.

— Почему ты так медлишь? — вскричал он

резко. — Надевай свой плащ и шляпку… или что тебе угодно! Все равно, что бы ты ни надела, ты не будешь красавицей ни в чем, моя бедная Гефсиба! Бери свой кошелек с деньгами, и отправимся!

Гефсиба повиновалась этим наставлениям, потому что ничего больше не нужно было делать, ни о чем больше не нужно думать. Правда, она начала удивляться, отчего бы ей не проснуться и не убедиться, что в действительности ничего ужасного не случилось. Не может быть, чтоб это было наяву! Этот мрачный, бурный день еще не начинался; судья Пинчон еще не разговаривал с нею; Клиффорд еще не смеялся, не указывал пальцем, не махал ей рукой, предлагая уйти из дому; она просто была опечалена, как часто бывает с уединенно живущими людьми, тяжким своим положением во время утреннего сна.

«Теперь я непременно проснусь! — думала Гефсиба, ходя взад и вперед и готовясь к отъезду. — Я не могу выносить этого дольше! Теперь я непременно должна проснуться!»

Но он не наступал, этот момент пробуждения; он не наступил даже и тогда, когда уже перед самым выходом из дома Клиффорд подошел потихоньку к двери приемной комнаты и простился с сидевшим в ней человеком.

— Что за нелепую фигуру представляет теперь старик! — шепнул он Гефсибе. — И именно в то время, когда мечтал, что поймал наконец меня в свои лапы! Пойдем, пойдем! Скорее! А то он вскочит и цапнет нас, как кошка мышей!

Когда они выходили на улицу, Клиффорд обратил внимание Гефсибы на какие-то буквы на одном из столбов фронтона. То был его собственный вензель, который он вырезал в детстве с некоторой степенью изящества, характеризовавшего все его действия. Брат и сестра пустились в путь дальше и оставили судью Пинчона, сидящего в старом своем доме. Он сидел такой тяжелой и неуклюжею массой, что мы ни с чем не можем сравнить его, кроме как с домовым, который умер посреди своих злых проказ и оставил свой бездушный труп на груди своей жертвы.

Глава XVII
Бегство двух сов

Холодный восточный ветер заставлял бедную Гефсибу стучать немногими уцелевшими у нее зубами, когда она вместе с Клиффордом шла ему навстречу вдоль по Пинчоновой улице к центру города. Но она дрожала не от одного холода (хотя,

впрочем, ее ноги и в особенности руки никогда еще не были так мертвенно-холодны, как теперь), внутри, в душе у нее, была такая же дрожь, как и в теле. Холодная атмосфера света была для нее так бесприютна! Это чувствует всякий новичок в странствовании по свету, даже если он бросается в него и в то время, когда самый горячий поток жизни стремится по его жилам. Каково же было Гефсибе и Клиффорду, престарелым и при этом похожим на детей по неопытности, — каково было им выйти в открытый мир из-под широкой сени Пинчонова вяза! Они предприняли теперь такое странствование на край света, о каком часто мечтает ребенок с какими-нибудь шестью пенсами и сухарем в кармане. Ум Гефсибы томился сознанием, что она странствует наобум. Она потеряла способность самоуправления, но при виде предстоящих ей затруднений почувствовала, что стоит труда возвратить эту способность, и была не в силах это сделать.

Продолжая странную свою экспедицию, она время от времени бросала косой взгляд на Клиффорда и не могла не заметить, что он находится под влиянием сильного возбуждения чувств, которое и дало ему вдруг непреодолимую власть над своими движениями. Это возбуждение походило

на действие, производимое в человеке вином, но еще лучше его можно сравнить с веселой музыкальной пьесой, которую с дикой живостью играют на расстроенном инструменте.

Они встречали мало народа даже и тогда, когда вышли из уединенных окрестностей Дома о Семи Шпилях в самую многолюдную и шумную часть города. Две странные фигуры едва ли обращали на себя столько внимания, сколько молодая девушка, которая в это самое время проходила по мокрым тротуарам, приподняв свою юбку. Если б их бегство случилось в ясный и веселый день, то они едва ли могли бы пройти по улицам, не сделавшись предметом оскорбительного любопытства. Теперь они сливались с печальной непогодой и потому, не слишком выделяясь из обшей массы окружающих их предметов, терялись в сером тоне картины для глаз каждого наблюдателя.

Было ли то намерение Клиффорда или дело случая, только они очутились наконец под аркой входа в огромное строение из серого камня. Внутри этого строения было довольно большое пространство, наполненное отчасти дымом паровоза. Ряд вагонов готов был тотчас двинуться с места. Не размышляя, с непреодолимой реши-

мостью, если не беззаботностью, которая так странно вдруг овладела им, а от него сообщилась и Гефсибе, Клиффорд тотчас подошел с сестрой к вагону и заставил ее войти в отворенную дверцу. Сигнал был подан, машина зафыркала своим кротким дыханием, поезд двинулся, и вместе с сотнею других путешественников эти два необыкновенных странника полетели вперед, как ветер.

Таким образом, после столь долгого отчуждения от всего, что делал или чем наслаждался мир, они наконец были брошены в великий поток человеческой жизни и понеслись вместе с ним, как бы под действием самой судьбы.

Все еще не освободившись от мысли, что ни одно из обстоятельств, последовавших после посещения судьи Пинчона, не могло быть действительным, затворница Дома о Семи Шпилях шептала на ухо своему брату:

— Клиффорд! Клиффорд! Неужели это не сон?

— Сон, Гефсиба? — повторил он, почти захохотав. — Напротив, я никогда еще не пробуждался до сих пор!

Между тем они видели из окна вагона, как мир пробегал мимо них. Иногда они мчались по пустыне, потом вокруг них вырастал город,

еще минута, и он исчезал, как будто поглощенный землетрясением. Встречные дома, казалось, срывались со своих оснований; широкие холмы скользили мимо. Все оставляло свою вековую неподвижность и мчалось вихрем в противоположную их полету сторону.

Внутри вагона была обычная внутренняя жизнь железной дороги, представлявшая мало пищи для наблюдения других путешественников, но исполненная новизны для этих двух странным образом освобожденных пленников. Довольно уже одного того, что здесь было пятьдесят человеческих существ в близком общении с ними, под одной длинной и узкой кровлей, и увлекаемых той же могущественной силой, которая захватила и их в своем стремлении. Странно казалось им, как все эти люди могут оставаться так спокойно на своих местах, между тем как такая шумная сила работала для них. Некоторые, с ярлычками на шляпах (это были путники, которым предстояла сотня миль железной дороги), погрузились в английские виды и приключения, напечатанные в памфлетах; другие, которым краткий переезд не позволял заняться долгим чтением, заполняли свое время чтением газетных листков по одному пенни. Несколько девушек и один молодой че-

ловек в противоположном конце вагона нашли свое помещение довольно просторным для игры в мяч. Они бросали его туда и сюда с такими длинными трелями хохота, что эти трели можно было измерять милями, потому что быстрее полета мяча веселые игроки бессознательно неслись вперед, оставляя за собой трели своего смеха и заканчивая игру уже не под тем небом, под которым она была начата. Мальчики с яблоками, пирожками и конфетами, напоминавшими Гефсибе о брошенной ею лавочке, являлись перед вагонами при всякой минутной остановке поезда, торопливо продавали свои товары пассажирам или вдруг прекращали торговлю, чтобы рывок поезда не унес и их вместе с собою. Новые путешественники беспрестанно прибывали. Старые знакомые (в этом быстром потоке дел знакомства скоро делаются старыми) постоянно убавлялись. Там и сям посреди суеты и говора кто-нибудь засыпал. Сонь, игра, дела, важное или легкое чтение и общее неизбежное стремление вперед — что же это такое, если не сама жизнь?

Натура Клиффорда, нежная от природы, была вполне возбуждена. Он схватывал колорит всего, что происходило вокруг него, и возвращал его более оживленным, чем сам получил. Напро-

тив, Гефсиба чувствовала себя здесь в большем отдалении от человеческого рода, чем в своем заточении, которое только что оставила.

— Ты не чувствуешь себя счастливою, Гефсиба? — сказал ей потихоньку Клиффорд тоном упрека. — Ты все думаешь об этом грустном доме и о кузене Джеффри, — он содрогнулся при этом имени, — который сидит там один? Послушайся меня: следуй моему примеру и позабудь обо всем этом. Мы теперь, Гефсиба, посреди жизни! В толпе подобных нам существ! Будем же оба счастливы! Так счастливы, как вон тот молодой человек и его подруга со своей игрой в мяч!

«Счастливы, — думала Гефсиба, с горечью почуяв при этом слове в своей груди сердце, обремененное тяжким холодным горем. — Счастливы! Да он помешан, и если б я совсем проснулась, то и я бы помешалась тоже».

Если одна неподвижная идея есть сумасшествие, то Гефсиба была бы недалеко от него. Умственные представления ее в продолжение полета по железной дороге были те же самые, как если бы она во все это время ездила с братом взад и вперед по Пинчоновой улице. Перед ними мелькали мили за милями разнообразных картин, но для нее не было другой картины, кроме

семи старых шпилей с их мшистой крышей, с дикими порослями в одном из углов, с окном лавочки, с покупателями, отворяющими дверь и толкающими колокольчик, который при всей резкости своего звяканья не пробуждает судью Пинчона. Этот старый, мрачный дом носился перед нею всюду с быстротой, превосходившею полет вагонов, и флегматически спускался на всяком месте, куда только она ни взглянет. Ум Гефсибы был слишком негибкого, нетягучего свойства, он не мог принимать новых впечатлений так скоро, как ум Клиффорда. Клиффорд был одарен, так сказать, крылатой натурой; она, напротив, принадлежала к натурам прозябающим и едва ли могла прожить долго, будучи вырвана с корнем из своей всегдашней почвы. От этого и произошло, что отношения, существовавшие до сих пор между братом и сестрой, изменились. Дома она была его хранительницей и руководительницей; здесь Клиффорд заступил ее место в отношении к ней и, по-видимому, понимал все, что относилось к их новому положению, с особенной быстротой ума. Он вдруг перешел из своего детского состояния в мужественность и умственную силу или, по крайней мере, в такое состояние, которое их напоминало, хотя оно, во

всяком случае, было болезненно и преходяще.

Кондуктор спросил у них ярлычки, и Клиффорд, взявший на себя распоряжение кошельком, подал ему банковский билетик, заметив, что это делали другие.

— За вашу даму и за вас? — спросил кондуктор. — А как далеко?

— Так далеко, как только эта штука повезет нас, — отвечал Клиффорд. — Об этом нечего заботиться. Мы едем просто для удовольствия.

— Вы выбрали странную погоду для этого, сэр! — заметил один пожилой господин с острыми глазами на другой стороне вагона, глядя на Клиффорда и его спутницу с особенным любопытством. — По-моему, лучшее препровождение времени в такой дождь можно найти у себя дома перед огнем камина.

— Я не могу вполне с вами согласиться, — сказал Клиффорд, учтиво поклонившись пожилому джентльмену и схватившись за нить разговора, которую тот ему подал. — Мне кажется, напротив, что это удивительное изобретение — железная дорога с обширными и неизбежными усовершенствованиями своими относительно быстроты и удобства езды. Мне кажется, что оно предназначено вывезти вон старинные обветшалые

идеи домашнего очага и заменить их чем-нибудь лучшим.

— Во имя здравого смысла, — сказал брюзгливо старый джентльмен, — что может быть для человека лучше его комнаты и камина?

— Эти вещи вовсе не имеют того достоинства, какое им приписывают, — отвечал Клиффорд. — Мне кажется, что наши удивительно увеличившиеся и все еще увеличивающиеся удобства переезда с места на место стремятся к тому, чтобы опять привести нас к кочевой жизни. Вы знаете, сэр — вы не могли не увидеть этого из собственного опыта, — что всякий человеческий прогресс заключен в одном кругу, или, употребляя более точное и красивое выражение, восходит спиралью вверх. В то время как мы воображаем, что стремимся прямо вперед и на каждом шагу достигаем нового положения дел, мы в сущности возвращаемся только к тому, что давно было опробовано и оставлено, но что мы теперь находим более одухотворенным и возведенным к своему идеалу. Прошедшее есть только намек на будущее. Приложим теперь эту истину к предмету, о котором мы рассуждаем. В ранние эпохи люди жили во временных хижинах или шатрах из древесных ветвей, которые строились так же

легко, как и птичьи гнезда, посреди красивых и изобильных плодами и животными мест. Жизнь эта имела прелесть, которая исчезла совершенно с того времени, как человек начал жить иначе. Наступило время тяжкое и скудное, человек томился в своих переходах через пустыни, в добывании средств к жизни и в разнообразных лишениях. Но, восходя нашею спиралью кверху, мы избегаем всего этого. Наши железные дороги — если б только свист их сделать музыкальным и уничтожить этот стук и дребезжанье, — наши железные дороги положительно составляют величайшее благо, какое только выработано для нас веками. Они придали нам крылья, они уничтожают пот и пыль странствования, они одухотворяют путешествие. Если же переход с места на место так удобен, то что заставит человека медлить на месте? Зачем ему теперь строить такие жилища, которые нельзя взять с собою? Зачем ему запирать себя на всю жизнь в кирпичных или в старых, источенных червями бревенчатых стенах, если он может удобно жить везде, где красота и польза составляют для него дом?

Лицо Клиффорда горело, когда он развивал эту теорию; юношеский характер пробивался из глубины души его наружу и превращал морщи-

нистую и бледную оболочку старости почти в прозрачную маску. Веселые девушки оставили свой мяч на полу и смотрели на него с удивлением. Может быть, они считали в душе, что, когда еще не поседели волосы этого полуразрушенного жизнью человека и по его лицу не пролегли морщины, он оставил отпечаток своей наружности в сердце не одной женщины. Но, увы, женские глаза не видели его лица, когда оно было прекрасным.

— Я не могу назвать это усовершенствованным порядком вещей, — сказал новый знакомец Клиффорда, — чтобы иметь возможность жить везде и нигде.

— Неужели? — воскликнул Клиффорд с необыкновенной энергией. — Мне кажется столь же ясным, как и солнечный свет, что эти связанные известью кучи кирпича и камня или сплоченные массы тяжелых бревен, которые люди называют своими домами и родными уголками, суть камни преткновения на пути человеческого счастья и совершенствования. Для души нужен открытый воздух, нужны широкий ток его и частая перемена. Болезненные влияния в бесконечном разнообразии стремятся подавить человеческие сердца и омрачить нашу домашнюю жизнь. Нет

воздуха более нездорового, как в ином старом доме, где он отравлен одним каким-нибудь покойным предком или родственником. Я говорю это по опыту. В моих семейных воспоминаниях есть дом — один из этих домов с заостренной кверху крышей (на которой — семь острых шпилей), с этим выдающихся вперед верхним этажом, какие вам, конечно, случалось видеть в старинных наших городах, — закоптелый, осевший, обветшалый, настоящая старая тюрьма, с одним полуциркульным окном над входом, с небольшой дверью лавочки сбоку и с развесистым меланхолическим вязом перед ним. Всякий раз, сэр, когда мои мысли обращаются к этому семишпильному дому, мне представляется образ пожилого человека замечательно суровой наружности, сидящего в дубовом кресле. Мертвого, каменно-мертвого, с отвратительной струей крови на белом воротнике и на манишке. Мертвого, но с открытыми глазами. Он заражает целый дом в моем воспоминании! Я никогда не мог бы благоденствовать в нем, а также быть счастливым или наслаждаться тем, что Господь послал мне!

Лицо его омрачилось, как будто холодная старость в короткое время прошла по его чертам и оставила на них свои опустошительные следы.

— Никогда, сэр, — повторил он, — никогда бы я не мог дышать в нем полным дыханием!

— Я не могу понять, — сказал пожилой джентльмен, всматриваясь в него пристально и с некоторым испугом, — я не могу постигнуть, как сформировалась в вашей голове такая мысль!

— Конечно же не можете, — отвечал Клиффорд. — Для меня было бы величайшим облегчением, если б этот дом был разрушен до основания или сожжен и чтобы место, на котором он стоял, заросло самой густой травой. Я бы желал никогда его не видеть более, потому что, чем больше я от него отдаляюсь, тем больше чувствую в себе радости, молодой свежести, биения сердца, движения ума — словом, тем более молодость, моя молодость, возвращается ко мне. Не дальше как сегодня утром я был старик. Я припоминаю, как я смотрел в зеркало и дивился своим седым волосам, и глубоким морщинам на лбу, и бороздам вдоль моих щек. Все это пришло слишком рано, я не могу выносить этого! Старость не имела права подойти ко мне! Я еще не жил! Но теперь кажусь ли я стариком? Если кажусь, то вид мой очень обманчив, потому что с того же времени, как мой ум освободился от ужасной тяжести, я чувствую себя в счастливой поре моей молодости — свет и

мои лучшие годы еще впереди у меня!

— Я верю, что вы это можете чувствовать, — сказал пожилой джентльмен в каком-то затруднении, желая уклониться от общего внимания, которое было привлечено к ним обоим восторженной речью Клиффорда. — Я желаю вам этого от всего сердца.

— Ради бога, милый Клиффорд, замолчи! — шептала его сестра. — Они считают тебя безумным.

— Замолчи сама, Гефсиба! — отвечал ее брат. — Что мне за дело, что они думают? Я не безумен. Первый раз за тридцать лет мой ум пробился сквозь свою кору и нашел для себя выражение. Я должен и хочу говорить!

Он обратился опять к пожилому джентльмену и возобновил разговор.

— Да, милостивый государь, — сказал он, — часто человек строит большой мрачный дом для того только, чтоб умереть в нем и чтобы потомство его бедствовало в этом доме. Он кладет свой труп под его срубом, вешает свой портрет на стене и, обратив себя таким образом в злую судьбу для жильцов на будущее время, надеется, что отдаленнейшее его потомство будет в нем благоденствовать! Я не брежу, нет! Такой дом стоит до сих пор перед моими глазами!

— Но вы, сэр, — сказал пожилой джентльмен, желая как-нибудь прервать разговор, — не виноваты, что жили в нем. Вы очень странный человек, сэр! — прибавил он, выпучив на него глаза, как будто хотел пробуравить ими Клиффорда насквозь. — Я вас не понимаю!

— Это удивляет меня! — вскричал, смеясь, Клиффорд. — А между тем я так прозрачен, как вода в колодце Моулов. Но послушай, Гефсиба, мы залетели довольно далеко в один прием. Надобно нам отдохнуть, как делают птицы, опустимся на ближайшую ветку и посоветуемся, куда нам лететь далее.

Случилось, что в это самое время поезд остановился перед уединенной станцией. Воспользовавшись короткой паузой, Клиффорд оставил вагон и увел с собой Гефсибу. Через минуту потом поезд — со всею своею внутреннею жизнью, в которой Клиффорд составлял самый отличительный предмет, — полетел снова, достигая новых и новых пунктов и через минуту оставляя их. Мир улетел от наших странников. Они с ужасом провожали его глазами. Недалеко от станции стояла деревянная церковь, почерневшая от времени, в печальном состоянии разрушения, с разбитыми окнами, с большой расселиной в главном корпусе

строения и с бревном, высунувшимся из четырехугольной кровли. Далее был сельский домик в старинном вкусе, столь же почтенного вида, как и церковь, с трехъярусной кровлей, спускавшейся круто к земле до высоты человеческого роста. Он, по-видимому, был необитаем. Правда, у входа лежали обрубки дерева, но между ними выросла уже трава. Мелкие капли дождя начали сеять наискось с неба; ветер не был силен, но резок и полон холодной влаги.

Клиффорд дрожал весь с головы до ног. Дикое воспламенение его духа, так легко порождавшее мысли, фантазии и странный дар слова и заставлявшее его говорить из простой необходимости излить кипящий поток идей, совершенно миновало. Сильное возбуждение чувств произвело в нем энергию и живость; но когда их деятельность прекратилась, он начал приходить в прежнее свое состояние.

— Теперь ты бери на себя все заботы, Гефсиба! — проговорил он неясным и лишенным музыкальности выговором. — Распоряжайся мною, как хочешь.

Гефсиба преклонила колени на церковной площадке, которой они теперь достигли, и подняла сложенные ладонями руки к небу. Серая, тяжелая

масса облаков закрывала его, но этот час не мог быть часом неверия: она видела за этими облаками небеса и Всемогущего Отца, взирающего с них на землю.

— О Боже! — сказала бледная, высохшая Гефсиба, а потом помолчала с минуту, чтобы подумать, о чем ей надо молиться. — О Боже, Отец наш! Разве мы не твои дети? Сжалься над нами!

Глава XVIII
Возвращение к Пинчону

Между тем как родственники судьи Пинчона бежали с такой поспешностью, он продолжал сидеть в старой приемной комнате Гефсибы. Наша история, заблудившаяся, как сова в дневном свете, должна теперь возвратиться в мрачное свое дупло, в Дом о Семи Шпилях, и заняться судьей Пинчоном.

Он не переменил своего положения. Он не шевельнул ни рукой, ни ногой и не отвел своих глаз от окна с того времени, как Гефсиба и Клиффорд, проскрипев в последний раз вдоль ветхих половиц коридора, вышли на улицу и старательно заперли за собой наружную дверь. Он держит в левой руке часы, но так захватил их пальцами,

что циферблат не виден. Вы слышите тиканье его часов, но дыхания судьи Пинчона не слышите вовсе.

Странно, однако, что джентльмен, так озабоченный делами и известный своею точностью, медлил таким образом в старом пустом доме, который он, по-видимому, никогда не любил посещать. В этот день он должен был сделать много дел. Во-первых, повидаться с Клиффордом. По расчету судьи, на это нужно было полчаса; но, принимая в соображение, что он сперва должен был переговорить с Гефсибой, которая, как женщина, не могла не разводить множеством слов каждой малейшей мысли, вернее было положить на это час. Полчаса? А между тем он сидит уже два часа по собственному его хронометру. Время как будто вдруг остановило для него свой ход.

Неужели он позабыл все свои распределения на этот день? Кончив дело с Клиффордом, он был намерен повидаться с маклером, который обещал предоставить ему возможность отдать в рост небольшое, не пристроенное еще количество тысяч фунтов за хорошие проценты, потом через полчаса поспеть на аукцион, где должна была продаваться часть земли, прилегавшей некогда к Дому о Семи Шпилях и составлявшей часть

собственности старого колдуна Моула. Далее он должен был купить коня, которым он хотел сам править в кабриолете, и если бы успел в этом, то посетил бы еще одно общество, название которого, однако, он позабыл при множестве своих забот. Оттуда он хотел посетить намогильный памятник мистрис Пинчон, так как узнал от каменщика, что лицевая мраморная сторона его обрушилась и самый камень готов был распасться надвое. Она была достойная женщина, думал судья, несмотря на свою нервозность, и он не поскупится, чтобы заказать для нее и в другой раз памятник. Следующее за тем дело было — выписать для своего сада лучшие и редкие фруктовые деревья. Потом следовал обед с друзьями по партии, на котором должен был решиться один весьма важный вопрос, а потом еще судья намерен был позвать к себе по какому-то делу вдову одного друга своих молодых лет, терпевшую крайнюю бедность. Впрочем, он мог это сделать или не сделать, смотря по тому, останется ли у него несколько свободных минут времени или нет.

Остается уже только десять минут до обеда. А этот обед был очень важен. Недаром съехались на него самые сильные политики со всего штата.

Они собрались в доме одного из друзей, тоже великого политика, для решения важного вопроса, кого назначить кандидатом в губернаторы на предстоящих выборах.

Но уже поздно. Гости уже намерены назначить, мимо судьи, другого кандидата. Но если бы наш приятель явился теперь между ними со своими широко открытыми глазами, диким и вместе неподвижным, страшный вид его в одно мгновение прогнал бы их веселость. Странно было бы также явиться к обеду Пинчону, всегда столь внимательному к опрятности своего костюма, с этим красным пятном на манишке.

Откуда взялось оно? Как бы мы ни отвечали на этот вопрос, во всяком случае оно придавало судье неприятный вид.

День потерян для Пинчона! Вероятно, он встанет завтра рано? Завтра! Завтра! Но наступит ли для него это *завтра?*

Между тем полусвет темнеет в углах комнаты, формы массивной мебели становятся тяжелее и сперва обозначаются оттого только заметнее в общем своем контуре, потом как будто расширяются и теряют ясность своих очертаний в сером тоне сумерек, который мало-помалу облекает разные предметы и сидящую между ними человеческую

фигуру. Темнота эта происходит не извне; она таилась здесь целый день и теперь, дождавшись своего неизбежного времени, распространилась по всему дому. Правда, лицо судьи, суровое и странно бледное, не хочет исчезнуть в этом разложении на части всего видимого. Уже совсем стемнело, а оно еще немного заметно со стороны окна. Черты его совсем стерлись, осталась одна бледность. Наконец уже не видно никакого окна, никакого лица. Непроглядная, беспредельная темнота все уничтожила. Куда же делся наш мир? Он разрушился, он исчез у нас из виду, и мы посреди хаоса слышим только свист и завыванье бесприютного ветра там, где прежде был он.

Неужели не слышно больше никаких звуков? Слышны ужасные, а именно: тиканье часов, которые судья держит в руке с того времени, как Гефсиба ушла позвать Клиффорда. Эти маленькие, спокойные, никогда не останавливающиеся удары пульса времени, повторяющиеся с такой деятельной регулярностью в оцепенелой руке судьи Пинчона, производили такой ужас, какого не внушало ничто другое в этом случае.

Как завывает ветер! В эту ночь он в особенности разгулялся по дому и сделал его настоящим инструментом для своей дикой музыки. Вообще

эти старые деревянные дома составляют удивительно чувствительные инструменты под воздушными руками этого природного артиста. Каждая щель на чердаке, каждая рама, каждая неплотно притворенная дверь имеет свою особенную ноту, не говоря уже о тех глухих нотах, которые издают покореженные ребра старого строения, когда ветер ударит всею своею массой в его обветшалые бока. Но посмотрите, как странно озарилась исчезнувшая было комната со своим жильцом лучами месяца, который вышел на очищенную от туч полосу неба. Эти лучи освещают бледные, неподвижные черты его лица и сверкают на часах. Циферблат не виден под рукой держащего их, но городские часы пробили уже полночь.

Для человека с таким крепким умом, как у судьи, полночь точно такое же время, как и соответствующие ему двенадцать часов полудня. Поэтому волосы его останутся неподвижными, хотя бы и пришли ему в голову истории, рассказывавшиеся об этой самой комнате в те времена, когда вокруг каминов делались скамейки, сидя на которых старики рылись в погасшем пепле прошедшего и выгребали из него предания, как яркие угли. Правда, истории эти так нелепы, что

не ужаснули бы и ребенка. Какой, например, смысл, какая идея заключается в странной сказке, что будто бы в полночь все Пинчоны собирались в этой комнате? И для чего же? Для того, чтобы посмотреть, на своем ли месте висит портрет их предка на стене согласно его завещанию! Стоит ли для этого покойникам вставать из своих могил?

Нам хочется немножко поразмышлять над этой идеей. Истории о привидениях едва ли могут рассказываться теперь серьезно. Семейное собрание покойных Пинчонов, по нашему мнению, должно было собираться в таком порядке.

Сперва являлся сам предок, в своем черном плаще, в шапке, напоминающей башню, опоясанный по камзолу кожаным поясом, на котором висит шпага со стальной рукояткой; в руке у него длинный посох, какие пожилые джентльмены старого времени носили — как в знак своего достоинства, так и для поддержания своей особы. Он смотрит на портрет. Портрет остался неприкосновенным. Он висит на том же месте, где был повешен при жизни полковника. Посмотрите: угрюмый старик протянул свою руку и пробует раму. Она неподвижна. Но это не смех на его лице. Это скорее выражение сильного неудовольствия.

Старый полковник недоволен неподвижностью рамы. Это заметно очень ясно при свете месяца, который, озаряя его мрачные черты, освещает вместе и часть стены, на которой висит портрет. Что-то очень сильно огорчило предка Пинчонов; он отошел в сторону с сердитым покачиваньем головой.

Вслед за ним явились другие Пинчоны, в каких-нибудь шести или семи поколениях, толкая один другого, чтобы пробраться к портрету. Мы видим стариков и старушек, видим духовную особу с пуританской сдержанностью в одежде и выражении лица и краснокафтанного офицера старой французской армии. Вот явился и Пинчон, торговавший в лавочке сто лет тому назад, с кружевами, отвернутыми на рукава; а вот, в парике и в парчовом кафтане, джентльмен из легенды дагеротиписта с прелестной и задумчивой Алисою, которая встала из своего гроба, не сохранив никаких следов случившегося с ней. Все они пробуют раму портрета. Чего ищут все эти привидения? Мать поднимает к портрету своего ребенка, чтоб и он попробовал раму своими крошечными ручонками. Очевидно, в этом портрете заключается какая-нибудь тайна, которая нарушает могильное спокойствие Пинчонов.

Между тем в одном углу стоит фигура пожилого человека в кожаной куртке и таких же штанах, с плотничьим аршином, торчащим из кармана. Он указывает пальцем на бородатого полковника и его потомство, кивая и делая страшные гримасы.

Дав свободу своей фантазии, мы уже не в состоянии ни удержать ее, ни ограничить. Мы замечаем в толпе привидений одну фигуру, до сих пор невиданную. Это молодой человек, одетый согласно с современной нам модой в черный фрак-сюртук почти совсем без пол и в серые узкие панталоны, на груди его — искусно сделанная цепочка, а в руке — тоненькая палочка из китового уса, с серебряным набалдашником. Если б мы встретили эту фигуру при дневном свете, то узнали бы в ней молодого Джеффри Пинчона, единственного сына судьи, который последние два года находился в чужих краях. Если он еще жив, то каким образом могла явиться здесь его тень? Если же он умер, то какое это несчастье! Кому достанется теперь старинная собственность Пинчонов вместе с огромным состоянием, приобретенным отцом молодого человека? Бедному, помешанному Клиффорду, сухощавой Гефсибе и маленькой деревенской Фиби!

Но нас ожидает еще другое явление. Верить ли

нам своим глазам? На сцене появился толстый пожилой джентльмен. Он имеет вид сановитого человека, носит черный фрак и черные панталоны широкого покроя и отличается необыкновенной чистотой в своей одежде, но при этом на его белоснежном воротнике и на груди рубашки видны большие кровавые пятна. Судья ли это или нет? Каким образом может быть это судья Пинчон? Мы различаем его фигуру, все еще сидящую в дубовом кресле, так ясно, как только позволяет нам мерцающий сквозь движущиеся ветви свет месяца. Но чье бы ни было это привидение, но оно приближается к портрету, берется за раму, старается заглянуть за нее и возвращается назад с такими же мрачно нахмуренными бровями, как и предок Пинчонов.

Фантастическая сцена, нарисованная нами, никаким образом не должна считаться действительной частью нашего рассказа. Нас ввел в эту игру воображения лунный свет, танцующий вместе с тенью и отражающийся в зеркале, которое, как вы знаете, всегда представляет род окна или двери в мире грез. Мы, однако, должны возвратиться от своих мечтательных созерцаний к фигуре, сидящей в кресле. Дикие порывы ветра привели наши чувства в странное смущение, но

не могли отвлечь их от центра происходящего, к которому они определенно стремятся. Судья сидит неподвижно. Неужели он никогда уже не пошевелится? Но если б он пошевелился, мы бы сошли с ума. Его неподвижность еще больше заметна благодаря бесстрашию маленькой мыши, которая сидит на задних лапках в лунном свете возле самой ноги судьи Пинчона и, кажется, размышляет о путешествии по его коленам. А! Что же испугало проворную маленькую мышку? Это лицо старой кошки, которая смотрит в окно по ту его сторону. Эта кошка имеет очень неприятную физиономию. Кошка ли еще это, подстерегающая мышь? Если б нам сбросить ее с окошка!

Благодаря Богу ночь очень скоро уже пройдет! Лунные лучи не имеют уже такого серебристого блеска и не отделяются уже так резко от черноты тени, которую они освещали. Теперь они сделались бледнее, а тень перешла из черного цвета в серый. Порывистый ветер успокоился. Который час? А! Часы наконец остановились, потому что судья забыл завести их, по обыкновению, в десять часов вечера, это пора, когда оставалось около получаса до его ежедневного отхода ко сну. Это случалось один раз в пять лет. Но огромные часы — мир! — продолжают свой ход. Страшная ночь

уступает место свежему, прозрачному, безоблачному утру. Благословенное сияние!

Утренние лучи солнца пробиваются сквозь ветви деревьев и, несмотря на свою красоту, не замедлят засиять на вашем лице. Вот муха — одна из обыкновенных домашних мух, которые вечно жужжат на окнах, — летит и садится на лоб Пинчона, потом перелетает на подбородок, потом ползет по носу к широко открытым глазам. Неужели он не может прогнать муху? Неужели человек, у которого вчера было столько намерений, теперь так слаб, что не может прогнать муху?

Но чу! Раздался звонок в мелочную лавочку. После тяжелых часов, через которые мы провели свой рассказ, приятно удостовериться в том, что еще есть на свете живые люди и что даже этот старый, пустой дом находится в некотором с ними сообщении. Мы сразу начинаем дышать свободнее, выйдя из комнаты судьи на улицу, которая пролегает перед Домом о Семи Шпилях.

Глава XIX

Смерть и жизнь

После пяти дней ненастной погоды наступил такой день, который обещал вознаградить горожан за все, что они претерпели за это время. Дядя Веннер встал раньше всех из соседей и покатил по Пинчоновой улице свою тачку, собирая разные остатки съестного у хозяек и кухарок для корма своей свинке, которая благоденствовала как нельзя более по милости этой добровольной контрибуции. Хозяйство мисс Гефсибы значительно улучшилось со времени поселения в доме Клиффорда, и дядя Веннер был очень удивлен, не найдя, против своего ожидания, глиняного горшка с разными остатками съестного, который обыкновенно ставился для него у задней двери Дома о Семи Шпилях.

Когда он, возвращаясь в недоумении, что бы это значило, затворял за собой калитку, скрип ее коснулся слуха обитателя северного шпиля.

— Доброго утра, дядя Веннер! — сказал дагеротипист, выглянув из окна. — А что, еще никто не встал?

— Не видно ни души, — отвечал Веннер. — Но это неудивительно. Еще только не более получаса прошло после восхода солнца. Но я очень рад,

что увидел вас, мистер Хоулгрейв! На той стороне дома странная какая-то пустота, как будто там нет больше ни одного живого человека. Передняя часть дома выглядит гораздо веселее, и Алисины цветы прекрасно распустились после дождя. Если б я был моложе, мистер Хоулгрейв, то моя возлюбленная приколола бы к своей груди один из этих цветков, хоть бы я рисковал сломать себе шею. А не разбудил ли вас сегодня ночью ветер?

— Разбудил, дядя Веннер, — отвечал, смеясь, дагеротипист. — Если б я верил в привидения — я, впрочем, сам не знаю, верю ли я в них или нет, — то я бы заключил, что все прежние Пинчоны закатили пир в нижних комнатах, особенно на половине мисс Гефсибы. Но теперь там опять все тихо.

— Так немудрено мисс Гефсибе проспать после такой тревожной ночи, — сказал дядя Веннер. — А то, пожалуй, может быть, судья забрал сестру и брата с собой в деревню. Я видел, как он входил вчера в лавочку.

— В котором часу? — спросил Хоулгрейв.

— Около полудня, — сказал старик. — Да-да, это быть может. Оттого и моя тачка осталась без груза. Но я зайду опять в обеденную пору, потому что моя свинка так же любит обед, как

и завтрак. Ни одна трапеза и никакое кушанье не бывает лишним для моей свинки. Желаю вам приятного утра. Да, мистер Хоулгрейв, если б я был молодой человек, как вы, то я бы сорвал один из Алисиных цветков и держал в стакане, пока воротится Фиби.

— Я слышал, — сказал дагеротипист, скрываясь в окне, — что вода Моулова источника лучше всего подходит для этих цветов.

Разговор на этом прервался, и дядя Веннер отправился своим путем. С получаса ничто более не нарушало тишины семи шпилей; ни один посетитель не заглядывал в дом, кроме мальчика — разносчика газет, который, проходя мимо, бросил в лавочку листок, потому что Гефсиба в последнее время регулярно покупала газету. Спустя некоторое время явилась к лавочке толстая женщина, причем с чрезвычайной торопливостью, так что даже споткнулась на ступеньке перед дверью. Лицо ее так разгорелось, как будто жар от очага, солнечный зной и внутренняя теплота ее объемистого тела соединились, чтоб воспламенить его неугасимым огнем. Она толкнула дверь, но дверь была заперта, и она повторила толчок с такой силой, что колокольчик неистово зазвенел по ту сторону двери.

— Леший бы побрал эту старую девку Пинчон! — бормотала сердитая красавица. — Открыла лавочку и заставляет дожидаться себя до полудня! Я думаю, это у нее значит вести себя по-джентльменски! Но я или разбужу ее милость, или разломаю дверь!

В самом деле, она толкнула еще раз, и колокольчик, тоже склонный к вспыльчивости, отвечал ей так резко, что звук его долетел до слуха одной доброй леди на противоположной стороне улицы. Отворив свое окно, эта добрая леди сказала нетерпеливой покупательнице:

— Вы не найдете здесь никого, мистрис Гэббинс.

— Но я хочу найти кого-нибудь! — вскричала мистрис Гэббинс, нанеся колокольчику новую обиду. — Мне нужно полфунта свиного сала, чтобы пожарить отличную камбалу на завтрак мистеру Гэббинсу, и пускай себе мисс Пинчон будет хоть разледи, но она должна отворить дверь и дать то, что мне нужно!

— Но выслушайте меня, мистрис Гэббинс! — отвечала ее собеседница. — Она со своим братом отправилась к своему кузену, судье Пинчону, в его деревню. В доме теперь нет ни души, кроме этого молодого человека, дагеротиписта, который

ночует в северном шпиле. Я видела сама, как старая Гефсиба и Клиффорд выходили из дому вчера. Порядочные они были вороны, нечего сказать, на мокрых тротуарах, между подставленными под желоба кадушками! Уверяю вас, их нет дома.

— А откуда вы знаете, что они отправились к судье? — спросила мистрис Гэббинс. — Он ведь богач, и у него с мисс Гефсибой была ссора недавно из-за того, что он не давал ей средства на жизнь. Это-то и заставило ее открыть лавочку.

— Это я хорошо знаю, — отвечала соседка. — Но они уехали, это точно. И кто бы, скажите, кроме родственника, принял к себе в такую погоду эту сердитую старую деву и этого ужасного Клиффорда? Это уж так, будьте уверены.

Мистрис Гэббинс пошла в другую лавочку, не перестав, однако, сердиться на отсутствие Гефсибы. Около получаса, а может быть, и дольше снаружи дома стояла такая же тишина, как и внутри. Впрочем, вяз тихо качал своими роскошными ветвями под порывами ветра, который нигде в другом месте не был заметен. Рои насекомых весело стрекотали под его густой тенью и искрились на солнце, случайно вырываясь из нее. Стрекоза отозвалась раза два где-то в глубине навеса, и одинокая маленькая птичка

с бледно-золотистыми перьями опустилась на цветы Алисы.

Наконец наш маленький знакомец Нед Гиггинс появился на улице, направляясь в школу, и так как в эти две недели случилось ему в первый раз быть обладателем нескольких пенни, он никаким образом не мог не зайти в лавочку Дома о Семи Шпилях. Но лавочка была заперта. Долго он стучался в дверь с настойчивостью ребенка, движимого своею важной целью, но напрасно. Он, без сомнения, лелеял в душе мысль о слоне или, может быть, намерен был съесть крокодила. В ответ на его усилия колокольчик изредка откликался умеренным звоном, но далеко не доходил до того раздраженного состояния, в которое привела его толстая мистрис Гэббинс. Держась за ручку двери, мальчуган заглянул в окно лавочки и увидел сквозь прореху в занавеске, что внутренняя дверь, ведущая в коридор, была затворена.

— Мисс Пинчон! — закричал мальчишка в окно. — Мне нужно слона!

Так как на многократно повторенный зов не было никакого ответа, Нед начал терять терпение; небольшому его сердцу закипеть было недолго, и он, схватив камень, готов уже был запустить им в окно, и пустил бы непременно,

если б один из прохожих не схватил его за руку.

— Что ты здесь буянишь, сударь? — спросил он.

— Мне нужно старую Гефсибу, или Фиби, или кого-нибудь из них! — отвечал Нед, всхлипывая. — Они не хотят отворить двери, и я не могу купить слона.

— Ступай к школе, мелюзга! — сказал ему прохожий. — Тут за углом есть другая мелочная лавочка. Странно, право, Дикси, — обратился он к своему спутнику, — что случилось со всеми этими Пинчонами? Смит, содержатель конюшни для приезжих, говорил мне, что судья Пинчон вчера оставил у него свою лошадь, которую должен был забрать после обеда, но до сих пор не появлялся. А один из слуг судьи приезжал сегодня в город разузнавать, где он. Судья, говорят, один из тех людей, которые не любят менять своих привычек или ночевать где-нибудь в другом доме.

— Не бойся, вернется подобру-поздорову! — сказал Дикси. — А что до мисс Пинчон, то верь моему слову, она увязла по уши в долгах и скрывается от кредиторов. Помнишь, я предсказывал в первое утро, когда открыта была лавочка, что ее нахмуренные брови отвадят от нее покупателей? Так и случилось.

— Я никогда и не думал, чтобы она была при барышах, — заметил приятель Дикси. — Эта, брат, мелочная торговля — не по женскому толку. Моя жена пробовала торговать в мелочной лавочке, да пять долларов и отхватила себе на шею.

— Дрянная торговля! — сказал Дикси, покачав головой. — Дрянная!

В течение утра было предпринято еще несколько попыток пообщаться с жильцами этого молчаливого и недоступного дома. Зеленщик, булочник, мясник один за другим являлись, пробовали отворить дверь и удалялись без успеха, рассердившись — каждый по-своему — на Гефсибу. Если бы какой-нибудь наблюдатель всех этих сцен знал об ужасной тайне, скрытой внутри дома, то он был бы поражен особенной модификацией ужаса, видя, как поток человеческой жизни стремится проникнуть в это жилище смерти, как он кружится, сверкает и играет как раз над глубиной, в которой находится мертвое тело, невидимое для всех.

Скоро после ухода мясника, который имел особенную причину сердиться на мисс Гефсибу, так как она заказала ему к утру кусок телятины, а сама уехала из дому, за углом улицы послышалась музыка. Мало-помалу она приближалась к Дому о

Семи Шпилях, изредка замолкая. Наконец толпа детей показалась из-за угла, то двигаясь вперед, то останавливаясь сообразно с музыкою, которая слышна была в ее центре. Дети были свободно связаны между собой легкими узами гармонии и увлекаемы ею, как пленники. Когда они пришли под тень Пинчонова вяза, оказалось, что это был мальчик-итальянец со своей обезьяной и кукольной комедией, которую он играл когда-то под полуциркульным окном. Прелестное лицо Фиби, а может быть, также и щедрая награда, брошенная ею, остались в памяти странствующего фигляра. Выразительные черты мальчика-итальянца заиграли радостью, когда он узнал место, где произошло это небольшое приключение в его бродячей жизни. Он вошел на заброшенный двор, поместился на крыльце главного входа дома и, открыв свой ящик, начал представление. Каждый член его автоматического общества пришел в движение, сообразно своему призванию. Обезьяна, сняв свою шотландскую шапку, кланялась и шаркала очень подобострастно, сторожа глазами, не бросят ли из окна медную монету; сам молодой иностранец, поворачивая ручку своего инструмента, тоже посматривал на полуциркульное окно, ожидая появления

особы, которая сделает его музыку еще живее и приятнее. Толпа детей обступила его кругом, некоторые на тротуаре, другие во дворе; двое или трое ребятишек поместились на самом крыльце, а один мальчик присел на пороге. Между тем стрекоза заводила свою бесконечную песню в ветвях старого Пинчонова вяза.

— Я не слышу в доме никакого шума, — сказал один мальчик другому. — Обезьяне ничего здесь не достанется.

— Нет, кто-то есть в доме, — отвечал его друг, сидевший на пороге, — я слышу, как кто-то ходит.

Молодой итальянец между тем продолжал посматривать наискось вверх, и казалось, что его душевное волнение, впрочем, легкое и почти игривое, сообщило некоторую прелесть сухому, механическому процессу его музыки. Этот странствующий народ очень чувствителен ко всякой настоящей доброте, хоть бы то была только улыбка или незначительное, но теплое слово, которое случится им поймать на дороге жизни. Они помнят каждую мелочь, потому что она на минуту — на столько времени, сколько пейзаж отражается на мыльном пузыре, — строит над бесприютной головой странника нечто вроде дома. Поэтому молодой итальянец не был обес-

куражен глубоким молчанием, которое старый дом противопоставлял его инструменту. Он не прекращал свои мелодические воззвания, продолжая смотреть вверх в надежде, что его смуглое чужеземное лицо скоро озарится солнечным обликом Фиби. Ему также не хотелось уйти, не увидев Клиффорда, чувствительность которого, как и улыбка Фиби, была для него, иностранца, чем-то вроде сердечного разговора. Он повторял свою мелодию опять и опять, пока наконец не надоел своим слушателям, своим куклам в ящике и больше всех обезьяне. На его зов отвечала только стрекоза с Пинчонова вяза.

— В этом доме нет детей, — сказал один школьник. — Здесь живут только старая леди да один старик. Ты ничего здесь не получишь. Почему ты не идешь дальше?

— Дурак ты, зачем ты это говоришь ему? — шепнул мальчику хитрый маленький янки, которому нравилась не музыка, но то, что он слушал ее даром. — Пускай себе играет сколько угодно! Если здесь никто ему не платит, но он играет, так это его выбор.

Еще раз переиграл итальянец все свои песни. Для обыкновенного наблюдателя, который бы слышал только музыку, видел солнечный свет

на верхней половине двери и не знал ничего более об этом доме, было бы интересно обождать, чем же наконец обернется упрямство уличного музыканта. Преуспеет ли он в своем домогательстве? Отворится ли наконец дверь и выскочит ли из нее на свежий воздух рой веселых детей, прыгающих, кричащих, хохочущих, и столпится ли вокруг кукольного ящика, глядя с радостным любопытством на кукол, и бросит ли каждый по медной монете этой длиннохвостой обезьяне?

Но на нас, которые знают, что происходит в глубине дома, так же как и то, что делается снаружи, это повторение веселых популярных песен у дверей дома производит страшное действие. Ужасное было бы в самом деле зрелище, если бы судья Пинчон, который не дал бы фиги за самые гармоничные звуки скрипки Паганини, показался в двери, в окровавленной своей рубашке, с угрюмо нахмуренными бровями на побледневшем лице, и прогнал прочь чужеземного бродягу. Случалось ли еще когда-нибудь веселой музыке играть там, где вовсе не расположены к танцам? Да, и очень часто. Этот контраст или смешение трагедии с веселостью случается ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Печальный, мрачный дом, из которого бежала жизнь и в котором за-

села зловещая смерть, угрюмо хмурившийся в одиночестве, был эмблемой многих сердец человеческих, которые, несмотря на свое горе, должны выслушивать шум и трескотню мирской веселости, царящей кругом.

Итальянец еще продолжал свое представление, когда мимо Дома о Семи Шпилях случилось проходить двум приятелям, направлявшимся на обед.

— Э, брат французик! — сказал один из них. — Ступай отсюда куда-нибудь в другое место с твоими глупостями. Здесь живет семейство Пинчонов, и теперь они в большом горе. Сегодня им не придется по душе твоя музыка. По всему городу толкуют, что убит судья Пинчон, которому принадлежит этот дом, и городской коронер идет сюда сейчас на следствие. Так что убирайся, брат, отсюда подальше.

Когда итальянец поднимал на плечи свою ношу, он увидел на ступеньке крыльца карточку, которая все утро была закрыта валявшимся листком бумаги. Он поднял ее и, увидев на ней что-то написанное карандашом, дал прочитать прохожему. Это была гравированная визитная карточка судьи Пинчона с надписью карандашом на обороте, относившеюся к разным делам, кото-

рые им намерен был вчера исполнить. Надпись эта составляла перечень событий вчерашнего дня, только вот дела не совпали с программой. Вероятно, эта визитная карточка выпала из кармана жилета судьи, когда он, прежде чем вошел в лавочку, пробовал пройти в дом через парадную дверь. Несмотря на то что дождь порядочно размочил ее, надпись сохранилась еще довольно хорошо.

— Посмотри-ка, Дикси! — вскричал прохожий. — Это не совсем посторонняя вещица для судьи Пинчона! Посмотри, вот напечатано его имя, а вот это написано, я думаю, его рукой.

— Пойдем, брат, с нею к городскому коронеру! — сказал Дикси. — Это, пожалуй, даст ему ключ к делу-то. Немудрено, брат, — шепнул он своему приятелю, — что судья прошел в эту дверь и не вышел отсюда! *У* него живет здесь кузен, который в старину отколол уже одну такую штуку. А старая мисс Пинчон, смекай, увязла в долгах за свою лавочку, и так как бумажник судьи был довольно толст, то чего доброго… у них, брат, в жилах течет дурная кровь! Сложи-ка все это вместе, так что-нибудь да выйдет…

— Тише, брат, тише! — шепнул другой. — Мне кажется почти грехом говорить первому о таких

вещах. Но я согласен с тобой, что нам всего лучше отправиться к городскому коронеру.

— Да-да! — кивнул Дикси. — Ладно! Я всегда говорил, что в нахмуренных бровях старой леди таится что-то недоброе!

Вследствие этого решения честные добряки направили свои шаги к жилищу городского коронера. Итальянец также отправился своим путем, бросив еще один взгляд на полуциркульное окно. Что касается детей, то они все вдруг пустились бежать прочь от дому, как будто за ними погнался какой-нибудь великан или леший, и, отбежав довольно далеко, они остановились так же внезапно и единодушно, как и побежали. Их чуткие души были проникнуты неопределенным ужасом от того, что они услышали.

Когда дети оглянулись издали на безобразные пики и тенистые углы старого дома, им показалось, как будто над ним скопился какой-то мрак, которого не в состоянии разогнать никакой свет. Им представлялось, как будто Гефсиба хмурится и грозит им пальцем одновременно из нескольких окон, а воображаемый Клиффорд, который (это сильно бы его огорчило, если б только он знал) всегда наводил ужас на этот маленький люд, стоит позади фантастической Гефсибы, в своем

полинялом платье, и делает какие-то зловещие знаки. Дети способны более взрослых заражаться паническим страхом. Весь остаток дня ребятня боязливо ходила окольными улицами, чтобы только не проходить мимо Дома о Семи Шпилях, а храбрецы собирались толпой и во всю прыть пробегали мимо его страшных дверей и окон.

Прошло, может быть, немного больше получаса после ухода итальянца с его неуместной музыкой, когда дилижанс остановился возле Пинчонова вяза. Кондуктор снял с крышки дилижанса сундук, узел и картонную коробку и положил все это у двери дома. Изнутри дилижанса показалась соломенная шляпка, а потом стройная фигура молодой девушки. То была Фиби. Хотя она не была уже такой игривой, как в начале нашей истории, потому что несколько недель деятельной душевной жизни сделали ее серьезнее и сообщили ее взглядам особенную глубину, соразмерную с сердцем, которое начало догадываться о своей глубине, но все-таки ее озаряло тихое, естественное сияние веселости. Она не потеряла своего дара заставлять все фантастическое в жизни принимать вид действительности, но мы считаем теперь опасным для всех, даже и для Фиби, переступать порог Дома о Семи Шпилях.

Достаточно ли в ее натуре здоровых элементов для того, чтобы прогнать из этого старого дома толпу бледных привидений, которые поселились здесь со времени ее отъезда? Или же сама она сделается тоже бесцветною, болезненною, печальной и безобразной и превратится в новый мертвенный призрак, который будет скользить бесшумно вверх и вниз по лестнице и пугать детей, которые остановятся напротив окон?

По крайней мере, мы радуемся, что можем предупредить чуждую подозрительности молодую девушку, что в этом доме не осталось более никого в вещественном человеческом обличье для ее встречи, кроме разве что фигуры судьи Пинчона, который все еще занимает старое дубовое кресло.

Фиби попыталась сперва отворить дверь лавочки, но она не поддалась, и белая занавеска, какой было задернуто окно, составлявшее верхнюю часть двери, тотчас дало ее быстро соображающему уму понять, что в доме случилось что-то необыкновенное. Не делая новых усилий пройти сюда, девушка отправилась к большому порталу над полуциркульным окном. Найдя и здесь дверь запертою, она постучала молотком. Ей отвечало эхо опустевшего дома. Она постучала

еще и еще раз и, приложив ухо к двери, услышала или вообразила, что услышала, будто Гефсиба подходит осторожным своим шагом по скрипучим половицам к двери, чтоб отворить ей. Но за этими воображаемыми звуками наступило такое мертвое молчание, что Фиби начала спрашивать себя, не ошиблась ли она адресом, хотя дом был ей отлично знаком.

В эту минуту ее внимание было отвлечено детским голосом, послышавшимся на некотором расстоянии. Голос называл девушку по имени. Посмотрев в ту сторону, откуда он долетал к ней, Фиби увидела маленького Неда Гиггинса на значительном от нее расстоянии посреди улицы. Мальчуган топал ногами, сильно качал головою, делал обеими руками умоляющие знаки и кричал ей изо всей силы:

— Не входите, не входите! Там что-то страшное случилось! Не входите, не входите туда!

Но так как он не решался подойти к ней ближе, чтоб объясниться, Фиби заключила, что он когда-нибудь во время посещения лавочки был испуган кузиной Гефсибой, потому что на самом деле обращение доброй леди или сводило детей с ума, или заставляло хохотать. Все-таки это обстоятельство заставило Фиби почувствовать

сильнее прежнего, до какой степени молчалив или недоступен сделался теперь дом. Прежде всего Фиби решилась отправиться в сад, где по случаю такой ясной и теплой погоды она надеялась почти точно найти Клиффорда и, может быть, также саму Гефсибу в тени беседки. Лишь только она отворила в сад калитку, семейство кур полуприлетело-полуприбежало к ней навстречу, между тем как страшная старая кошка, притаившаяся под окном комнаты, вскарабкалась на подоконник и в одну минуту исчезла из виду. Беседка была пуста, и ее пол, стол и окружавшие его скамейки все еще были мокры и усеяны листьями, свидетельствовавшими о миновавшей буре. Садовая растительность, казалось, решительно перешла за свои пределы; бурьян воспользовался отсутствием Фиби и продолжительным дождем, чтобы вторгнуться между цветами и кухонными растениями. Моулов источник выступил из своих каменных берегов и образовал пруд ужасных размеров в своем углу сада.

Фиби показалось, будто ни одна человеческая нога не касалась этой почвы со дня ее отъезда. Она нашла свой гребешок в беседке под столом, куда он, вероятно, упал в последний раз, когда она сидела здесь с Клиффордом.

Фиби знала, что ее родственники способны еще и не к таким странностям, как запереться на несколько дней в доме, что, по-видимому, они сделали теперь. Несмотря на это, с неясным чувством, что случилось что-то дурное, и с опасением, которое ее ум не мог никак объяснить, она подошла к двери, которая служила обыкновенно для сообщения между домом и садом. Эта дверь была тоже заперта изнутри, как и две прежние, в которые девушка уже пыталась войти. Она, однако, постучалась, и вдруг, как будто внутри ожидали этого сигнала, дверь отворилась — не широко, но довольно для прохода Фиби. Так как Гефсиба, для того чтоб не подвергать свою особу наблюдениям посторонних глаз, всегда отворяла дверь таким образом, Фиби не сомневалась, что это именно она ей отворила.

Поэтому, нимало не медля, она перешагнула через порог, и лишь только Фиби вошла, как дверь опять за нею затворилась.

Глава XX
Эдемский цветок

Фиби, перейдя так внезапно из яркого дневного света в густые сумерки коридора, не сразу

увидела, кто впустил ее. Прежде чем ее глаза освоились с темнотой, чья-то рука взяла девушку за руку с твердым, но нежным и теплым пожатием, выражая таким образом приветствие, от которого сердце ее забилось необъяснимой для нее радостью. Ее повели далее — не к приемной комнате, но в другую, нежилую комнату, которая в старые времена была большой приемной Дома о Семи Шпилях. Солнечный свет обильно лился во все незанавешенные окна этой комнаты и падал на пыльный пол. Фиби теперь увидела ясно, хотя это не было уже для нее открытием после теплого пожатия руки, что ее впустил в дом не Клиффорд и не Гефсиба, а Хоулгрейв. Какое-то неопределенное чувство говорило ей, что она должна услышать от него что-то необычное, и, не отнимая своей руки, она смотрела пристально ему в лицо. Она не предчувствовала чего-нибудь ужасного, однако была уверена в том, что в доме совершилась важная перемена в ее отсутствие, и потому с беспокойством ожидала объяснения.

Дагеротипист был бледнее обыкновенного; на его челе был какой-то задумчивый и суровый отпечаток, оставивший глубокую отвесную линию между его бровей. Впрочем, улыбка его была исполнена той искренней теплоты и радости,

которую Фиби всегда замечала на лице его, как он ни старался прикрывать новоанглийской осторожностью все, что близко касалось его сердца. Он имел вид человека, который, размышляя один о каком-нибудь ужасном предмете посреди дремучего леса или беспредельной пустыни, вдруг узнал знакомый образ самого дорогого друга, приносящий с собой все лучшие идеи домашней жизни и тихий поток повседневных дел. Несмотря на это, когда он почувствовал необходимость ответить на вопросительный взгляд девушки, улыбка исчезла с его лица.

— Я не должен радоваться нашему возвращению, Фиби, — сказал молодой человек, — мы встречаемся с вами в странную, тяжелую минуту!

— Что случилось? — воскликнула она. — Отчего опустел дом? Где Гефсиба и Клиффорд?

— Ушли! Я не могу придумать, где они! — отвечал Хоулгрейв. — Мы одни в доме!

— Гефсиба и Клиффорд ушли! — вскричала Фиби. — Возможно ли это? И зачем вы привели меня в эту комнату вместо приемной Гефсибы? Ах, что-то ужасное случилось?! Я хочу видеть!

— Нет-нет, Фиби! — сказал Хоулгрейв, останавливая ее. — Я вас не обманываю: они действитель-

но ушли, и я не знаю куда. Ужасное происшествие случилось в самом доме, но не с ними и, как я несомненно уверен, не связано с ними. Если я верно понял ваш характер, Фиби, — продолжал он, вперив свои глаза в нее с беспокойством и вместе с тем с нежностью, — то при всей вашей слабости и при всем том, что ваше поприще, по-видимому, лежит в кругу вещей обыкновенных, вы одарены замечательной силой. Вы обладаете способностью действовать посреди таких обстоятельств, который решительно выходят из круга явлений обыкновенных.

— О, нет, я очень слаба! — отвечала, дрожа, Фиби. — Но скажите мне, что случилось!

— Вы сильны! — настаивал на своем Хоулгрейв. — Вы должны быть и сильны, и благоразумны, потому что я совсем сбился с пути и нуждаюсь в ваших советах. Может быть, вы скажете мне, что я должен делать.

— Скажите мне! Скажите мне! — повторяла Фиби в трепете. — Эта таинственность подавляет меня! Скажите хоть что-нибудь!

Молодой человек медлил. Несмотря на то, что он сейчас сказал, и сказал искренне, относительно способности действовать в таких обстоятельствах, что всегда поражало его в Фиби,

он все еще не решался открыть девушке ужасную тайну вчерашнего дня. Это для него было все равно как если бы разместить страшный образ смерти в безмятежном и веселом пространстве перед домашним камином. Но невозможно было таиться перед Фиби, она должна была узнать истину.

— Фиби, — спросил он, — помните ли вы это?

И подал ей дагеротип — тот самый, который он показывал ей в первое их свидание в саду и который так поразительно передавал жесткие и безжалостные черты оригинала.

— Что общего имеет эта вещь с Гефсибой и Клиффордом? — спросила Фиби в нетерпеливом удивлении, что Хоулгрейв шутит таким образом с ней в такую минуту. — Это судья Пинчон! Вы мне уже его показывали.

— Но вот то же самое лицо, снятое только около получаса назад, — сказал молодой человек, показывая ей другую миниатюру. — Я только что закончил портрет, как услышал ваш стук в дверь.

— Это мертвец! — вскричала, побледнев, Фиби. — Судья Пинчон умер?

— Так, как здесь представлен, — сказал Хоулгрейв. — Он сидит в соседней комнате. Судья

Пинчон умер, а Клиффорд и Гефсиба исчезли. Больше я ничего не знаю. Все, что можно к этому прибавить, только догадки. Возвращаясь в свою комнату вчера вечером, я не заметил никакого света ни в приемной, ни в комнате Гефсибы, ни у Клиффорда, да и никакого шума, никаких шагов не было слышно в доме. Сегодня утром — та же мертвая тишина. Из своего окна я услышал свидетельство соседки, что ваши родственники оставили дом во время вчерашней бури. До меня дошел также слух, что судья тоже исчез. Какое-то особенное чувство, которого я не могу описать — неопределенное чувство какой-то катастрофы или чьей-то кончины, — заставило меня пробраться в эту часть дома, где я и открыл то, что вы видите. Чтобы приобрести свидетельство, которое может пригодиться Клиффорду, и важную памятную вещь для меня — потому что, Фиби, есть некоторые причины моей странной связи с судьбой этого человека из-за наследства, — я употребил находившиеся в моем распоряжении средства, чтобы сохранить этот живописный рассказ о смерти судьи Пинчона.

Даже в волнении Фиби не могла не заметить спокойствия в речах и действиях Хоулгрейва. Он, правда, ощущал, по-видимому, весь ужас смерти

судьи, но умом принял этот факт — без всякой примеси удивления — как событие, которое должно было случиться неизбежно и до такой степени было намечено в миновавших событиях, что его можно было почти точно предсказать.

— Почему вы не отворили дверей и не позвали свидетелей? — спросила Фиби, содрогаясь. — Ужасно оставаться здесь одному!

— Но Клиффорд! — воскликнул дагеротипист. — Клиффорд и Гефсиба! Нам надобно подумать, что можно сделать самого лучшего для их пользы. Их бегство придает самый дурной смысл этому событию. Но как легко объясняется оно для тех, кто знал их! Ужаснувшись сходству смерти судьи и смерти одного из прежних Пинчонов, которая имела для Клиффорда такие горестные последствия, они не имели другой идеи, как только бежать с рокового места. Как же они несчастны! Если б Гефсиба только громко закричала, если б только Клиффорд растворил дверь и объявил о смерти судьи Пинчона, это было бы событие весьма для них полезное при всем своем ужасе. Если б на смерть судьи посмотрели по-моему, то оно бы сразу смыло черное пятно, лежащее, по мнению общества, на Клиффорде.

— Как же могла бы произойти какая-нибудь

польза от того, что так ужасно? — спросила Фиби.

— Так, — отвечал дагеротипист, — если это дело разобрать основательно и объяснить надлежащим образом, тогда станет ясно, что судья Пинчон не мог умереть насильственно. Этот род смерти повторялся не раз в его семье; так часто умирали люди его лет или в состоянии какого-нибудь умственного кризиса, или, может быть, в припадке гнева. Предсказание старого Моула было, может быть, основано на знании этой физической особенности, нередко наблюдаемой в роду Пинчонов. Между смертью, случившейся вчера, и смертью дяди Клиффорда, описанной тридцать лет назад, есть очень много сходства. Правда, там были отмечены некоторые обстоятельства, которые сделали возможным, даже, по мнению большинства, вероятным и почти несомненным факт, что старый Джеффри Пинчон умер насильственной смертью, причем от руки Клиффорда.

— Подведены, вы говорите? Кем же? — воскликнула Фиби.

— Да, подведены, как после смерти дяди, так и прежде, человеком, который сидит в той комнате. Собственная его смерть, похожая во всем на первую, кроме этих обстоятельств, кажется

попущением самого Провидения, которое наказало его за его злодейство и явило невиновность Клиффорда. Но бегство Клиффорда все разрушило. Может быть, он спрятался где-нибудь очень близко. Если б мы только отыскали его, пока смерть судьи не стала известной всем, беда еще была бы исправлена.

— Нам нельзя скрывать этого дела ни минуты дольше, — сказала Фиби. — Ужасно хранить его нам в своем сердце! Клиффорд невиновен. Сам Бог будет свидетельствовать в его пользу. Отворим дверь и позовем всех соседей.

— Вы правы, Фиби, — отвечал Хоулгрейв. — Вы несомненно правы.

Но он не чувствовал ужаса, свойственного ясному и любящему порядок характеру Фиби при мысли вмешаться в суматоху посторонних зрителей и столкнуться с происшествием, отнюдь не подходящим под обыкновенные события жизни. Молодой человек не торопился также, подобно Фиби, войти скорее в пределы жизни повседневной. Напротив, настоящее положение дел доставляло ему какое-то дикое удовольствие: он срывал цветок невиданной красоты, растущий, как Алисины цветы, на печальном месте под открытым ветром. Это положение отделяло

его с Фиби от остального мира и связывало их между собой исключительным знанием обстоятельств таинственной смерти судьи Пинчона и советом, который они должны были держать наедине относительно этой смерти. Тайна, пока она оставалась тайной, держала их в зачарованном кругу, в уединении посреди людей — в таком удалении от остального мира, как будто они очутились одни на острове посреди океана. Лишь только она откроется, воды океана потекут между ними, и они очутятся стоящими на его разных берегах. Между тем все соединилось для того, чтобы молодых людей между собой сблизить; они были похожи на детей, которые рука к руке, прижимаясь друг к другу, проходят по темному коридору, населенному привидениями. Образ ужасной смерти, наполнявший весь дом, держал их соединенными в своих ледяных руках.

Это влияние ускорило в них развитие сердечных чувств, которые без того не расцвели бы так скоро. Может быть, даже Хоулгрейв умышленно старался подавить их в самом зародыше.

— Почему мы так медлим? — спросила Фиби. — Этот секрет не дает мне дышать свободно. Отворим поскорее дверь!

— За всю нашу жизнь не случится уже другой

подобной минуты! — сказал Хоулгрейв. — Фиби, неужели мы чувствуем один ужас? И ничего более? Неужели вы не сознаете в себе, как я, чего-то особенного, что делает этот момент требующим необыкновенного внимания?

— Мне кажется грехом, — отвечала, дрожа, Фиби, — думать о радости в такое время!

— Если б только вы знали, что было со мной до вашего приезда! — воскликнул дагеротипист. — Мрачный, холодный, жалкий час! Присутствие этого мертвого человека набросило огромную черную тень на все видимое; он сделал мир, доступный моему сознанию, сценой преступления и возмездия, причем еще более ужасного, чем само преступление. Это чувство лишило меня моей юности. Я не надеялся уже никогда возвратиться к ней. Мир сделался для меня странным, диким, злым, враждебным; моя прошедшая жизнь представлялась мне одинокой и бедственной, мое будущее казалось моей фантазии мглой, которой я должен был придать какие-то мрачные формы. Но, Фиби, вы перешагнули через порог этого дома, и надежда, сердечная теплота и радость возвратились ко мне вместе с вами. Мрачная минута сделалась вдруг лучезарною. Неужели же мне пропустить ее, не произнеся ни слова. Я

люблю вас!

— Как можете вы любить такую, как я, простую девушку? — спросила Фиби. — У вас так много мыслей, которым я напрасно старалась бы симпатизировать. А я… я также… у меня есть свои стремления, которым вы тоже будете симпатизировать мало. Но это еще ничего, а главное, я так мало имею возможности сделать вас счастливым.

— Вы для меня единственная возможность счастья, — отвечал Хоулгрейв. — Я не буду иметь в него веры, если только не вы мне его дадите.

— И потом, я боюсь, — продолжала Фиби, приближаясь к Хоулгрейву в то самое время, когда так откровенно высказывала ему сомнения, которые он поселял в ней. — Вы заставите меня выйти из моей спокойной колеи. Вы заставите меня стараться следовать за вами по путям, еще никому не положенным. Я не в состоянии этого сделать. Это не в моей натуре. Я упаду и погибну!

— Ах, Фиби! — воскликнул Хоулгрейв почти со вздохом, сквозь который прорывался невольный смех. — Все это будет совсем иначе, нежели вы воображаете. Человек счастливый неизбежно заключает себя в рамки общепринятых понятий. У меня есть предчувствие, что с этого времени

мне предназначено сажать деревья, делать ограды, может быть, в свое время построить дом для другого поколения — словом, сообразовываться с законами и мирными обычаями общества. Ваше благоразумие будет гораздо могущественнее моего эксцентрического стремления.

— Я не хочу этого! — сказала Фиби с чувством.

— Любите ли вы меня? — спросил Хоулгрейв. — Если вы любите другого, то этот момент не поведет нас далее. Остановимся на нем и будем довольны. Любите ли вы меня, Фиби?

— Вы читаете в моем сердце, — отвечала она, потупив взор. — Вы знаете, что я люблю вас!

И в этот-то час, столь полный сомнений и ужаса, совершилось признание. Молодые люди не чувствовали, чтобы что-нибудь в мире было печально. Мертвец, находившийся так близко от них, был позабыт…

— Слушайте! — вдруг прошептала Фиби. — Кто-то идет с улицы к двери!

— Встретим посторонних! — сказал Хоулгрейв. — Вероятно, слух о визите судьи Пинчона и бегстве Гефсибы и Клиффорда заставил полицию осмотреть место. Нам теперь не остается ничего более, как отворить немедленно дверь.

Но, к удивлению молодых людей, прежде, чем

они достигли двери, даже прежде, чем они вышли из комнаты, в которой происходило их свидание, они услышали чьи-то шаги в ближайшем коридоре. Дверь, которую они считали запертой на ключ, была открыта снаружи. Звуки шагов не были, однако, так резки, смелы и решительны, как бывает, когда в дом входят люди, облеченные правом следствия. Эти звуки были слабы, как будто шел кто-нибудь слабосильный или усталый, и вместе с ними послышался говор двух голосов, знакомых обоим слушателям.

— Может ли это быть? — шепнул Хоулгрейв.

— Это они! — отвечала Фиби. — Благодарение Богу! Благодарение Богу!

И, как бы в согласии с шепотом Фиби, послышался яснее голос Гефсибы:

— Слава богу, братец, мы дома!

— Прекрасно! Да! Слава богу! — отвечал Клиффорд. — Страшный у нас дом, Гефсиба! Но ты хорошо сделала, что привела меня сюда. Постой! Дверь в приемную отворена. Я не могу пройти мимо нее. Пойду и буду сидеть в беседке, где я — о, каким давним мне представляется это после того, что случилось! — бывал так счастлив с маленькой Фиби.

Но дом вовсе не был так страшен, как казалось

Клиффорду. Брат и сестра сделали еще несколько шагов и остановились на пороге, как бы не зная, что делать далее, когда Фиби выбежала к ним навстречу. Увидя ее, Гефсиба зарыдала. Напрягая все свои силы, она, двигавшаяся до сих пор под бременем горя и ответственности, наконец как бы сбросила его с плеч. Впрочем, нет! У нее недостало энергии сбросить с плеч свое бремя; она только перестала его поддерживать и поддалась гнету. Клиффорд оказался гораздо сильнее.

— Это наша маленькая Фиби! Ах, и Хоулгрейв с нею! — воскликнул он, бросив на них деликатно-проницательный взгляд, сопровождаемый прекрасною, нежною, но меланхолической улыбкой. — Я думал о вас обоих, когда мы шли по улице и когда я увидел на кровле распустившиеся цветы Алисы. Так и в этом старом, мрачном доме расцвел сегодня пленительный цветок!

Глава XXI
Отъезд

Внезапная смерть такой особы, как Джеффри Пинчон, произвела сенсацию — по крайней мере, в кругу, наиболее близком к покойнику, — которая была в центре внимания всех чуть ли не

две недели.

Надобно, впрочем, заметить, что из всех происшествий, которые составляют биографию этого лица (происшествий, разумеется, соответственно, важных), едва ли было хоть одно, с которым бы свет так скоро примирился, как его смерть. С первого взгляда казалось бы, что необычный характер смерти судьи должен был привлечь к нему в обществе больше внимания. Но когда было признано высшею городской властью, что это событие произошло естественно и что, кроме некоторых неважных обстоятельств, смерть его не имела в себе ничего необыкновенного, публика, со своею всегдашнею скоростью, постаралась забыть, что судья существовал на свете. Словом, судья сделался устаревшим предметом разговоров еще раньше, чем половина газет успела окаймить свои листки черной полоской и рассыпаться в похвалах покойнику.

При всем том скрытый поток частных толков пробирался незаметно по местам, которые судья Пинчон посещал во время своей жизни. Не стесняясь приличий, эти толки трактовали напрямик о судьбе Пинчона. Странное дело, как часто смерть человека, по-видимому, предлагает людям самую верную идею о его характере, нежели

та, какую предлагал он сам, живя и действуя между ними. Смерть составляет такой неоспоримый факт, который исключает всякую фальшивость, это — пробный камень, который доказывает подлинность золота и отвергает неблагородные металлы. Если бы покойник вернулся к живым через неделю после своей смерти, то, каков бы он ни был, он одинаково нашел бы себя на более высокой или низкой ступени общественной оценки, чем та, какую он занимал при жизни. Но подозрительные сплетни, о которых идет речь, относились к эпохе, отдаленной не менее как на тридцать или сорок лет, а именно к эпохе мнимого убийства дяди покойного Пинчона. Мнение медиков относительно его собственной недавней кончины почти совершенно опровергло мысль, чтобы в первом случае было совершено убийство. Кроме того, некоторые обстоятельства бесспорно доказали, что кто-то входил в кабинет старого Джеффри Пинчона в самую минуту его смерти или незадолго до этого. Его письменный стол и выдвижные ящики в комнате, сообщавшейся с его спальней, были опустошены, деньги и драгоценные вещи исчезли, на белье старика был найден кровавый отпечаток руки, и силой доказательств, основанных на заключениях, Клиффорд,

живший тогда с дядей в Доме о Семи Шпилях, был обвинен в воровстве и мнимом убийстве.

По утверждению многих, судья Пинчон, как мы и представили его в своем рассказе, был в молодости большой повеса. Грубые инстинкты развились в нем раньше умственных способностей и силы характера, которым он впоследствии отличался. Он вел распутную жизнь, предаваясь низким удовольствиям; он беззаботно проматывал деньги, которые добывал из единственного источника — у своего доброго дяди. Такое поведение лишило его любви старого холостяка, который прежде был сильно к нему привязан. Тогда однажды ночью, как говорит предание, молодой человек был искушен дьяволом порыться в ящиках своего дяди, к которым он заблаговременно подобрал ключи. Но в то время, когда он был занят воровством, дверь, ведущая в спальню дяди, отворилась, и старик показался на пороге в своем ночном платье. Удивление при таком открытии, волнение, испуг и ужас вызвали в нем то болезненное состояние, к которому старый холостяк был расположен по наследству: он как бы захлебнулся кровью и упал на пол, ударившись крепко виском об угол стола. Что было делать? Старик умер. Приходить на помощь было бы

слишком поздно.

С холодным рассудком и смелостью, которые всегда характеризовали судью Пинчона, молодой человек продолжил обыскивать ящики и нашел духовное завещание, недавно сделанное в пользу Клиффорда, вместе с написанным прежде в его пользу. Он уничтожил первое и оставил второе. Но прежде, чем он удалился, он оставил в пустых ящиках улику, свидетельствующую о том, что кто-то посещал эту комнату со злыми намерениями. В присутствии мертвеца он составил план, как освободить себя от подозрений насчет улики против Клиффорда, своего соперника, к характеру которого он питал презрение и вместе с тем отвращение. Невозможно думать, чтобы он уже в это время намерен был возвести на Клиффорда обвинение в убийстве. Зная, что его дядя умер не насильственной смертью, он не мог второпях принять такое решение. Но когда дело приняло мрачный оборот, первые злодейские шаги Джеффри привели его к остальным. Он так коварно перекроил все обстоятельства дела, что во время суда над Клиффордом его вероломному кузену едва ли была надобность подтверждать клятвой что-либо ложное.

Таким образом, внутренняя вина Джеффри

Пинчона по отношению к Клиффорду была действительно тяжелой и предательской, тогда как внешнее поведение защищало его. Человеку настолько респектабельному, как судья Пинчон, подобного рода преступление было легче всего забыть. Для него довольно было прикрыть его густым покровом лжи или признать простительным делом из уважения к множеству доблестных дел дальнейшей его жизни. Судья поместил свой отвратительный поступок в число забытых и искупленных проказ молодости и редко вспоминал о нем.

Оставим же судью. Неведомо самому себе, он был уже бездетен в то время, когда силился приобрести новое наследство своему единственному сыну. Не прошло и недели после его смерти, как один из заграничных пароходов привез известие о том, что этот наследник огромного состояния умер, готовясь отплыть в отечество. Вследствие этого события Клиффорд, Гефсиба и Фиби сделались богатыми людьми, а вместе с Фиби обогатился и пылкий Хоулгрейв.

Смерть судьи Пинчона оживила Клиффорда. Этот сильный и коварный человек был для него сущим кошмаром. Он не мог дышать свободно, чувствуя его зловредное влияние. Бегство было

для него первым моментом свободы от этого мрачного родственника и началом сердечной веселости. С этого времени он уже не впадал в свою прежнюю умственную апатию. Он, правда, никогда не достиг в полной мере своих способностей, однако возвратил себе столько врожденной грации ума и приятности характера, что сумел внушить к себе некоторое участие. Он был очевидно счастлив.

Скоро после перемены своих обстоятельств Клиффорд, Гефсиба и маленькая Фиби, с одобрения дагеротиписта, решились переселиться из несчастного старого Дома о Семи Шпилях в деревенский дом покойного судьи Пинчона. Горлозвон и его семейство были отправлены туда заблаговременно. В день, назначенный для отъезда, главные действующие лица нашей истории, в том числе и добрый дядя Веннер, собрались в приемной комнате Гефсибы.

— Деревенский дом наш, без сомнения, прекрасный дом, насколько я могу судить по плану, — сказал Хоулгрейв, когда зашел разговор о будущем устройстве их жизни, — но я удивляюсь, что покойный судья, будучи таким богачом и имея благоразумное намерение передать свое богатство своему потомству, не выстроил это пре-

красное архитектурное создание из камня вместо дерева. Тогда каждое поколение рода Пинчонов могло бы переменить внутренность дома по своему вкусу и сообразно удобствам, а между тем внешняя сторона здания с течением лет приобрела бы почтенную наружность и, таким образом, производила бы впечатление постоянства, которое я считаю необходимым для счастья.

— Как! — вскричала Фиби, глядя в лицо Хоулгрейву с изумлением. — Неужели ваши идеи переменились до такой степени? Каменный дом! А помните, недели две или три назад вы желали, чтобы люди жили в таких непрочных жилищах, как птичьи гнезда?

— Ах, Фиби! Я говорил вам это прежде, но теперь я стою перед портретом родоначальника Пинчонов.

— Этот портрет… — сказал Клиффорд, готовый отступить под взглядом своего предка. — Всякий раз, когда я смотрю на него, меня преследует старое, смутное воспоминание, которое, однако, никак не выходит у меня из памяти. Что-то вроде богатства, несметного богатства! Мне кажется, что, когда я был ребенком или молодым человеком, этот портрет говорил со мной и объявил мне драгоценную тайну… или что он протягивал

ко мне руку со свитком, в котором было написано, где скрыто огромное богатство... Но все эти старые воспоминания так смутно теперь всплывают в моей памяти! Что бы такое значила эта фантазия?

— Может быть, я помогу вам, — отвечал Хоулгрейв. — Посмотрите, можно ставить сто против одного, что ни один человек, не зная секрета, не тронет этой пружины.

— Секретная пружина! — вскричал Клиффорд. — А, теперь я вспомнил! Я нажал на нее однажды летом после обеда, когда праздно бродил по дому, это было давно-давно. Но тайну я совершенно забыл.

Молодой человек надавил на пружину, о которой говорил. В прежние времена портрет, вероятно, только бы отошел от стены, теперь же пружина, видно, проржавела, и поэтому портрет сорвался со стены и упал лицом на пол. В стене открылось углубление, в котором лежал свиток пергамена, до такой степени покрытый вековой пылью, что не вдруг можно было рассмотреть, что это такое. Хоулгрейв развернул его и открыл старинный акт, подписанный иероглифами нескольких индейских вождей, передающих полковнику Пинчону и его наследникам право

на владение обширными восточными землями на вечные времена.

— Это тот самый пергамен, который пытался отыскать отец прелестной Алисы и который стоил ей счастья и жизни, — сказал Хоулгрейв, намекая на свою сказку. — Этого-то документа добивались Пинчоны, пока он имел свою цену. Теперь он давно уже ничего не стоит.

— Бедный кузен Джеффри! Так вот что вовлекло его в заблуждение! — воскликнула Гефсиба. — Когда они были оба молоды, Клиффорд, вероятно, рассказал ему что-нибудь вроде волшебной повести о своем открытии. Он всегда, бывало, мечтал, бродя по дому, и скрашивал мрачные углы его прекрасными историями. А бедный Джеффри, принимавший это в осязательном смысле, думал, что мой брат нашел дядино богатство. Он и умер с этим заблуждением в душе.

— Но скажите, — спросила потихоньку Хоулгрейва Фиби, — как вы узнали этот секрет?

— Милая моя Фиби, — сказал Хоулгрейв, — как вам нравится носить фамилию Моула? Что касается секрета, то это единственное наследство, полученное мной от предков. Сын казненного Мэтью Моула во время постройки этого дома воспользовался случаем сделать в стене углубление

и спрятать в него индейский акт, от которого зависело право Пинчонов на владение обширными землями. Так что они променяли восточные земли на несколько акров земли Моулов.

Через несколько минут прекрасная темно-зеленая карета подъехала к полуразрушенному порталу Дома о Семи Шпилях, и все наше общество переехало в деревенский дом покойного судьи, кроме дяди Веннера, который согласился на просьбу Фиби вместо своей фермы провести остаток жизни в хижине, построенной в новом саду, но остался на несколько дней, чтобы проститься с обитателями Пинчоновой улицы. Толпа детей собралась посмотреть на странников, весело покидавших старый, печальный дом. В числе их Фиби узнала маленького Неда Гиггинса и подарила ему на прощание серебряную монету, за которую он мог населить свой желудок всеми четвероногими, какие только когда-либо делались из пряничного теста.

В то же самое время, когда карета двинулась с места, по тротуару проходили два человека.

— Что, брат Дикси, — сказал один из них, — что ты думаешь обо всем этом? Жена моя держала мелочную лавочку три месяца и понесла пять долларов убытка, а старая мисс Пинчон торговала

почти столько же времени и едет в карете с кучей фунтов стерлингов, хотя некоторые говорят, что у нее после дележа с Клиффордом и Фиби их еще больше. Если тебе угодно, пускай это будет счастье, но, по моему, это скорее воля Провидения.

— Хорошо обделала делишки! Нечего сказать — хорошо! — отвечал на это проницательный Дикси.

Источник Моула, несмотря на то что был оставлен в одиночестве, продолжает играть калейдоскопическими картинами, в которых одаренный тонким зрением глаз мог бы прочитать изображение наступающего счастья Гефсибы и Клиффорда, любующихся потомством Моула и Фиби. Между тем Пинчонов вяз, желтея от сентябрьского ветра, шепчет неясные предсказания. А когда дядя Веннер проходил в последний раз мимо полуразрушившегося портала, ему почудилось, что он слышит в доме музыку, и его воображению представилась прелестная Алиса Пинчон, радующаяся счастью своих родственников и извлекающая последние прощальные звуки из своих клавикордов перед отлетом на небо из Дома о Семи Шпилях.